

83  
А 722

# АНТИЧНАЯ ЭПИСТОЛОГРАФИЯ



А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р  
И Н С Т И Т У Т М И Р О В О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы И М . А . М . Г О Р Ь К О Г О

# АНТИЧНАЯ ЭПИСТОЛОГРАФИЯ

ОЧЕРКИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва 1967

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР  
*М. Е. ГРАБАРЬ-ПАСЕК*

## ОТ РЕДАКЦИИ



Когда перечисляют жанры, созданные античной литературой и унаследованные европейской литературой нового времени, обычно называют эпос, лирику, трагедию и комедию, историческую, ораторскую и философскую прозу, и очень редко вспоминают о еще одном жанре. Этот жанр — письмо.

Причины этого, пожалуй, понятны. Дело в том, что в наше время письмо по существу находится за пределами литературы. Когда пишут письма, забота о художественности обычно стоит на последнем месте; и получают произведения, интересные и важные для пишущего и для получателя, но более ни для кого. Даже письма Толстого или Чехова представляют для нас скорее исторический и биографический, чем художественный интерес. Исключение представляет лишь одна сравнительно небольшая группа писем. Это так называемые «открытые письма» — те, которые публикуются в печати, обсуждаются, вызывают отклики и, будучи обращены к конкретному адресату, становятся в то же время фактом общественной и литературной жизни. И для того, чтобы понять глубокую разницу между письмом в нашей жизни и письмом в жизни античности, нужно помнить, что в античности, собственно говоря, почти все письма были «открытыми». Это не значит, что они предназначались для немедленного широкого опубликования; но это значит, что человек, который писал письмо другу, твердо знал, что его письмо прочтет не только адресат, но и другие его друзья, а многие из них перепишут письмо для себя и покажут собственным друзьям, и так далее, и поэтому он заботился о легкости изложения и о красоте слога не менее, чем если бы писал речь или трактат. А потом такие письма собирались — иногда самим автором, иногда его корреспондентами и поклонниками — и издавались отдельными книгами к сведению всех любителей изящной словесности. Конечно, не все письма были таковы. Было достаточно и таких писем, какие мы пишем сейчас: коротких, деловых, небрежных, написанных для того, чтобы их прочли, приняли к сведению и забыли. Интересные об-

рывки таких писем донесли до нас эллинистические папирусы. А между этими двумя крайностями, письмом художественным и письмом бытовым, было множество переходных ступеней, и каждая из них интересна на свой лад.

Разобраться в этом многообразном наследии античной «литературы писем» и поможет читателю настоящий сборник. «Письмо» по-гречески — «эпистола», «литература писем» — «эпистолография»; отсюда — название книги. Первая глава ее — «Античные теории эпистолярного стиля» — служит как бы теоретическим введением к остальным: в ней собран любопытнейший материал из таких сочинений, которые можно было бы назвать «античными письмовниками». А затем следуют монографические очерки об отдельных типах и представителях античной эпистолографии, расположенные в основном в хронологической последовательности. Перед читателем проходят публицистические письма древнейших представителей античной историографии — Платона и Исократ, письма политика (Цицерон), письма философа (Сенека), письма светского человека (Плиний Младший), письма знатного ратора (Фронтон). Три очерка посвящено письмам фиктивным, задуманным и написанным только как художественные произведения. Это письма в комедии, сочиняемые комедийными персонажами, письма псевдоисторические, сочиняемые от имени знаменитых мужей прошлого (Фемистокла, Сократа и т. д.), и, наконец, письма романтические, сочиняемые от лица вымышленных персонажей — идиллических рыбаков, мужиков и любовников. Заключают книгу очерки об эпистолографии поздней античности, открывающей интересную страницу истории европейской культуры на грани между греко-римской древностью и христианским средневековьем. Таковы письма императора Юлиана (прозванного Отступником) и письма римских писателей IV—V вв. Авсония, Павлина Ноланского и Симмаха.

Таким образом, материал книги очень разнообразен и представляет интерес как для литературоведа, так и для историка. Соответственно с материалом разнообразен и подход к предметам в отдельных очерках: одни дают детальный филологический анализ памятников (например, главы о Платоне и Исократе, о псевдоисторической эпистолографии, о Юлиане), другие — живой научный рассказ, вводящий широкого читателя в малоисследованные области античной литературы. Действительно, подавляющая часть произведений, о которых говорится в сборнике (всё, кроме Цицерона, Плиния и комедий Плавта!), по существу до сих пор была совершенно неизвестна русскому, а часто и не только русскому читателю. Поэтому большие выдержки из таких писателей, как Сенека, Фронтон, Юлиан или Симмах, цитируемые в этом сборнике, представляют для него особенный интерес.

Книга написана коллективом сотрудников сектора наследия античной литературы ИМЛИ.

## АНТИЧНЫЕ ТЕОРИИ ЭПИСТОЛЯРНОГО СТИЛЯ



Эпистолярная литература, сохраненная нам античностью, охватывает большое число памятников разных эпох, разных авторов и разного содержания от подлинной переписки частных лиц до посланий, обращенных к широкому читателю. Форма письма, удобная для выражения внутреннего мира человека, охотно использовалась как чистая условность в сочинениях биографического, этического и дидактического характера, а в поздние века античности, когда «малые формы» стали особенно популярны, возник даже жанр беллетристического, фиктивного письма, вполне независимый от реальной переписки и сближающийся с жанром античного романа.

Писание писем подчинялось четким стилистическим нормам, разработанным риторикой, и принадлежало таким образом области словесного искусства. Первоначальной сферой, в которой письмо из обиходной переписки превращалось в произведение художественной прозы, были публицистика и дидактика. Именно к этому роду относятся древнейшие<sup>1</sup> дошедшие до нас образцы греческой эпистолографии — письма Исократ, Платона, Аристотеля. Все эти письма восходят в IV в. до н. э. и несут на себе печать эпохи. Письма Исократ и Платона непосредственно связаны с политической теорией их авторов и общественными событиями времени; письма Аристотеля возникли из потребностей его школы и после его смерти бережно хранились учениками как наставительная литература. В 306 г. до н. э. они были изданы грамматиком Артемоном. Письма адресованы Филиппу, Александру и Теофрасту и содержат ряд философских рассуждений на темы нравственности и искусства государственного управления. Наиболее законченную форму поучительная эпистолография получила в школе Эпикура. Все философское учение Эпикура

---

<sup>1</sup> Упоминания о письмах встречаются в эпосе («Илиада», VI, 168—169) и у историков (Геродот, III, 40 — письмо Амасиды к Поликрату; Фукидид, I, 128, 129, 137 — письмо Павсания к Ксерксу, Ксеркса к Павсанию, Фемистокла к Артаксерксу).

о физическом мире и о нравственном состоянии человека представлено в трех больших письмах к Геродоту, Пифоклу и Менекею. Примеру Эпикура следовали его ученики Метродор Лампсакский, Гермахор и др. Постепенно письмо выходит за рамки реальной переписки и делается условной формой философской проповеди и научного трактата. Эту форму особенно любили киники, которые придумывают самые фантастические инсценировки эпистолярных ситуаций: Менипп (III в. до н. э.), например, сочинял письма богов к математикам, физикам, эпикурейцам и др. Поучительные письма продолжали традицию научной литературы диалогов и с течением времени приобретали все более и более «фактографический» характер сухого описания<sup>2-3</sup>. Письма на этические темы, напротив, подчинялись влиянию риторики и как бы брали на себя функции ораторского искусства. Тон интимной переписки служит в них формой эмоционального обращения к широкому кругу читателей.

Риторика систематизировала правила для всех форм речи и создавала штампы для изображения ситуаций и поведения человека. Она обучала обобщенному воспроизведению отвлеченного типа, а не конкретного предмета. В учебные дисциплины риторских школ входило составление речей и, между прочим, писем на заданные темы и от имени заданных лиц. Такая практика эпистолярного сочинительства как средства портретных характеристик привела в конце концов к рождению целой литературы фиктивных писем.

Следствием подобной формализации была теория специфического эпистолярного стиля, касавшаяся слога и содержания тех подлинных писем, которые служили заменой устного общения. Их сущность впервые определил уже упомянутый выше грамматик Артемон, назвав их «половиной диалога» (т. е. диалогом без собеседника) и потребовав от них стилистического сходства с диалогом. Постепенно риторика выработала ряд схематических требований, благодаря которым письмо превращалось в самостоятельный вид словесного мастерства, отличающийся и от устного разговора — своей стилистической отделкой, и от публичной ораторской речи — своей краткостью и относительной простотой, и от научной прозы — эмоциональным, фамильярным тоном, чуждым отвлеченному логизированию. Свою специфику письмо получало в интимной интонации, соответствующей характеру адресата.

Эта теория эпистографии впервые встречается в трактате «О слоге» (*περὶ ἐρμηνείας*), который в рукописи дошел до нас под именем Деметрия Фалерского, однако не может принадлежать ему уже в силу того, что в самом тексте своем содержит ссылку на Деметрия Фалерского (§ 289). Филологическая критика конца XIX в.—начала XX в. пыталась определить время составления

<sup>2-3</sup> H. P e t e r, *Der Brief in der Römischen Literatur*. Leipzig, 1901, S. 12—28.

трактата, и в результате текстологической работы наметились две точки зрения на его датирование: одни стали относить его к концу III в. до н. э., другие — к I в. до н. э. — I в. н. э. Сторонники более раннего происхождения ссылаются на близость трактата к учению перипатетиков, на упоминание в нем Артемона, издателя аристотелевских писем, противники — на наличие в нем некоторых поздних терминов<sup>4</sup>. В этом риторском сочинении дается анализ языковых средств выразительности (периода, фигур речи и т. п.) и затем излагается учение о четырех типах, или стилях (*ὑαραχτῆρες*) речи. Под стилем тут понимается система средств выражения, при которой строй речи и ее содержание создают определенный эстетический эффект. Четыре различаемых в трактате стиля получили названия величавого, изящного, простого, мощного. В разделе о простом стиле помещено особое рассуждение о письмах. Вот его перевод:

## КАК СЛЕДУЕТ ПИСАТЬ ПИСЬМА

«(223) Поскольку сжатости требует и эпистолярная форма, поговорим и о ней.

Артемон, издатель аристотелевских писем, говорит, что следует одинаковым способом писать и диалог, и письма, ибо письмо это как бы одна сторона диалога. (224) Этим, пожалуй, что-то сказано, но не все, потому что письмо нуждается в более тщательной обработке, чем диалог; ведь диалог подражает речи, сказанной без подготовки, экспромтом, письмо же пишется и посылается как своего рода подарок. (225) Разве в беседе с другом кто-нибудь выразился бы так, как обращается Аристотель к Антипатру, когда пишет о каком-то престарелом изгнаннике. «Если этот изгнанник объезжает все страны, лишь бы не отправиться к предкам, то ясно, что не следует завидовать тем, кто желает сойти в Аид». Ведь такой разговор похож скорее на доказательство, чем на беседу.

(226) Прерывать то и дело свою речь вопросами в письмах неуместно, ибо в письме такие перескоки затемняют смысл, и живому разговору подражает не столько письменная речь, сколько речь, произносимая в суде. Так, например, в «Евтидеме» говорится:

«Кто это был, Сократ, с кем ты вчера разговаривал в Ликее? Около вас, право, собралось много народу». А немного дальше: «А мне кажется, это был какой-то чужеземец, с кем ты разговаривал!»<sup>5</sup> Такой способ выражения и подражания в целом подходит больше для актера, а не для тех, кто пишет письма.

(227) Письмо должно быть самым полным выражением нравственного облика человека (*τὸ ἡθικόν*), как и диалог. Ведь каждый, кто пишет письмо,

<sup>4</sup> См.: F. Behm - Schwaabach. *Libellus περὶ ἑρμηνείας qui Demetrii nomine inscriptus est, quo tempore compositus sit. Kiliae, 1890*; H. Koskeniemi. *Studien zur Idee und Phraseologie des griechischen Briefes bis 400 n. Chr. Helsinki, 1956, S. 19—23.*

<sup>5</sup> Платон, «Евтидема», 271 А.



дает почти что изображение своей души. Правда, и во всяком сочинении словесного искусства можно разглядеть характер пишущего, но больше всего в письме.

(228) Размер письма должен быть сжатым так же, как и стиль. Ведь слишком длинные и напыщенные письма по-настоящему должны бы называться не письмами, а статьями, к которым только приписано «здравствуй!», как, например, у Платона, а часто и у Фукидида. (229) И синтаксис должен быть более свободным. Ведь смешно употреблять периоды, как будто пишется не письмо, а судебная речь. Это не только смешно, но и не по-дружески. В письмах нужна такая речь, которая, по пословице, называет смоквы смоквами<sup>6</sup>.

(230) Нужно знать, что для писем существует не только свой стиль, но и свой предмет речи. Аристотель, по-видимому, с величайшим тщанием соблюдал эпистолярную форму. «Этого я не пишу, — говорит он, — так как это не подходило для письма». (231) Ведь если кто-нибудь в письме пишет о софизмах и о природе, то хотя он пишет, но написанное не будет письмом. Письмо — это выражение дружбы, сжато говорящее о простом деле и простыми словами. (232) Красота его в дружеской приветливости и в обилии пословиц. Только эта мудрость и должна заключаться в нем, так как пословицы просты и общеупотребительны. Тот же, кто пересыпает свою речь сентенциями и увещаниями, скорее кривляется, чем пишет письмо.

(233) Аристотель пользуется даже особыми доводами, подходящими для писем. Так, например, желая внушить, что следует благодетельствовать и большим и малым городам в равной мере, он говорит: «Боги одинаковы и в тех и в других и, поскольку Хариты-богини, они будут равно благосклонны к тебе и в тех и в других городах». Здесь и предмет, который доказывается, уместен для письма, и сам довод таков.

(234) Поскольку мы иногда пишем и к городам и к царям, то пусть такие письма будут немного длиннее. Нужно учитывать и то, кому пишется письмо. Само письмо должно быть в меру пространным, но не превращаться в целое сочинение вместо письма, как, например, письма Аристотеля к Александру и Платона к сторонникам Диона.

(235) Итак, слог письма должен сочетать в себе две черты — изящество и сжатость».

О том, как переписывались между собой жители эллинистического мира по обычным житейским поводам, можно судить по тем письмам царей, должностных чиновников и частных лиц, которые дошли до нас в египетских папирусах. Тематика этой переписки всегда конкретна: Птолемей II (258 г. до н. э.) пишет министру Аполлонию о фискальных процессах; Птолемей V Эпифан (188 г. до н. э.) обещает командиру гарнизона на острове Фере наделить солдат землей; строитель канала требует денег для дальнейшего проведения работ, крестьянин сообщает, что его урожай погиб от наводнения, и просит у друга помощи; сын приглашает отца приехать на праздник и представить его царю; мать

<sup>6</sup> Смысл пословицы: называть вещи своими именами, избегать словесных ухищрений.

радуется тому, что сын учится египетской грамоте, что он сможет потом обучать детей врача и будет обеспечен в старости. Содержание и композиция этих писем подчинены определенному шаблону: в них говорится только о самом необходимом, сжато, коротко. Начало и конец письма пишутся по трафарету. Письмо начинается с имени автора, затем стоит имя адресата, потом уже приветствие («радуйся!»), осведомление о здоровье и благополучии. Заканчивается письмо поклонами и пожеланием счастья и здоровья. Приводим в виде образца одно из писем такого рода:

«Поликрат своему отцу желает радоваться. Хорошо, если ты здоров, и все прочие дела идут по твоему усмотрению; здоровы также и мы. Много раз уже я писал тебе, прося прибыть сюда и представить меня царю, чтобы я мог освободиться от теперешнего моего бездействия. И сейчас, если можно и если тебе не мешают никакие дела, попробуй прийти на праздник Арсиной; ведь если ты будешь здесь, то, уверен я, мне будет легко представиться царю. Знай, что я получил от Филонида 70 драхм. Из них половину я оставил на свои нужды, остальное отдал в уплату долга. Так происходит из-за того, что мы получаем не все сразу, а понемногу. Пиши и ты нам, чтобы мы знали, как твои дела, и не тревожились. Заботься и о себе самом, чтобы быть тебе здоровому и благополучно прийти к нам. Будь счастлив»<sup>7</sup>.

В этих устойчивых формулах допускались варианты. Так, например, в письмах к высокопоставленным лицам имя адресата ставилось на первом месте. Позволялось приукрашивать письма выражениями вежливости, делать их более сердечными, или, наоборот, более сухими. Со временем формулы видоизменялись: в птолемеевский период обычно в начале письма после пожелания здоровья добавлялось: «и я был здоров», в императорскую эпоху входит в обиход заключительная формула: «желаю тебе здоровья на многие годы»<sup>8</sup>. Шаблонность формул вела к шаблону интонаций. Часто письмо не только писалось, но и составлялось писцом по заказу. Для ведения деловой переписки существовала особая должность чиновника царской, а затем императорской канцелярии, и ее нередко занимали риторы. Риторика не преминула и тут ввести систематизацию, выделить главные типы писем и предложить своего рода схему писем на все случаи жизни. Письма разделялись на типы (дружеский, иронический, рекомендательный, хвалебный и т. п.), и для каждого из них устанавливался трафарет. До нас дошло несколько таких антич-

<sup>7</sup> «*Epistulae privatae graecae quae in papiris aetatis Lagidarum servantur* ed. St. Witkowski Epistula 3. Lipsiae, 1906, p. 5—7.

<sup>8</sup> W. Schubarth. *Ein Jahrtausend am Nil. Briefe aus dem Altertum*. Berlin, 1912, S. XXVII—XXX; см. также: O. Exler. *The form of the ancient Greek letter. A Study in greek epistolography*. Washington, 1923.

ных письмовников. Самый древний, как и книга «О слоге», ошибочно приписывается Деметрию Фалерскому. В издании Герхера он помещен под именем Деметрия, однако в издании Альда он приведен как аноним, так как имя Деметрия отсутствует в ряде кодексов. Близость к нему папирусных писем 164—163 г. до н. э. позволяет думать, что источники его восходят ко II в. до н. э. Письмовник предназначен для канцелярских писцов. Он носит название «Типы писем» (τύποι ἐπιστολικοί) и содержит в себе разделение писем на двадцать один вид и образцы каждого вида. Составлен он в форме послания к неизвестному нам Гераклиду и начинается со следующего вступления:

«Тебя, Гераклид, как я вижу, интересуют типы писем, которым теория предписывает различную форму и которые используются теми, кто всегда должен приспособливаться к данному моменту и писать с тончайшим искусством, как это приходится делать лицам, несущим подобную службу при правителях. Я описал поэтому структуру некоторых их форм и различия, существующие между ними, я указывал как бы признак каждого вида в нескольких словах, с одной стороны полагая, что ты рад будешь узнать нечто большее, чем знают остальные, ведь прелесть для тебя не в пиршествах, а в науках, с другой стороны рассчитывая также заслужить должную похвалу.

До сих пор нам встретился двадцать один тип писем. Возможно, что со временем число их возрастет: составители руководств и правил весьма изобретательны. В наше время нет удобного образца эпистолярной формы. Свое название каждый тип писем получает в зависимости от основной мысли письма:

- |                       |                      |                       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. дружеский,         | 8. угрожающий,       | 16. объяснительный.   |
| 2. рекомендательный,  | 9. хулительный,      | 17. обвинительный,    |
| 3. пренебрежительный, | 10. хвалебный        | 18. защитительный,    |
| 4. упрекающий,        | 11. совещательный,   | 19. поздравительный,  |
| 5. решительный,       | 12. просительный,    | 20. иронический,      |
| 6. порицательный,     | 13. вопросительный,  | 21. благодарственный, |
| 7. вразумляющий,      | 14. ответный,        |                       |
|                       | 15. иносказательный, |                       |

1. Дружеский: кажется, что друг пишет другу. При этом не всегда пишут настоящие друзья. Часто высокопоставленные лица по каким-либо причинам находят нужным писать дружеские письма своим подчиненным и друг другу: таковы письма полководцев, правителей. Бывает, что письмо обращено к незнакомым людям: делают они это не из-за тесных уз дружбы и полного согласия, а из расчета, что дружественное письмо не встретит возражений. Тип этих писем, как будто обращенных к другу, и называется «дружеским». Например:

«Хотя нас разделяет с тобой обширное пространство, я ощущаю это только телом. Я не в силах забыть ни тебя, ни те благодарные узы, которые связывают нас с детства. Я отношусь к тебе с искренним чувством и всегда явно ищущу твоей пользы, предполагаю, что и ты так же судишь обо мне и ни в чем мне не откажешь. Ты, стало быть, поступишь хорошо, если чаще станешь наведываться к моим домашним, наблюдая, нет ли у них в чем недостатка, и помогая им в необходимом. Ты напишешь нам о том, что сочтешь нужным».

2. Рекомендательный: когда мы пишем в пользу кого-нибудь другого, присовокупляя похвалу и добавляя новые, дотоле неизвестные сведения. Например:

«Податель сего письма проверен нами и любим за свою верность. Ты хорошо сделаешь, если сочтешь возможным его принять и ради меня, и ради него, и ради самого себя. Ты не раскаешься, поручив ему, что угодно, будь то даже тайное дело или слово. Ты и пред другими сможешь хвалиться им, убедившись, какую пользу он способен приносить во всем».

3. Пренебрежительный: когда кто-нибудь делает вид, что не считает себя униженным.

«Если до сих пор время не заставило тебя воздать благодарность за то хорошее, что ты испытал, и даже помнить об этом ты не считаешь нужным, но вдобавок ты еще выступил против нас с враждебными речами, то я презираю не тебя за твой характер, а себя самого за то, что тебя не распознал».

4. Упрекающий: когда того, кому мы раньше оказали благодеяние, мы с жалобами упрекаем за его поступки.

«Тебе следовало бы понять сначала, что значит «познай самого себя», а затем уже выражать свою неприязнь другим. А теперь ты, вскормленный нами и благодаря нам пользующийся жизнью, мнишь о себе больше, чем следует. Виноваты в этом мы сами, не следовало давать свободу тебе. Правда, ты даже и теперь не свободен, коли ведешь себя по-рабски. Так продолжай злословить, раз не научился хорошо говорить».

5. Утешительный: когда пишут тем, кто огорчен каким-нибудь несчастьем. Например:

«Весть о несчастьях, насланных на тебя безжалостной судьбой, повергла меня в глубокую печаль. Твою беду я признал своей собственной, и в тот день вся вообще жизнь казалась мне невыносимой. Поразмыслив однако, что это общая участь всех, и природа не положила ни срока ни возраста для страданий, но часто обрушивает свои удары тайно, внезапно и незаслуженно, я решил утешить тебя письмом, раз уж не могу сделать это лично. Переноси случившееся, как можно легче, и как ты увещевал других, так увещевай и самого себя. Ты ведь знаешь, что разум ускорит то облегчение, которое несет с собой время».

6. **Порицающий**: когда с упреком пишут о прошлых проступках следующим образом.

«Одни проступки совершаются добровольно, другие против воли. Из них первые тяжки, вторые легки, одни наносят вред только ошибающимся, другие — прочим людям. У тебя же это словно вошло в обычай. Ты ведь много раз творил во вред мне словное зло. Ты заслужил еще больших упреков, если говорить сейчас и о других твоих неправдах. Но можно еще найти лекарство для совершенной ошибки. Если ты исправишь вину, то сам станешь причиной того, что она исчезнет, как я был причиной того, что она возникла».

7. **Вразумляющий**: здесь прилагаемое название само указывает оценку; ведь вразумлять — это значит влагать разум в вразумляемого и поучать тому, что следует и чего не следует делать.

«Плохо поступил ты, обойдясь так с человеком, который хорошо себя держит, прожил жизнь и вообще не сделал тебе ничего дурного, так что будь добр извиниться в этом. Ведь если бы, наоборот, ты сам был обижен, то легко добился бы от него извинения. Не веди себя как безродный невежа, будто вообще у тебя нет ни родственника, даже самого дальнего, ни друга, который бы упрекнул тебя за ошибки».

8. **Угрожающий**: когда мы хотим нагнать сильный страх за совершенные или замышляемые поступки таким образом:

«Если ты надеешься избежать всякого наказания за то, что ты натворил, то действуй, но знай наверное, что, ни взлетев на небо, ни провалившись сквозь землю, ты все равно не увернешься от хода времени; не найти тебе дороги, по которой ты мог бы убежать от того, что тебя неминуемо постигнет».

9. **Хулительный**: когда мы заявляем, что характер у такого-то дурен, а поступок его отвратителен. Например:

«О том, как неблагородно исполнено им поручение и сколь недостойно тех, кто оказал ему доверие, я не стану говорить, — он услышит это от других. Писать нужно о том, что ото всех скрыто; а о том, что для всех очевидно и разглашается молвой, излишне и сообщать, это обличается даже молчашими».

10. **Хвалебный**: когда мы одобряем чей-то поступок или замысел. Например:

«Уже по тем письмам, которые ты написал раньше, я ощутил твою любовь к прекрасному, и теперь я согласен с тобой и одобряю твои поступки — ведь это будет на пользу нам обоим».

11. **Совещательный**: когда побуждаем к чему-нибудь, либо отговариваем от чего-то, предлагая свое собственное мнение. Например:

«Я показал тебе в общих чертах, чем я стяжал добрую славу у правителей. Я знаю, что и ты по своему характеру способен заслужить благосклонность подчиненных, и не создавая себе дру-

зей без числа, ко всем относиться ровно и человеколюбиво. Если будешь таким, то создашь себе доброе имя в народе и прочно будешь держаться у власти».

12. **Просительный:** заключается в просьбах, требованиях и так называемых уговорах, например, с просьбой о прощении.

«За все, что он тебе сделал, я укорил его даже строже, чем следовало, наговорив ему едва ли не больше, чем сказал бы ты сам в свою защиту. Поэтому поступи теперь наперекор моей несправедливости, дабы все вернулось к старому. Ведь я знаю, что ты человек дельный и к друзьям благожелательный. В общем рассуди по гомеровскому:

... Обуздай свою гордую душу! Возможно ль  
Быть столь жестоким! Подумай, ведь боги, и те умолимы<sup>9</sup>.

13. **Вопросительный:** когда, задавая вопрос, просим ответа.

«Я слышу, что такой-то философ прибыл к тебе. Сообщи, у тебя ли он находится или отправился дальше».

14. **Ответный:** когда даем ответ на вопрос.

«Ты спрашивал меня в письме, у нас ли сейчас тот, кого ты имеешь в виду. Да, ты слышал правду: он прибыл, он еще здесь и говорит, что задержится до твоего приезда».

15. **Иносказательный:** когда хотим быть понятыми только тем лицом, кому мы пишем, и для этого ведем речь якобы о другом деле.

«Я слышу, что атлет, боровшийся с тобой, живет за воротами, в мрачном жилище, нагой. Ты, конечно, одержишь полную победу». Тут ведь прямо не сказано, что противник погиб. А в другом письме с угрозой говорится: «Неужели вы не успокоитесь, пока не увидите, как кузнечики запоют на земле?» На самом же деле это должно означать: «Вы не успокоитесь, пока не увидите страну вашу разрушенной дотла, без единого дерева, — ибо на земле кузнечики запоют, лишь когда не будет у них ни деревьев, ни стен».

16. **Объяснительный:** когда мы указываем причины, по которым что-либо не произошло или произойдет. Например:

«Ты написал, чтобы я отправлялся к тебе незамедлительно, я и сам озабочен этим, но выполнить это трудно — всюду помехи нашему плаванью. Прежде всего невозможно найти корабль, — все они заняты по государственным поручениям. Да без попутного ветра никто и плыть не хотел. А мы тем временем еще и в тяжбу впутались, и неоткуда нам взять поручителя, чтобы положить конец делу. К тому же я и телом стал слаб. Раз уж все это так совпало, не жди меня».

17. **Обвинительный:** заключается в порицании за какие-нибудь неблагоприятные поступки.

<sup>9</sup> «Илиада», IX, 495—496; перевод В. Вересаева.

«Неприятно мне было слушать, когда о тебе перед претором так нехорошо говорили, — неприятно, потому что ты заслуживал этого. Нехорошо с твоей стороны водиться с тем, кто наговаривает тебе на меня, когда тебе известно, что он клеветник и обманщик. Я знаю, про кого пишу тебе. Водя дружбу с тем, кто заведомо ко мне враждебен, ты даже не подумал, что человек, чернящий перед тобой другого, станет, естественно, и на тебя наговаривать перед другими. Его я презираю за поступки, тебя — за то, что ты вроде бы и разумен, а в друзьях не разбираешься».

18. **Защитительный:** когда обвинителю предлагаются доводы, доказывающие невинность.

«Судьба и в самом деле хорошо устроила, что тебе одновременно со мной написал еще кто-то и что я посылая тебя к претору. Это помогает мне доказать многое. Они говорят, что я совершил это тогда-то, а я за три месяца до того уже уплыл в Александрию, и, конечно, ни я не мог видеть претора, ни он меня. А о том, что я писал какое-то послание против тебя, даже сами они не решаются говорить. Нелепа мысль, будто я, без всякой ссоры с тобой, стал бы возводить напраслину на невинного. Нет, это они сами, по-видимому, поступили безрассудно, боясь, как бы кто-нибудь, придя к тебе, не оклеветал их первый...<sup>10</sup> Если будешь держать себя как подобает, то обо всем узнаешь, когда я приеду. Разве я когда-нибудь наговаривал тебе на других, что ты вдруг поверил, будто я наговариваю другим на тебя? Но скоро я буду у тебя, и мы все выясним: ты убедишься, что не прогадал, завязав со мною дружбу, я же проверю тебя. Клеветники нас с тобой объединят, а себя самих удуют».

19. **Поздравительный:** когда пишем кому-нибудь, разделяя радость по поводу великих и неожиданных событий.

«Думаю, что ты сам не больше радовался, чем я, когда узнал, что с тобой случилось. Ведь даже и высокопоставленные лица обращают внимание на твой характер, когда ты оказываешь сопротивление людям, почтение богам».

20. **Иронический:** когда называем вещи наоборот и плохих именуем хорошими.

«Ты показал свое к нам давнишнее благорасположение; твоя благая воля не составляет тайны. Насколько от тебя зависело, разделался с нами, не жалуйся, если тебе будет воздано тем же. А мы убеждены, что если пожелают боги, то нам представится такой удобный случай, которым ты против нас никогда не воспользуешься».

21. **Благодарственный:** когда хотя бы сказать благодетелю, что о его благодеянии помнят.

«За оказанное мне тобой благодеяние я сейчас выражаю благодарность на словах; но я хорошо понимаю, как это недостаточно,

<sup>10</sup> Текст испорчен.

и мечтаю быть тебе полезным на деле. Ведь даже рискуя жизнью за тебя, я не отблагодарю тебя достойно за все, чем я тебе обязан. Поэтому, если тебе понадобится моя помощь, не проси ее, а требуй в благодарность».

Еще один. «Тебе, мудрейший, шлю мусическое приветствие. Лира, по-видимому, около тебя. Нынче мой грифель сложит тебе через нас дружескую песнь, настойчиво и беспрепятственно стараясь подладить ее к нашему голосу. Справедливо и божественно приветствовать такими обращениями вас — повелителей настоящих и будущих. Поэтому мы исполнили закон и воздали должное поклонение и вас призываем помнить о нас и писать нам туда. Мы ежедневно возносим мольбу о том, чтобы вы были целы и страстно желаем удостовериться в этом».

Еще один: «Ты, господин, доставил нам обычную радость, посылая письмо за письмом, ты обнаружил перед нами свое присутствие, а отметив отсутствие присутствием, ты снова вселил в нас радость и заставил ликовать. Ведь твои блестящие послания, полные здравого смысла, бывают и для нас источником благоразумия; ибо ты, господин, и отсутствуя присутствуешь у нас, и присутствуя пребываешь в наших душах, вписанный туда и неизгладимым воспоминанием, и присутствием милейших детей, и мукой тех, кто в долгу у тебя, и благородством духа. Ведь послание — это светлый праздник и торжество для души и глаз».

Подчинение Греции Риму сделало греческую риторику доступной для образованной верхушки римского общества. Во II в. до н. э. в Риме открываются риторские школы; а во время поездок римляне начинают посещать подобные школы и в самой Греции, в Афинах и других местах. Латинская литература впитывает в себя найденную греками технику словесных форм и в I в. до н. э. достигает своего наиболее полного художественного расцвета. В этот век бурных общественных потрясений, в век гражданских войн, убийства Цезаря и принцепата Августа искусство слова в Риме приобретает огромное политическое значение: Цицерон отдает весь запас своего красноречия защите республики, Юлий Цезарь в «Записках о Галльской войне» оправдывает римское завоевание Галлии, Саллюстий в «Заговоре Катилины» разоблачает аристократию. И подобно тому, как в Греции IV в. до н. э., в Риме появляется теперь эпистолярная публицистика: Саллюстий дает своего рода политическую декларацию в письмах к Цезарю, критикуя римскую знать и выдвигая программу реформ; Антоний издевается над Августом в своих письмах-памфлетах.

Создатель литературного латинского языка, Цицерон придает эпистолярной форме законченную стилистическую отделку. Он вводит тройкую классификацию писем: по их тону — на интимные и предназначенные для публичных чтений; по отношению автора письма к адресату — на официальные (*publicae*) и личные (*privatae*).



tae); по содержанию — на простые уведомления, на дружеские, шуточные и на строгие, серьезные и грустные<sup>11</sup>. Эпистолярное наследие самого Цицерона огромно: до нас дошло около 800 его писем. Они распадаются на две большие, стилистически разные группы: письма к Аттику и письма к близким. Письма к Аттику не предназначены для чужих глаз и написаны просто, свободно, в них много крылатых выражений, нет искусственных приемов, они близки по тону к устному разговору. Письма к близким, напротив, адресованы к разным лицам, и в них нет единства интонации, но язык отточен и гибок так, что может служить образцом умения попадать «в тон» характеру и манере каждого корреспондента<sup>12</sup>.

В эпоху Августа традицию дидактических и риторских писем воспринимает римская поэзия: Гораций облакает в интимную форму посланий морализирующие рассуждения о собственной жизни и свою теорию поэзии, а питомец ритор, Овидий, сочиняет по их шаблонам любовные послания мифологических героинь («Героиды»).

В I в. н. э. черты литературной условности получают дальнейшее развитие в римской эпистолографии. Повторяется тот же процесс, какой мы видели в греческой эпистолографии: письмо начинает жить самостоятельно, независимо от реального повода написания его автором и получения адресатом. Уже у Сенеки главное в письмах — это раскрытие философского мировоззрения. Из трех звеньев эпистолярной ситуации (автор — сообщение — адресат) значение первого и последнего сводится к минимуму. Письма Плиния представляют еще один шаг на этом пути: Плиний сам издает свои письма, предназначая их тем самым для более широкого круга читателей, чем их непосредственные адресаты. Отказ от хронологического порядка при их распределении и нарочито разнообразный тематический подбор писем в каждой из девяти книг<sup>13</sup> достаточно ясно говорит о том, что письмо Плиния отрывается самим автором от конкретной ситуации написания и получает самостоятельную жизнь как художественное произведение.

В греческой литературе эпохи империи развитие эпистолографии как особого художественного жанра связано с тем направлением в культурной жизни поздней античности, которое получило название второй, или новой, софистики. Это направление родилось во II в. н. э. в подчиненных Риму греческих провинциях Малой Азии и ставило своей целью добиться возрождения греческого красноречия путем подражания лучшим литературным образцам прошлого. Но в условиях римской империи у греческого

<sup>11</sup> Cicero *Pro Flacco*, 16, 37; *Philippico*, II, 4, 7.

<sup>12</sup> Н. Петер. Указ. соч., стр. 21—53.

<sup>13</sup> Плиний, Письма I, 1.

красноречия не было той почвы, которой питалась литература классической Греции, — не было политической самостоятельности: потому искусство слова приобретает тут самодовлеющее значение. «Насколько предпочтительнее командовать, чем прислуживаться, настолько предпочтительнее говорить о необходимом, чем действовать», — пишет Элий Аристид (Речь 45, р. 128). Подражание классическим образцам получает столь широкое распространение, что фактически предопределяет развитие греческой литературы на несколько столетий вперед. Создается искусственный стиль литературного языка — «аттицизм», максимально близкий языку аттической прозы IV в. до н. э. и в то же время оторванный от живой разговорной речи. Однако обращение к традициям классического периода не означало разрыва с традициями эллинизма.

Эпистолярная литература периода второй софистики хронологически и тематически делится на две группы. Первая группа — это эпистолография конца II—начала III в. н. э., включающая в себя главным образом фиктивные литературные письма (Элиан, Алкифрон, Филострат). Вторая группа — это эпистолография IV—V вв. н. э., в основном это подлинная переписка литературно образованной верхушки общества (Юлиан, Либаний, Симмах и др.).

В фиктивных литературных письмах эпистолярная форма открыто выступает как чисто художественный прием. Приспособленная эллинистической риторикой к изображению характера и передаче настроения (*ἦθος* и *πάθος*), она связывается теперь с изображением определенных характеров (письма рыбаков, крестьян, паразитов) и с передачей определенного настроения (эротические послания). Литературное воспроизведение взаимной переписки нескольких лиц дает возможность воссоздавать не только характер и настроение, но и определенную ситуацию — так возникают зачатки эпистолярного романа. Эллинистическая стилистика (трактат «О слоге») относил письмо к литературе «простого» стиля, — и в полном соответствии с этим требованием жанр литературных писем периода второй софистики приспособлялся к изображению бытовой тематики, продолжая тем самым традиции новоаттической комедии. Общая ориентация второй софистики на классическую древность сказывается тут в выборе имен, в хронологическом отнесении фиктивной переписки к IV в. до н. э. (письма Алкифрона).

Сходную картину дают и многочисленные в эту эпоху псевдоисторические письма. Эта продукция риторских школ, где принято было сочинять письма от лица героев древности, рождает особую литературу биографических эпистолярных повестей. На протяжении цикла писем в них описываются поступки и настроения героя, причем фактическая канва событий заимствуется из исторического предания, источником же ее субъективной интерпретации

служит популярная мораль философских школ поздней античности. Так на протяжении I в. до н. э.—III в. н. э. возникают сборники псевдоисторических писем Фемистокла, Гиппократы, Гераклита, киника Диогена и др.

В литературе III в. н. э. дается уже осмысление тех приемов, которыми достигается эпистолярная «этопия» (ethoroiia) — риторическое воспроизведение характера. Письмо воспринимается как определенная система средств выражения, обусловленная характером лица, от имени которого оно пишется.

Искусство секретаря-письмоводителя, сочиняющего письма своего патрона, сближается с игрой актера и импровизацией. Образцы таких эпистолографов приводятся у Филострата в «Жизнеописаниях софистов».

«Мастер импровизации, он (софист Антипатр.—Т. М.) не переставал выступать и с заранее обдуманными речами — нам он читал Олимпийскую и Панафинейскую своего сочинения. В свой рассказ он включил и деяния императора Севера, поручившего ему должность царского письмоводителя, которая принесла Антипатру громкую известность. Многие, на мой взгляд, и с речами выступали, и книги писали лучше, чем он, однако никто не превзошел его в эпистолярном искусстве. Он был подобен блестящему актеру трагедии, великолепно играющему в драме образ царя. Ибо в словах его была ясность и величие мысли, слог, подающий обстоятельствам, и приятное бессоюзие, что создает особую красоту в письме» (II, 24, 1).

Вторая софистика не вносит ничего существенно нового в эллинистическую теорию эпистолографии. Место письма как художественной формы в общей системе стилей остается неизменным, и ясность (σαφηνεια) по-прежнему служит его эстетическим критерием. В теоретических рассуждениях второй софистики исследуется лишь то, как удобнее достичь желаемого эффекта, и в каком отношении должно стоять письмо к антиклизму. Два знаменитых стилиста и эпистолографа этой эпохи, язычник Филострат (II—III вв. н. э.) и христианин Григорий Назианзин (IV в. н. э.), сформулировали эти общие требования к жанру писем.

В приводимом ниже письме, посвященном стилю писем, Филострат исходит из общих посылок эллинистического трактата «О слоге», т. е. подходит к письму с меркой ясности и общедоступности и в соответствии с этим ограничивает проникновшие антиклизма в эпистолярную литературу:

«Характерный для письма стиль, как мне кажется, после древних лучше всего усвоили среди философов Тианец и Дион, из полководцев же — Брут или тот, кого Брут использовал для переписки; из императоров — божественный Марк в посланиях, написанных им самим; ведь на них, помимо красоты слога, лежит печать неизменного образа мыслей. Из риториков лучше всех

писал афинянин Герод<sup>14</sup>, хотя, злоупотребляя аттицизмами и многословием, он часто отступал от подобающего в послании стиля. Дело в том, что речь в письме должна казаться и более аттической, чем обычная речь, и более обычной, чем аттическая: строить ее надо просто, не лишая вместе с тем приятности. Пусть украшением ей служит отсутствие прикрас. Если мы начнем приукрашивать ее, то будет казаться, что мы стремимся произвести впечатление, в письмах такое стремление нелепо. В очень кратких письмах я допускаю искусно построенный период для того, чтобы невыразительная краткость скрашивалась благозвучием. В длинных же посланиях период надо исключать, потому что это создает несвойственную письму излишнюю напряженность, кроме тех случаев, когда к концу письма надо охватить все сказанное или выразить в заключение смысл всего. Для любого стиля ясность — хорошее руководство, тем более для письма. В самом деле, если мы даем или просим, идем на уступки, или отказываемся уступить, если мы обвиняем, защищаемся, любим, мы легче добьемся своей цели, когда станем выражаться ясно. А выражаться ясно и вместе с тем не обедняя речи мы будем в том случае, если общие всем мысли изложим по-новому, а новые — общим для всех языком» (Филострат, письма, I).

Фактически повторяя основные требования трактата «О слоге», Филострат вместе с тем создает канон эпистолярного стиля своей эпохи, предлагая новые образцы для подражания, которые выделяются им по принципу профессиональной характеристики их авторов. В этом делении эпистолографов по родам их занятий сказывается особое значение, которое придавала вторая софистика литературной стороне той секретарской работы, которую образованные софисты вели при императорском дворе.

Другое письмо Филострата — «О том, как надо писать письма» направлено против некоего Аспасия, который, занимая должность царского письмоводителя, в одни письма вставлял больше, чем надо, рассуждений, другие писал неясно. «Царю же, — говорит Филострат, — не пристало ни то, ни другое. Императору ведь, когда он пишет письмо, важны не энтимемы и эпихейремы, а только собственное мнение, и неясность ему не нужна, поскольку он провозглашает законы, ясность же служит разъяснителем закона» (Жизнеописания софистов, II, 33, 3).

Эпистолярная теория римской риторической школы известна нам по риторике Юлия Виктора (IV в. н. э.). Предполагаемым источником компилятивного труда Юлия Виктора признается ри-

<sup>14</sup> Тианец — Аполлоний Тианский, греческий философ-неопифагореец I в. н. э.; сохранилось собрание писем, носящих его имя. Дион — знаменитый философ и ритор I в. н. э., прозванный за свое красноречие золотоустым («Хрисостомом»). Брут — один из вождей заговора против Ю. Цезаря, переписывавшийся с Цицероном. Марк — римский император Марк Аврелий. Герод Аттик (II в. н. э.) — знаменитый оратор и ритор второй софи-стики.

торика Юлия Титиана (II в. н. э.), известного подражателя письмам Цицерона<sup>15</sup>. Риторика Юлия Виктора предъявляет к эпистолярной литературе требование ясности, краткости, но, в отличие от приводившихся выше греческих наставлений, ориентирует читателя не на передачу характера составителя письма, а на соответствие характеру адресата, что и заставляет думать, что в основе этого раздела лежит более древний источник, основывающийся на опыте реальной, непосредственной переписки, в которой конкретное воздействие письма на адресата имело первостепенное значение. Вот текст отрывка Юлия Виктора:

## О ПИСЬМАХ

К письмам приложимы многие требования, предъявляемые к речам. Письма бывают двоякого рода: деловые и дружеские. Деловые посвящаются делу хлопотному и важному. Достоинства такого рода писем — это и вескость мысли, и словесная ясность, и блеск фигур, да и все правила ораторского искусства, с тем только исключением, что мы извлекаем что-то одно из всей их массы и что слог (*sermo*) лучше соответствует предмету речи. Если тебе приходится в письме освещать какое-то историческое событие, то следует уклониться от полного соблюдения правил писания истории, чтобы не нарушить очарования письма. Если же примешься писать нечто более ученое, то заботься только о том, как бы не исковеркать письма. В дружеских письмах надо прежде всего соблюдать краткость. Пусть и сами мысли в нем будут не растянуты, «без околичностей», как говорит Катон. Но пусть от сокращения не ощущается недостатка ни в одном слове. В письмах Туллия к Аттику и Архию чаще всего стоит одно «тебя», которое дополняется общим смыслом. Нужно, чтобы в письмах сквозила ясность, если только это не умышленно тайные письма, которые, впрочем, должны быть неясны только для посторонних, а для тех, к кому они посылаются, в них все должно быть полностью ясно. Принято обмениваться и более секретными записками, как это делали Цезарь, Август, Цицерон и большинство прочих; зато в остальных случаях, когда нечего скрывать, нужно больше избегать неясности, чем в речи или беседе: ведь при открытом разговоре ты можешь попросить собеседника выразиться яснее, а в письмах к отсутствующим это невозможно. Поэтому не следует добавлять ни запутанного описания, ни малоизвестной поговорки, ни устаревшего слова, ни вычурной фигуры; стремление к обрубленной краткости не должно означать, что следует добиваться понимания половинчатой мысли; пусть только ясность не затмевается растянутостью слов и вымученной отделкой. Пусть письмо не будет шутивным, если оно пишется лицу вышестоящему, грубым — если равному, надменным — если подчиненному, неряшливо написанным — если ученому, невнимательно составленным — если неученому, пусть не будет оно состоять из избитых выражений, если пишется самому близкому человеку, если же менее близкому, то пусть не будет недружелюбным; с рвением приветствуй благоприятные обстоятельства, чтобы усугубить

<sup>15</sup> Н. Коскениети. Указ. соч., стр. 31.

радость; когда сталкиваешься с горящим, утешай кратко, так как рана кротовочит даже тогда, когда к ней прикасаются ладонью. В письмах к близким шути так, чтобы не покидала тебя мысль о том, что эти письма, может случиться, будут прочтены в более грустные времена. Браниться никогда не следует, менее всего в письме. Предисловия и подписи должны быть сообразованы со степенью близости и важности. Должен быть учтен обычай. Писать ответ нужно так, чтобы письмо, на которое ты отвечаешь, было под руками, дабы ничто из того, на что должен быть дан ответ, не ускользнуло из памяти. У древних заведено было писать собственноручно тем, кто нам особенно дорог, или делать пространную подпись. Рекомендации надо либо давать честно, либо не давать. Достигается это тогда, когда с наибольшим дружеским любимым рекомендуешь самому большому другу и просишь возможного и доступного. Приятно добавить к письму что-либо по-гречески, если это к месту, и не очень часто. Весьма удобно вставить и не безвестную пословицу, стихок или часть стиха. Красиво звучит иногда обращение как бы к присутствующему, например: «эй, ты!» или: «что ты говоришь?» или: «вижу, ты смеешься». Такого рода вещей много у Цицерона. Но это, как я сказал, в дружеских письмах. В прочих правила более строгие. В общем, не забывай о хорошем слоге и в письмах и при всяком другом писании»<sup>16</sup>.

Широкое распространение эпистолярной практики в середине IV в. н. э. связано с деятельностью риторской школы Либания. Здесь письмо становится одной из самых излюбленных художественных форм и служит как бы мерилom литературного таланта его автора. В одном из писем Либания рисуется любопытная сценка получения и прочтения письма:

«Некрасиво было бы умолчать о том, чему причиной послужило твое великолепное письмо. У меня сидели тогда старые завсегдатаи и еще не мало других лиц, среди них и блистательный Алипий, родственник того самого Гиерокла. Так вот, когда принесли и подали твое письмо, я молча прочел его до конца и, краснея от удовольствия, сказал: «Мы побеждены». «В чем побежден ты, — спросили меня, — и почему побежденный не скорбишь?» «Я уступаю свое первенство в красоте писем, — ответил я, — сильнее меня оказался Василий, но человек этот друг мне, и поэтому я весел». После таких слов они сами захотели удостовериться в твоей победе. Читать стал Алипий, слушали его со вниманием и решили, что я несколько не ошибся» (1583W).

До нас дошло свыше полутора тысяч подлинных писем Либания, около ста писем Юлиана и огромная переписка христианских епископов — воспитанников эллинических риторских школ.

В подлинную переписку проникают штампы риторики, складывается сходство приемов, идей, формул. Общим местом писем становятся сентенции, известные формулы, чаще всего цитаты древних авторов (Гомера, Пиндара), помещаемые в начале посланий. Письма пестрят мифологическими образами и общими мыс-

<sup>16</sup> Перевод сделан по изд.: «*Rhetores latini minores*». Lipsiae, 1863, S. 447—448.

лями типа «у друзей все общее», «достигшие власти забывают друзей» и т. д.<sup>17</sup>. Теория эпистолярного стиля этой эпохи изложена в письме христианского писателя Григория Назианзина к Никобулу. Исходя из традиционных требований ясности, краткости, общепонятности (убедительности) эпистолярного стиля, Григорий особенно подчеркивает критерий соразмерности и следующим образом определяет стилистические приемы, допустимые и необходимые в письмах:

«Из тех, кто пишет письма, раз уж ты об этом спрашиваешь, одни пишут длиннее, чем пристало, другие же слишком куцо, и в обоих случаях они грешат против меры. Так, лучники, которые попадают то мимо, то выше цели, — ошибаются в равной мере, хотя по-разному. Мерило писем — общеупотребительность; и не надо ни слишком длинно описывать события, когда их мало, ни слишком скупю, когда их много. Не должно мерить мудрость ни персидскими верстами<sup>18</sup>, ни детскими локтями и писать с такой скудостью, будто это и не описание вовсе, а лишь намек, напоминающий ту сливающуюся линию полуденных теней или черту, направленную нам прямо в лицо, длина которой незрима и различима лишь по каким-то граням; это есть, я бы кстати сказал, подобие подобий, а нам нужно и в том и в другом, не уклоняясь от меры, находить то, что уместно. Так я понимаю жесткость. Что касается ясности, то следует знать, что, где только можно, надо избегать логических рассуждений, а больше склоняться к разговорной речи; короче говоря, то письмо самое лучшее и красивое, которое убедит и простого человека и человека образованного, первого — своей общедоступностью, второго — тем, что оно отступает от общеупотребительности и само по себе понятно. Ведь в равной мере неудобно и постигать запутанную речь и толковать письмо. Третье — это очарование письма. Мы сохраним его, если не будем писать совсем сухо и тяжело или безыскусно, нестройно, неряшливо, а это случается, когда мы пишем без сентенций, пословиц, изречений, без шуток и намеков, делающих речь более приятной, — и если не будем также злоупотреблять этим. Одно грубо, другое нескромно, и пользоваться этим надо как пурпуром на ткани. Мы примем фигуры (тропы), но в малом числе и те, которые пристойны. Оставим софистам антитезы, параллелизмы, исколоны; если и вставим их кое-где, то сделаем это шутя, а не всерьез. Далее, ты слышал одну из остроумных шуток об орле, как, когда птицы решали, кому быть царем, и все по-разному приукрашивали себя, он заявил, что прекраснее этого не считать себя прекрасным. Вот

---

<sup>17</sup> M. Guignet. *Les procédés épistolaires de S. Grégoire de Nazianze, diss. Paris, 1911, p. 39—61.*

<sup>18</sup> Персидская мера длины (схем) была равна около 5,5 км.

это надо особенно соблюдать и в письмах — простоту и близость к природе...»<sup>19</sup>.

Выработанный второй софистикой штамп эпистолярного стиля продолжает жить в литературе византийского периода. Своеобразным обобщением эпистолярной теории античности, ее стилистических принципов и классификации эпистолярного содержания служит дошедший до нас без указания автора и приписываемый в позднейших изданиях Проклу или Либанию риторический трактат о стилях писем (*epistolimaioi characteres*). Здесь дается определение письма как разговора отсутствующего с отсутствующим; повторяется для обоснования требования соразмерности сравнение эпистолографа с лучником, использованное Григорием Назианзином, приводятся слова Филострата о необходимости «новое излагать общепонятно, а об общеизвестном говорить по-новому», и, наконец, обосновывается подразделение писем на 41 подвид.

В этой классификации писем на 41 подвид лишь 13 названий совпадают с тем, что мы имеем в более раннем разделении писем на 21 тип (см. выше). Среди новых выделенных подвидов оказываются письма любовные, посвятительные, наставительные.

## О ФОРМЕ ПИСЕМ

Разнообразны оттенки и многочисленные разновидности писем, поэтому тот, кто желает писать их, должен составлять письма не как попало, а с великим тщанием и искусством. Лучше всего удастся составить письмо тогда, когда известно, что собой представляет письмо, о чем вообще в нем можно говорить и на сколько видов оно распределяется. Итак, письмо — это письменная беседа отсутствующего с отсутствующим, преследующая какую-то полезную цель; говорит же в нем человек то же, что произносит лицом к лицу. Письмо распределяется на много разных видов. Ведь из того, что письмо имеет одно общее имя, не следует, будто во всех рождаемых жизнью письмах присутствует единая черта и ко всем им приложимо одно название; напротив, их много, как я уже сказал. Наименования, которые указывают на стиль писем, таковы:

- |                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1. убеждающее        | 10. отрицающее      | 19. ответное       |
| 2. пренебрежительное | 11. повелительное   | 20. раздражающее   |
| 3. побуждающее       | 12. покаянное       | 21. утешительное   |
| 4. рекомендательное  | 13. порицательное   | 22. оскорбительное |
| 5. ироническое       | 14. сострадательное | 23. обобщающее     |
| 6. благодарственное  | 15. заискивающее    | 24. жалобное       |
| 7. дружеское         | 16. поздравительное | 25. посольское     |
| 8. просительное      | 17. обманчивое      | 26. похвальное     |
| 9. угрожающее        | 18. возражающее     | 27. поучительное   |

<sup>19</sup> Перевод сделан по изд.: «*Epistolographi graeci*», S. 15 (Gregorii Nazianzeni epistola ad Nicobulum, 51-259).



- |                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|------------------|
| 28. обличительное  | 33. посвяжительное | 38. напоминающее |
| 29. клеветническое | 34. заявляющее     | 39. горестное    |
| 30. придирчивое    | 35. насмешливое    | 40. любовное     |
| 31. вопросительное | 36. униженное      | 41. смешанное    |
| 32. ободряющее     | 37. загадочное     |                  |

Таковы все названия, которые могут быть даны письмам. Кто хочет соблюсти в письме совершенную точность, должен пользоваться не только учением о предмете речи, но должен украсить письмо благородным слогом и в меру допускать аттицизм, однако не увлекаться излишним трезвоном, ибо стилю писем чужда и неоправданно велеречивая напыщенность слога и злоупотребление аттицизмом, как свидетельствуют все древние. Прекрасно сказано у Филострата Лемносского: слог письма должен быть более аттическим, чем повседневная речь, и более обычным, чем чистый аттицизм, не слишком высоким, не очень низким, а чем-то средним. Украшением письма должны служить главным образом ясность, умеренная краткость и архаические выражения. Ведь подлинная ясность — хороший наставник всякой речи, особенно эпистолярной. Не следует, однако, ни портить ясность скомканностью, ни без меры болтать, стремясь к ясности, но надо достигать соразмерности, подражая метким лучникам. Ведь у человека ловкого и меткого, когда он целится, стрела не пролетает мимо цели, положенной лучникам, и не падает задолго до нее, но достигает соразмерно намеченной цели. Так и человек, опытный в слове, не болтает попусту, не ищет спасения в краткости, не запутывает понимания. Напротив, слог его соразмерен и изящен, и речь его прекрасна своей ясностью. Размер письма соответствует предмету речи и вовсе нет ничего хорошего в том, чтобы длину письма порицать как какое-то зло; некоторые письма, когда нужно, надо удлинить, смотря по необходимости; в письме пусть найдут себе место приятные истории, напоминания о мифах, ссылки на древние сочинения, остроумные пословицы и философские правила, конечно, без диалектических рассуждений.

После всего сказанного об эпистолярном стиле, чего, я думаю, достаточно для понимающего, я приведу сами письма, расположив их каждое под своим названием. Тому, кто желает выдерживать эпистолярный стиль, надо не болтать попусту, не прибегать к эпитетам, чтобы в письме не было угодничества и низости, а начинать так: «такой-то такому-то шлет привет». Ведь так, очевидно, поступали все древние, знаменитые своей ученостью и красноречием, и тому, кто хочет стать их ревнителем, надо идти по их следам...»

Еще одним источником нашего знакомства с византийской теорией эпистографии служат написанные в VI в. н. э. комментари Элия и Олимпиодора к Аристотелю, где к письмам Аристотеля прилагаются стилистические нормы, уже знакомые нам по письмам Филострата и Григория Назианзина с их требованиями краткости, понятности, остроумия. В виде образца такого рода критики эпистолярного стиля приводим отрывок из комментария Элия:

«Касаясь всевозможных предметов, Аристотель заботился о гармоничности речи, вслух видоизменяя слова в зависимости

от предметов. Поэтому он краток в своих отдельных сочинениях, я разумею письма, в которых сочетается и общее и особенное; общее — поскольку эпистолярный стиль отличается от обиходной речи лишь тем, что это письменный разговор с отсутствующими; особенное — для того, чтобы мы не впадали в просторечие. Поэтому и Гермоген в «Риторике» говорит: «Общезвестное изложить по-новому, а новое — общим для всех языком». Ведь более общие доводы следует выражать необычными словами, чтобы низкая речь не вызывала к ним пренебрежения, а новые и необычные доводы следует выражать в более обычных словах, чтобы понятна была глубина мысли. Но ему присуще и остроумие. Остроумие его видно по одному письму. Дело в том, что после смерти Сократа он удалился из Афин и обосновался в Халкиде. Позднее афиняне приглашали его вернуться, он же, отказавшись ехать, написал им в ответ: «Афинянам, у которых груша зреет на груше и смоква на смокве<sup>20</sup>, я не позволю во второй раз оскорбить философию». Словами «смоква на смокве» он намекал на сикофантов, которых в Афинах было множество и которые не иссякали, непрерывно сменяя друг друга»<sup>21</sup>.

Сама эпистолярная форма литературы продолжает оставаться очень популярной в византийскую эпоху. Ее дидактическое направление представлено многочисленными посланиями отцов церкви, риторическое — вымышленными письмами Феофилакта Симокатты, который сочиняет свои «нравственные, сельские и любовные послания» от лица героев классической древности. Частное и деловое письмо претерпевает в Византии дальнейшую стилизацию. Рожденные эллинизмом простые штампы вежливости перерастают в пышные формулы, что связано с общей любовью Византии ко всякого рода титулам. Титул превращает живого человека в абстракцию, и если эллинистический грек адресовал письмо своему отцу, брату и т. д., то византиец обращается уже к «Вашему богохранимому отеческому Высочеству», к «Вашей братской светлости». Схематизм официального письма переходит затем в литературу Древней Руси, и в начальных словах знаменитой челобитной протопопа Аввакума: «От высочайшая устроенному десницы, благочестивому государю, царю-свету Алексею Михайловичу, всея Великия и Малыя и Белья России самодержцу, радоватися» пред нами оживает все та же формула античного эпистолярного штампа.

<sup>20</sup> «Груша зреет на груше. . .» — *Одиссея*, VII, 120—121.

<sup>21</sup> Перевод сделан по изд.: «*Commentaria in Aristotelem graeca*», Vol. 48. Berolini, 1900, S. 123.

# ПИСЬМА ПЛАТОНА И ИСОКРАТА



1

Филология XIX в. подвергла детальному анализу ту эпистолярную литературу, которая по сложившейся многовековой традиции приписывалась знаменитым людям древней Греции. Авторство большинства из них было отвергнуто, но совершенно особое место в этой текстологической работе заняли письма Платона и в несколько меньшей мере письма Исократ. На протяжении всего XIX в. длилась полемика, в ходе которой полное недоверие к этим письмам сменялось их полным признанием и которая привела в начале XX в. к компромиссному решению вопроса: было достигнуто согласие относительно подлинности некоторой части писем Платона и Исократ и признана подложность остальных.

Мы вправе теперь утверждать с достаточной уверенностью, что помимо подделок упомянутые сборники содержат древнейшие из известных нам образцов античной эпистолографии и в связи с этим изучение их приобретает специфические черты. Возникает необходимость рассматривать их топику, мотивы и композицию в соотношении как с другими жанрами IV в. до н. э., так и с биографией их авторов.

Платон (428—347 гг. до н. э.) и Исократ (436—339 гг. до н. э.) были почти ровесниками, и время их жизни от пелопоннесской войны до македонского вмешательства в дела Греции совпало с периодом кризиса политической и социальной структуры античного полиса. Поиском выхода из кризиса были попытки теоретически осмыслить опыт управления государством и дать какую-то новую схему общественного устройства, способную вывести полис из тупика. Платон и Исократ, оба в разных, несходных вариантах стремились найти такой выход. Философ и оратор, оба они не были профессиональными политиками, и оба отдали свой литературный талант пропаганде идеи общественного переустройства.

Платон в «Государстве» нарисовал идеальное общество, где правят философы и все обязанности между гражданами распределены по законам математической гармонии. Позднее, в «Законах», он придал своему проекту более реальную форму, включив

туда элементы конституций аристократической Спарты и древних Афин.

Исократ не поднимается до платоновских высот абстракции. Критикуя в «Ареопагитике» современное ему общество, он как бы зачеркивает весь ход истории, начавшийся с Перикла, и предлагает вернуться к строю до-Перикловских Афин.

При всем несходстве обоих проектов, их роднит ориентация на прошлый, уже пройденный исторический этап, будь то аристократическая Спарта или клисфеновские Афины. Сходны были и те методы, к которым прибегали авторы этих проектов для их осуществления. Методов было два: воспитание молодежи и призывы к руководителям государств.

Воспитанию молодежи Платон и Исократ отдали много внимания и сил — платоновская «Академия» и исократовская школа ораторского искусства были фактически первыми регулярными школами высшего образования, открывшимися в Афинах почти одновременно в начале IV в. И та, и другая школа готовили граждан к политической карьере, и через них Платон и Исократ надеялись осуществить свою мечту. Система обучения у Платона была рассчитана на многие годы (Аристотель учился у него двадцать лет), в основе ее лежала математика, и входящего в Академию встречала надпись: «Не знакомый с геометрией пусть сюда не входит!». В школе Исократа курс проходил за 3—4 года; методом обучения в ней было мастерство ораторской речи — искусство словесной отделки и исследование важных с точки зрения учителя политических вопросов. Обе школы пользовались огромной популярностью и во многом определили дальнейшее развитие античной культуры. Плодом платоновских занятий явились его литературные диалоги с их ярким и красочным рисунком бытовых ситуаций и замечательным искусством художественной композиции. В исократовской школе оформилась риторика — наука о словесном выражении, систематизировавшая приемы ораторской речи и оказавшая столь большое влияние на последующий ход литературного процесса.

Обращение к полновластным вождям могущественных государств также привлекало надежды и Платона и Исократа. Платон обращал свои взоры к тираннам Сицилии, Исократ возлагал надежды на Филиппа Македонского.

Сицилия, заселенная греческими колонистами, была в V—IV вв. до н. э. крупной морской державой. Благодаря борьбе с Карфагеном, претендовавшим на северную часть острова, в ней прочно держался режим военной тираннии. К первой половине IV в. относится правление двух тираннов: Дионисия I (Старшего) (406—367 гг. до н. э.) и его сына, Дионисия II (Младшего) (367—343 гг. до н. э.), наследовавшего отцу. Тиранния не в силах была заглушить борьбу партий, и Дионисий II дважды терял власть. В первый раз восстание было поднято его родственником

Дионом. Брат жены Дионисия I и муж его дочери, Дион пользовался большим влиянием при дворе. Опасаясь за свою власть, Дионисий II выслал Диона из Сицилии. После нескольких лет вынужденного пребывания в Греции, где он был близок к кружку платоновской Академии, Дион в 357 г. до н. э. собрал войско наемников и выступил против Дионисия II. Ему удалось захватить Сиракузы, но не удалось надолго удержать власть: в 353 г. он был убит. Смерть Диона не прекратила борьбы партий в Сиракузах. Лишь в 346 г. к власти вернулся Дионисий II, но ненадолго: вскоре после этого он был низложен, теперь уже окончательно, коринфянином Тимолеоном.

Платон мечтал найти в лице сиракузских тираннов свой идеал правителя-философа и с этой целью трижды путешествовал в Сицилию. Первая поездка относится к началу IV в., ко времени правления Дионисия I. Попытка сближения философа с тиранном окончилась полной неудачей: Дионисий I приказал ему выехать из Сицилии и дал тайный наказ корабельщикам убить его по дороге или продать в рабство. Платон был продан на враждебную тогда Афинам Эгину и затем выкуплен из рабства друзьями (389 г. до н. э.). После смерти Дионисия I Платон еще два раза ездил в Сиракузы ко двору Дионисия II (366 г. и 360 г.), но так и не смог склонить тиранна к осуществлению своих политических проектов.

Подобную же опору для своих замыслов искал и Исократ. Он видел путь для спасения Греции в общегреческом походе на восток, который бы объединил греков и дал в их руки новые богатства и новые земли для колонистов. Чтобы выполнить это предприятие, нужна была организующая рука сильной личности, и Исократ попеременно обращал свои взоры к тем, кто стоял во главе самых могущественных государств того времени — Сицилии, Спарты, Македонии. Но призывы афинского оратора не встретили сочувствия, и план антиперсидского похода не был осуществлен при его жизни.

Поиски выхода из политического кризиса нашли отражение в обоих эпистолярных сборниках Платона и Исократа. Мы читаем в них и послания Исократа к царям, и рассказ о поездках Платона в Сиракузы, и его план нового законодательства, и описание отдельных эпизодов партийной борьбы в Сицилии.

## 2

Сборник платоновских писем состоит из тринадцати произведений. Почти все они адресованы политическим деятелям (Дионисию II, тиранну Сиракуз — письма I, II, III, XIII; Диону и его сообщникам — письма IV, VII, VIII, X; знаменитому математику пифагорейцу Архиту, возглавлявшему аристократическое правительство в Таренте — письма IX, XII; Гермия, тиранну

Атарней в Малой Азии — письмо VI; Пердикке, македонскому царю (365—360 гг. до н. э.), брату Филиппа, — письмо V. Содержание их связано главным образом с политическими событиями Сицилии первой половины IV в. до н. э. Среди этих писем встречаются и короткие дружеские записки (X, XII), и рекомендации (VI), и открытые послания, рассчитанные на широкую аудиторию (IV, VII, VIII).

Во все известные нам античные сборники платоновских сочинений письма входили наряду с диалогами<sup>1</sup>. Вместе с тем первое упоминание о платоновских письмах встречается лишь у Цицерона в «Тускуланских беседах» (V, 35, 100), т. е. спустя почти четыре столетия после их предполагаемого написания. Лишь у писателей поздней античности ссылка на письма Платона и цитаты из них становятся обычным явлением<sup>2</sup>.

До XVIII в. высказывались сомнения лишь относительно подлинности писем XII и XIII, но в 1783 г. Майнер отверг весь сборник целиком, и с тех пор на протяжении всего XIX в. шла борьба двух точек зрения: Аст, Карстен и вслед за ними Целлер отвергают авторство Платона, историки Грот и Эд. Мейер признают его. Отрицание подлинности писем обосновывается чисто субъективным путем: Аст не допускает мысли о честолюбии или ханжестве философа<sup>3</sup>, Карстен находит объем письма VII не соответствующим требованию критического момента, о котором там идет речь<sup>4</sup>. Рассматривая отдельные выражения писем, Карстен делает вывод о сильном налете риторики в них и об отсутствии платоновского изящества речи. Сходство писем с диалогами расценивается как доказательство их подложности. Отрицается сама возможность наличия сборника писем IV в. до н. э. ввиду того, что эпистолярный жанр получил распространение лишь в период римского владычества, когда стали сочиняться вымышленные письма знаменитых людей (Аст). Против этого аргумента в середине XIX в. выступил историк Грот<sup>5</sup>, предположивший вероятную сохранность платоновских рукописей в Академии и музее Аристотеля. В то же время намечается дифференцированный подход к платоновским письмам. Штальбаум, Р. Германи и Юбервег признают подлинность самого важного документа всего сборника — письма VII. В конце XIX в. стилометрическим анализом (статистикой употребления) вскрывается близость языка писем

<sup>1</sup> Диоген Лаэртский, III, 60—62.

<sup>2</sup> Напр., у Плутарха (*De audiendis poetis*, 36 С — упоминается письмо III; *De adulatore et amico*, 69 F — письмо IV; *De vitioso pudore*, 533 С — письмо XIII), у Прокла (*Commentarius in Platonis Timaeum*, 92 С — письмо VII). Более подробно об этом см.: G. Morrow. *Studies in the Platonic Epistles*. Urbana, 1935, p. 3, 4.

<sup>3</sup> Fr. Ast. *Platon's Leben und Schriften*. Leipzig, 1816.

<sup>4</sup> H. Karsten. *Commentatio critica de Platonis quae feruntur epistolis, praecipue tertio, septima, octava*. Berlin, 1864.

<sup>5</sup> G. Grote. *Plato and the other companions of Socrates*, v. I, 2 ed. London, 1867.

к языку поздних диалогов (Риттер). Делается попытка датирования писем (Ридер). И все же стилистические исследования конца XIX—начала XX в. не решают окончательно вопроса о подлинности, хотя и способствуют выяснению приблизительного времени их возможного составления (вероятными авторами признаются ученики Платона) и делают необходимым дифференцированный подход к каждому письму в отдельности<sup>6</sup>. Наибольшим доверием критиков пользуются письма VII, VIII, а также III (Риттер), VI (Виламовиц). Устанавливается текстовая зависимость писем друг от друга и от диалогов. Среди тринадцати писем выделяется основное, подлинное ядро (письмо VII), из материала которого позднейшими подражателями кроются письма II—IV<sup>7</sup>.

В 1930-е годы в изучении языка писем делается шаг вперед по пути анализа художественных приемов в письмах. Выдвигаются новые критерии подлинности. Интересная попытка сопоставления характера сравнений в письмах и диалогах проводится в работе Хэлла<sup>8</sup>. Признав неперенной чертой платоновских сравнений их обусловленность общей ситуацией контекста, Хэлл соотносит с этим критерием те образные выражения, которые встречаются в сборнике писем, и приходит к выводу о подложности всех писем, кроме VI, VII, VIII. Исследованию исторической достоверности сообщаемых в письмах сведений о сицилийских событиях середины IV в. до н. э. посвящена книга Морроу<sup>9</sup>. Морроу устанавливает в известных нам исторических источниках следы двух традиций, из которых одна, близкая традиции платоновских писем, ведет к биографиям Диона у Непота и Плутарха, другая — к истории Диодора Сицилийского. Общим источником Непота и Плутарха Морроу признает Тимея, знакомого с письмами Платона.

В настоящее время подлинность писем VII, VIII (реже VI), как правило, не подвергается сомнению.

Остальные письма сборника приписываются кругу слушателей Академии и пифагорейцев.

В этих псевдоплатоновских письмах отчетливо выделяются три группы:

1. Письма автобиографического характера (I, II, III), близкие по содержанию к подлинным письмам. Из писем VII, VIII в них заимствуется описание связанных с Сиракузами событий жизни Платона и при этом исключается их основное политическое содержание — план государственной реформы. Так, в основу письма I положено свидетельство письма VII об изгнании Платона (или

<sup>6</sup> Подробный обзор критической литературы о платоновских письмах вплоть до начала XX в. — см.: R. Hackforth. *The authorship of the Platonic epistles*. Manchester, 1913.

<sup>7</sup> U. Wilamowitz-Moellendorf. *Platon*, Bd. II. Berlin, 1919, S. 280.

<sup>8</sup> G. Hell. *Untersuchungen und Beobachtungen zu den platonischen Briefen*. Berlin, 1933.

<sup>9</sup> G. Morrow. *Указ. соч.*

Диона) из Сиракуз и об отсутствии верных друзей у сиракузского тиранна, но политический смысл упоминания этого факта в письме VII здесь игнорируется и заменяется столь обычным для эллинистической философии противопоставлением дружбы богатству.

«Хочу тебе напомнить, что и большинство других трагиков, когда изображают, как тиранн умирает от чьей-нибудь руки, заставляя его восклицать: «один, без друзей, я гибну, несчастный», но никто не показал, чтобы он погиб от недостатка денег» (I, 309 D — 310 A).

2. Письма IV—VI, IX—XII представляют собой ряд кратких записок с рассуждениями на общие темы.

3. Письмо XIII, стоящее особняком, больше по объему, чем письма IV—VI, IX—XII, и отличается от них сугубо бытовым содержанием. В нем идет речь о покупке статуи, о выдаче замуж племянниц автора и т. д. Письмо близко к целому ряду фиктивных писем других эпистолярных сборников (ср. «Письма сократиков», 6 и 21):

«... Из тех предметов, которые ты наказывал мне выслать для тебя, я достал Аполлона, которого везет тебе Лептин, дело рук прекрасного молодого художника по имени Леохар. У него была еще одна вещь, очень изящная, как мне казалось. Я купил ее тоже, желая подарить твоей жене за то, что она заботилась обо мне и когда я был здоров и когда болел, показывая себя достойной и меня и тебя. Так что отдай ей это, если не рассудишь как-нибудь иначе. Посылаю тебе и двенадцать кружек сладкого вина для детей, так же и две кружки меда. К сбору фиг мы уже не успели, а собранные миртовые ягоды сгнили, в другой раз будем более предусмотрительны. О том, как обстоит дело с растениями, тебе расскажет Лептин.

Деньги на эти расходы и на выплату некоторых налогов городу я взял у Лептина, сказав то, что мне казалось самым удобным и истинным: что моих денег потрачено на Левкадское судно около шестнадцати мин; я взял эту сумму, использовал ее и отослал вам эти вещи. Теперь же выслушай, как обстоит дело и с твоими деньгами в Афинах, и с мойми. Я, как говорил тебе тогда, трачу твои деньги так же, как и деньги остальных моих друзей, т. е. с самой большой бережливостью, расходуя лишь столько, сколько кажется необходимым, справедливым и удобным для меня и для того, от кого я их беру. Со мною же случилось сейчас вот что.

В ту пору, когда ты приказывал, а я не соглашался возложить на себя венок, у меня умерли племянницы и на моем попечении остались их четыре дочери. Из них одна теперь невеста, дружкой восемь лет, маленькой около трех, последней же нет еще года. Их должны обеспечить приданым я и мои близкие, пока я жив. Когда меня не станет, эта забота отпадет. Если их отцы окажутся богаче меня, то я не должен заботиться о приданом. Но сейчас



я более обеспечен, чем они; и матерей их выдавал замуж я, пользуясь помощью Диона и других...» (XIII, 361 А—Е).

Оставляя в стороне эти позднейшие подделки, переходим к основному произведению платоновского эпистолярного сборника — к письму VII.

### 3

В сборнике платоновских писем письмо VII занимает совершенно особое место как по своему объему (оно совпадает по длине с целой книгой «Государства»), так и по характеру содержания. Это один из первых известных нам памятников античной автобиографии. Он построен по строго выдержанной композиционной схеме и дает четкий и тенденциозный рисунок автопортрета. В нем охвачены события более, чем за полувековье — от 404 г. до 353 г.; описана тиранния тридцати и путешествия Платона в Сицилию; показана обстановка заговоров и военных мятежей.

Темой письма VII служит платоновский план политической реформы, поводом его написания — обращение сторонников Диона к Платону вскоре после убийства их вождя. Тема раскрыта на материале двух биографий — самого автора и Диона.

Письмо написано в 353 г. до н. э., в напряженное время борьбы партий в Сиракузах вскоре после гибели Диона, к сторонникам которого оно и обращено в форме ответа на их призыв: «Вы писали мне, что ваш образ мыслей таков же, каков был у Диона, и вы звали меня стать на деле и на словах вашим соучастником. Я, со своей стороны, согласен на это, если у вас, действительно, одинаковые с Дионом мнения и желания, если же это не так, то я по крайней мере буду постоянно давать вам советы» (323 D — 324 A).

Упомянутый в этой первой фразе «образ мыслей Диона» становится лейтмотивом всего письма. В это понятие включается платоновская теория государства и планы ее претворения в жизнь, и оно делается стержнем, вокруг которого располагаются и автобиографический рассказ, и непосредственные обращения к адресатам письма. Прямой ответ на приглашение заменяется в письме новой, непрошенной темой — разъяснением программы Диона: «А какими были его образ мыслей и стремления, я мог бы с точным знанием дела сказать почти наверно» (324 A).

Этим кратким замечанием автор незаметно вводит тему своего личного «я», которая используется потом для построения двух аналогий, позволяющих из прошлого проецировать будущее, соединить изложение программы Диона с надеждой на ее реализацию в будущем. Три основных, выделяемых здесь момента (историческая обстановка, проект Диона и рекомендация его), связь прошлого и настоящего становятся сквозным мотивом всего письма: «Ведь когда я первый раз прибыл в Сиракузы сорока лет

от роду, Дион был в том же возрасте, как сейчас Гиппарин<sup>10</sup>. И Дион до конца остался верен взгляду, которого придерживался тогда. Сиракузяне, полагал он, должны быть свободны и жить согласно самым лучшим законам; поэтому не удивительно, если бы и Гиппарину кто-либо из богов внушил подобный же взгляд на государственное управление. А о том, как возник этот образ мыслей, не мешает послушать и молодому и старому; вот я и попытаюсь раскрыть его перед вами, начиная с начала; теперь это как раз своевременно» (324 В).

Письмо построено с помощью двух основных композиционных приемов. Первый прием — это словесные повторы, т. е. употребление одинаковых выражений в разных контекстах, образующие между ними ассоциативные связи. Все письмо покрыто густой сетью таких повторов<sup>11</sup>, они членят его на самостоятельные отрезки. И они же объединяют его в единое целое. Второй прием — это однотипность самой структуры изображения описываемых в письме ситуаций. Ход событий предстает в виде сменяющихся друг друга эпизодов, построенных по весьма сходной схеме. В основе этой схемы лежит движение событий от какого-то импульса, замысла к окончательному решению, причем решение приходит лишь после столкновения с реальной действительностью и может не совпадать с замыслом.

В первой, вводной части письма намечена тема возникновения образа мыслей Диона. Этим определяется ввод автобиографического повествования и выбор тех фактов, которые освещены в нем. Платон ни слова не говорит здесь ни о годах дружбы с Сократом, ни о многолетних трудах в Академии, и лишь тиранния тридцати и поездки в Сицилию попадают в его поле зрения. Из своей жизни он берет лишь то, что связано с его программой идеального государства, и располагает события так, что внешнее членение эпизодов оказывается соотношенным с постепенным развитием политических взглядов автора.

Первый этап автобиографии охватывает период юности Платона до гибели Сократа. Он показан как процесс постепенного отказа от стремлений к политической карьере. «Реминисценции Платона, — замечает по поводу этого отрывка Хелл, — позволяют объединить переживания платоновской юности в одно осмысленное целое: дважды за короткий срок падает правительство, дважды пропадает возможность заняться политическими делами, и оба раза столкновение между правящей партией и фигурой уважаемого учителя становится доказательством полной несостоятельности людей и событий, которая делает бесцельной какую-либо политическую деятельность»<sup>12</sup>. Как плод этих наблюдений над действительностью рождается политический проект самого Платона —

<sup>10</sup> Гиппарин — сын Диона.

<sup>11</sup> Подробный анализ текста письма VII — см.: G. Hell. Указ. соч., стр. 49—60.

<sup>12</sup> G. Hell. Указ. соч., стр. 52.

теория о необходимости сосредоточить власть в руках философов или сделать правителей философами:

(324 В) «Когда-то, юношей, я пережил то же, что и большинство людей: я думал, едва лишь стану самостоятельным, обратиться к общественным делам. (324 С) И мне представился случай для государственной деятельности. Дело в том, что тогдашний государственный строй у многих вызывал недовольство, и это привело к перевороту, переворот же этот возглавили 51 человек: 11 человек в городе и 10 в Пирее занялись делами, касающимися агоры и городского управления, а 30 человек стали над всем самовластными начальниками (324 D). Из них некоторые оказались моими родственниками и знакомыми и, конечно, стали сразу приглашать меня примкнуть к ним, словно это само собой разумелось.

И я испытал то, что обычно испытывают в юности. Я думал, что они, управляя государством, отвлекут его от неправой жизни и поведут путем справедливости, и я зорко следил за тем, что они делают. Но я увидел, что при этих людях вскоре даже предшествующее правление показалось золотым веком. В довершение всего, они и друга моего давнишнего, Сократа (324 E), которого я не постыдился бы назвать самым справедливым человеком того времени, посылали, чтобы он вместе с прочими силой вел (325 A) на казнь кого-то из граждан, они и Сократа желали сделать соучастником своих действий, не спрашивая, хочет он того или нет; он же не повиновался, и предпочел лучше подвергнуть риску свою жизнь, чем стать сообщником их нечестивых дел. Тогда-то, видя все это и другое немалое, я вознегодовал и стал держаться в стороне от царившего в ту пору зла.

В скором времени пало правительство тридцати и все тогдашнее государственное устройство. Снова, хотя и очень медленно (325 В), меня стало увлекать желание заняться общественными и государственными делами. Правда, и в эти смутные времена происходило много такого, от чего можно прийти в негодование, не удивительно ведь, что при некоторых переворотах учащаются расправы над отдельными врагами. Хотя и очень снисходительно вели себя те, кто вернулись тогда из изгнания, однако какими-то судьбами некие влиятельные лица привлекли нашего друга Сократа к суду, возведя на него самое бесчестное обвинение (325 С), менее всего подходившее к Сократу. Как какого-то нечестивца, привели его на суд, приговорили и убили. Убили того, кто отказался некогда участвовать в нечестивом аресте близкого им человека, когда сами они были изгнаны и бедствовали! Видя это, видя и людей, занятых политикой, и законы, и нравы, я чем больше наблюдал и становился старше, тем все более трудным представлял себе правильное управление государством; (325 D) ведь без друзей и верных товарищей невозможно братья за дело, а их нелегко было найти среди граждан, так как наш город уже не руководствовался обычаями и порядками наших отцов. А новых

приверженцев нельзя было найти без труда; написанное в законах и закрепленное обычаем искоренялось с такой удивительной быстротой, что я (325 E), рвавшийся сначала к политической деятельности, глядя на это и видя повсюду во всем разруху, в конце концов потерял голову и, не переставая следить, не повернется ли дело и, конечно, весь государственный строй к лучшему, (326 A) стал, однако, выжидать благоприятных времен для деятельности. В конце концов я решил, что их законы разве что какой-нибудь удивительный случай может исправить, мне же оставалось только восхвалять истинную философию. Я утверждал, что с ее помощью можно постичь и то, что справедливо в политике, и все то, что касается частной жизни. Я утверждал, что, конечно, человеческий род не избавится от бедствий (326 B), пока либо к власти не придет род истинных и правильных философов, либо властители в государствах по какому-то божественному предопределению не станут настоящими философами».

В этом отрывке намечено несколько узловых моментов: Платон думал о политической карьере, увидел царящую несправедливость, понял, что надо ждать благоприятного времени и счастливого случая и пришел, наконец, к мысли, что все режимы управления плохи и дело исправится лишь тогда, когда к власти придут философы или правители станут мудрецами. С этой общей картиной и соотнесено дальнейшее содержание письма. Мысль о политической власти философов, как итог первого периода, служит отправной точкой для нового этапа автобиографии.

С этой мыслью Платон отправляется в Сицилию, и наблюдение над жизнью сицилийцев приводит его к новым выводам:

(326 B) «С такими мыслями я прибыл в Италию и Сицилию, во время первого моего путешествия туда. Там мне нисколько не понравилась эта жизнь, слышущая счастливой, заполненная италийскими и сиракузскими трапезами, когда приходится жить, набивая себе желудок два раза в день, ночью никогда не спать одному и заниматься всем, что связано с этим образом жизни (326 C). Никто из людей, живущих под небом, не мог бы стать рассудительным, придерживаясь с юности таких обычаев: столь чудодейственной природы не будет ни у кого, и ни у кого даже не возникнет намерения стать хотя бы благоразумным, не говоря уже обо всех других добродетелях. Ни в каком государстве, ни при каких законах не могло бы сохраняться спокойствие, когда граждане считают нужным предаваться мотовству и все дела ставить ни во что, кроме пиров, попоек и любовных забав (325 D). В таких государствах не могут не сменять постоянно друг друга тирания, олигархия, демократия, а о справедливом и равноправном государственном строе их правители не могут даже слышать упоминания. Такие мысли прибавились к моим прежним, когда я прибыл в Сиракузы, — не случайно, пожалуй; ведь (326 C) кто-то из богов задумал тогда положить начало тому, что про-

изошло теперь с Дионом и Сиракузами; боюсь, что не только тому, если вы теперь не послушаетесь моего вторичного совета. Итак, значит, я говорю, что тогдашнее мое прибытие в Сиракузы положило начало всему: (327 А) в то время я сблизился с молодым Дионом, поучал его на словах тому, что мне казалось для людей самым лучшим, и советовал ему осуществлять это на деле, я сам не знал, что этим я незаметно для самого себя каким-то образом способствовал будущему свержению тирании».

В последних словах приведенного отрывка автобиографическая тема получает дополнительное, апологетическое звучание<sup>13</sup>. Платон говорит, что не знал, куда приведут события, и этим как бы оправдывает себя.

Дальнейшее изображение текстуально соотнесено с предыдущим и рисует картину, противоположную прежней. Вводится фигура Диона, и она как бы зачеркивает все то отрицательное, что было показано до этого: Дион чуждается распутства сицилийцев, он предан философии, он после смерти Дионисия I пользуется влиянием при дворе Дионисия II. Платон в Афинах думал заняться политикой, но видел, что все государства управляются плохо и что надо ждать *благоприятного* времени. Дион видит свои возможности и думает, что настало время, *благоприятное* для действий. Эта позиция служит толчком для нового события в жизни Платона — для его второго приезда в Сицилию, на этот раз к Дионисию II. Импульсом к этой поездке служат планы Диона, его приглашение. Платон немного колеблется, но побеждает надежда на то, что удастся склонить Дионисия II на свою сторону и осуществить давнишний замысел:

(327 А) «Дион с большой легкостью усваивал как все прочее учение, так и мои слова тогда. Такого напряженного интереса, как у него, я не наблюдал ни у кого из юношей, с которыми мне приходилось иметь дело (327 В). Предстоящую жизнь свою он хотел прожить не так, как большинство италийцев и сиракузян; доблесть он возлюбил больше, чем наслаждение и всякую распущенность. Поэтому для всех, кто жил по законам тирании, он был ненавистен вплоть до смерти Дионисия. После этого он решил, что образ мыслей, воспринятый им из правильных учений, (327 С) может стать не только его достоянием; он видел и замечал его и у других, не у многих, но у некоторых, и полагал, что среди этих некоторых легко мог бы оказаться и Дионисий, если бы вступились боги; и тогда и для него и для прочих сицилийцев непременно настала бы блаженная жизнь. Сверх того он решил, что для этого в Сиракузы во что бы то ни стало и возможно скорее должен прибыть я (327 D): в его памяти живо было наше с ним общение, столь быстро приведшее его к идеалу самой благородной жизни. А если бы его стараниями теперь то же сверши-

<sup>13</sup> U. Wilamowitz-Moellendorf. Указ. соч., стр. 282—300.

лось и с Дионисием, то он очень надеялся без казней, убийств и случившихся теперь несчастий установить счастливую и истинную жизнь во всей стране. Правильно обдумав это, Дион убедил Дионисия послать за мной, и сам прислал мне просьбу приехать во что бы то ни стало и как можно скорее, пока никому не удалось отвлечь Дионисия от пути к самой лучшей жизни. Слова его просьбы были следующие, правда, их пересказ займет много времени. «Каких еще, — писал он, — ждать нам более благоприятных времен, чем наступили сейчас по какой-то божественной случайности?» (328 А). Он рассказывал об Итальянской и Сицилийской державе, о своем влиянии в ней, о том, что Дионисий молод и как будто усиленно тянется к философии и учению, а так же о том, что его племянников и домашних легко можно увлечь и учением и жизнью, о которых я всегда толкую, и что они вполне могут привлечь на свою сторону Дионисия; таким образом, говорил он, если осуществима надежда на то, что одни и те же лица будут одновременно философами и властителями великих государств, то это произойдет именно теперь. (328 В) Таковы были его наказы, и много другого было написано в том же роде. Я же, с одной стороны, боялся за юношей — ведь часто их быстро увлекают к себе противоречивые желания — но, с другой стороны, мне известен был от природы серьезный характер Диона и его уже не юный возраст. Поэтому, когда я размышлял и сомневался, соглашаться мне и ехать или нет, то перевесило все же сознание, что если уж братья когда-нибудь за осуществление своих мыслей о законах и государственном устройстве, (328 С) то надо братья именно сейчас; ведь достаточно мне убедить только одного, чтобы исполнился весь благой замысел.

С таким мнением и такой решимостью я покинул родину — вовсе не из тех побуждений, которые придумывали некоторые, но главным образом стыдась самого себя, стыдась показаться себе самому пустословом, не желающим братья за дело, стыдась предать Диона, моего гостеприимца и друга (328 D) во время грозящей ему немалой опасности».

В письме VII описаны две поездки Платона в Сиракузы при тиране Дионисии II и обе изображены по одной схеме: приезд, пребывание, отъезд. Картины приезда и отъезда разворачиваются в своего рода конфликтные ситуации, где сталкиваются противоборствующие стороны. Поводом для приезда служат письма и приглашения, они наталкиваются на колебание, нежелание или отказ ехать; решающий довод, склоняющий автора к поездке, облекается в форму его внутренней речи. Происходит как бы диалог автора с самим собой, где в роли ответа выступает согласие на приглашение. Во время первой поездки такая вымышленная речь инсценируется как бы от лица Диона.

Приведенное выше описание продолжается в следующих выражениях:

(328 D) «Что, если вдруг с ним что случится? что, если он, изверженный Дионисием и прочими врагами как изгнанник придет к нам и обратится с речью: «О, Платон, я прихожу к тебе как беглец, и не гоплиты, не кони нужны мне для отпора врагам, а слова убеждения, которыми ты, я знаю, лучше всех умеешь увлекать юношей к добру и справедливости, устанавливая между ними дружбу и товарищество (328 E). Не получив их от тебя, я покинул Сиракузы и прибыл сюда; и моя участь — это еще малый позор для тебя. Философия же, которую ты всегда прославляешь и находишь обесчещенной у прочих людей, разве она сейчас не предана вместе со мной твоим поступком? ...» (329 A). Какой мог быть у меня приличный ответ на эти слова? Не было его. И вот я отправился, наконец, исполняя долг, как чаще всего поступает человек, и ради этого я оставил свои занятия».

Пребывание в Сиракузах описано очень скупое: там все полно слухами о стремлении Диона захватить власть; через четыре месяца Дионисий II изгоняет Диона на утлой лодчонке, и все друзья его повергаются в страх. Жизнь Платона в Сиракузах превращается с этого момента в постоянную борьбу желания уехать и обстоятельств, мешающих этому. В рассказ входят отдельные детали быта: Дионисий, чтобы не допустить отъезд Платона, поселяет его в акрополе, откуда тот не может свободно сноситься ни с моряками, ни с купцами (329 E). Этим создается видимость привязанности Дионисия II к Платону. Описание первого путешествия к Дионисию II заканчивается антитетическим противопоставлением: «Я все переносил, держась первоначальной мысли, с которой прибыл: не придет ли к нему увлечение философской жизнью; но он оказался сильнее в своем противоборном стремлении» (330 B).

Эта антитеза позволяет автору прервать на время хронологическое изложение событий своей жизни и переключить внимание читателя на тему, намеченную в начале письма, — на замысел Диона и совет Платона его приверженцам. В раскрытии этой темы снова повторяется противопоставление планов и намерений Платона действиям Дионисия II.

Вторая поездка ко двору Дионисия II показана более подробно и в ней больше драматизма ситуаций. Приглашение вернуться в Сиракузы наталкивается на прямой отказ Платона. Этот конфликт преодолевается новыми просьбами сицилийских друзей, письмом Дионисия II и внутренней думой самого философа:

(338 B) «Когда водворился мир, он (Дионисий) стал посылать за мной. Дион он просил повременить еще год, меня же всячески торопил с приездом. Дион в свою очередь тоже понуждал и просил меня плыть. В самом деле, из Сицилии шла молва, будто Дионисий снова охвачен необычайным влечением к философии; поэтому Дион настаивал, чтобы мы не отвергали приглашения. (338 C) Я знал, что отношение юношей к философии часто бывает

таким, но все-таки считал для себя тогда более безопасным оставить Диона и Дионисия без внимания. Я вызвал негодование обоих своим ответом, что я уже стар и что к тому же обещания, дававшиеся Дионисием раньше, так и остались неисполненными. После этого, кажется, и Архит приехал к Дионисию; ведь я перед самым отъездом помирил Архита и тарентийцев с Дионисием и после этого уже отплыл. (338 D) Были в Сиракузах и люди, что-то воспринявшие от Диона, а от них и другие успели наслушаться кое-чего о философии: вот они, думается мне, о чем-нибудь таком пробовали беседовать с Дионисием, полагая будто ему уже известно все, о чем размышлял я. А Дионисий и вообще не лишен способности к учению, да и честолюбив необычайно. Ему, пожалуй, нравилось то, о чем шла речь, да и стыдно было показать, (338 E), что не усвоил он ничего, пока я у него жил, поэтому и желание выслушать меня более обстоятельно влекло его ко мне, и честолюбие не давало покоя. А почему он не слушал меня в мой предыдущий приезд, я уже рассказал выше. Так вот, когда я благополучно добрался домой и отказался от его второго приглашения, как я сейчас сказал, Дионисий, думается мне, почувствовал себя во всех отношениях задетым: он боялся, что подумают, будто я стал презирать его, познакомившись с его природными способностями и образом жизни, (339 A) и из неприязни к нему не желаю ехать. Я буду говорить правду, хотя, быть может, кто-нибудь, узнав, как было дело, станет презирать мою философию, а тиранна сочтет разумным. Дело в том, что Дионисий в третий раз послал за мной триеру, чтобы облегчить мне путь, послал Архимеда, которого, как он полагал, я больше всех ценю в Сиракузах (339 B) и который был близок к Архиту, послал и еще других знакомых сицилийцев. Все они твердили одно и то же — будто Дионисий необыкновенно увлечен философией. Зная и мое отношение к Диону, и желание Диона, чтобы я поехал, Дионисий сам прислал мне длинное письмо. Письмо, где обо всем этом говорилось, начиналось примерно так: «Дионисий Платону», (339 C) затем обычные слова и сразу начало: «Если ты, вняв нашим убеждениям, прибудешь теперь в Сиракузы, то, прежде всего, дело Диона пойдет так, как тебе самому хочется: не сомневаюсь, что твои требования будут умеренны, и я пойду на уступки, в противном же случае ничто из того, что касается Диона, его дел и лично его, не устроится по твоему усмотрению». Таковы были его слова, об остальном говорить было бы слишком долго и не ко времени. (339 D) Приходили и другие письма от Архита и тарентийцев. Там восхвалялась любовь Дионисия к мудрости и были предупреждения, что если я не приеду теперь, то вконец расстрою налаженную мною между ними дружбу, которая немалую роль играла в государственных делах. Вот каким было это приглашение. Сицилийцы и италийцы как бы влекли меня к себе, а из Афин меня прямо-таки молили ехать. И опять



передо мной встал тот же довод: нельзя предавать Диона с его тарентийскими друзьями и товарищами; меня и самого не удивляло то, что способный молодой человек, наслушавшись о высоких предметах, дошел до любви к самой лучшей жизни. Нужно, стало быть, думал я, выяснить все дело начистоту, не предавать его ни в коем случае и не навлекать на себя заслуженных укоризн, (340 А) если действительность такова, как ее изобразили. И вот я отправляюсь в путь, прикрывшись этим рассуждением, испытываю немало страха из-за не совсем благоприятных знамений».

Пребывание Платона в Сиракузах и на этот раз ни к чему не приводит и служит лишь полем противоречий между философом и тиранном. Расхождение, наметившееся во время предыдущей поездки, делается гораздо глубже: оно касается уже не только поведения тиранна, но и самой философии. Платон упоминает какую-то книжку, написанную Дионисием II, и весь свой рассказ о жизни в Сиракузах сводит к критике этой вещи.

Чтобы показать, что Дионисию недоступно понимание умопостигаемой философии, автор письма подробно (344 А — 344 С) разъясняет свою теорию познания и затем выносит приговор Дионисию, называя написанное им «безобразным и неприличным» и объясняя его поведение «постыдным честолюбием». Как доказательство непричастности тиранна к платоновской философии выступает отрицательная оценка его отношений к самому Платону: «Если же и после исследования и изучения он нашел, что то, о чем шла тогда речь, должно входить в обучение свободной души, то разве не вызывает возмущения человек, столь ловко обесчестивший того, кто руководит и владеет этим» (345 С).

Таким образом, основной довод, склонивший Платона к поездке в Сиракузы (увлечение Дионисия философией), оказывается несостоятельным. И тут опять повторяется ситуация, уже знакомая читателю по описанию второй поездки в Сиракузы (329—330 С):

- а) желание Платона уехать из Сиракуз,
- б) препятствие со стороны Дионисия,
- в) откладывание поездки.

Однако если в первом описании раскрываются только два последних пункта, а о желании Платона уехать из Сиракуз мы догадываемся по тому, что Дионисий просит его остаться и поселяет в своем саду, чтобы помешать отъезду, то теперь та же ситуация изображается значительно полнее и драматичнее. Стремлению уехать противостоят субъективные (уговоры Дионисия) и объективные (отсутствие корабля) силы, создается конфликт, разрешение которого Платон ищет и находит в себе, в своем логическом рассуждении:

(345 D) «Эти события уже успели совершиться в то время, и когда дела пошли таким порядком, и я успел пристально разглядеть истинное отношение Дионисия к философии, тут было чем

возмущаться, хотелось мне того или нет. Тогда уже стояло лето, и отправлялись в плавание корабли. Мне пришла в голову мысль, что на Дионисия следует пенять не больше, чем на самого себя (345 E) и на тех, кто принудил меня в третий раз войти в пролив Скиллы, чтобы

Снова обратной дорогой меня на Харибду помчал он<sup>14</sup>,

и что нужно прямо сказать Дионисию, что я не могу оставаться здесь, когда Диону нанесено такое оскорбление. Он же принял меня уговаривать и просил остаться: а он понимал, что не в его интересах, чтобы я так скоро сам отправился разглашать подобные вещи. Смягчить меня не удавалось, тогда он заявил, что сам снарядит мой отъезд. (346 A) Дело в том, что я собирался отплыть на грузовом судне, готовый в своем раздражении перенести что угодно, если бы мне стали мешать, так как ясно было, что я не обидчик, а обиженный. Он же, видя что я не остаюсь, придумал вот какую штуку, чтобы задержать тогда мой отъезд. Придя ко мне на следующий день, он заводит речь, не вызывающую подозрений. «Пусть Дион и его имущество, (346 B) сказал он, перестанут быть причиной наших с тобой разногласий. Ради тебя, продолжал он, я сделаю для Диона вот что: позволю ему забрать имущество и жить в Пелопоннесе не как изгнаннику, а как лицу, которому и сюда можно переселиться, как только мы это решим сообща с ним и с вами, друзьями. И это при условии, что он не злоумышляет против меня. Поручителями в этом делается ты, твои близкие и те, кто у Диона остались здесь. Для вас же он пусть будет залогом безопасности. Те деньги, которые он возьмет, пусть хранятся в Пелопоннесе в Афинах (346 C) у кого вам угодно, проценты пусть получает Дион, но пусть он не имеет права без вас забрать весь капитал. Не очень-то я верю ему, что имея в своем распоряжении такие немалые суммы — он не посягнет на мои права, тебе и твоим друзьям я доверю больше. Смотри же, если тебе это улыбнется, подожди на этих условиях еще год, а летом отправляйся вместе с деньгами. И Дион, не сомневаюсь, (346 D) будет очень благодарен тебе за эти хлопоты о нем». Речь эта огорчила меня, однако я сказал, что подумаю и на следующий день сообщу ему свое решение. Таков был наш уговор тогда. Я, конечно, после этого в полной растерянности держал совет с самим собой. Первым советником выступила такая речь: «Пусть Дионисий и не собирается выполнять обещанного, но стоит мне уехать, как он и сам лично, и через своих приспешников изобразит наш нынешний разговор в таком свете, будто он предлагал, а я отказался от его предложения, поставив ни во что дела Диона. К тому же, если он не захочет отпускать меня, то даже не отдавая приказа никому из судовладельцев, (347 A) он лишь намеком даст

<sup>14</sup> «Одиссея», XII, 428. Перевод В. Жуковского.

понять всем, что ему не угоден мой отъезд, — и тогда разве кто-нибудь согласится взять и посадить меня на корабль из дома Дионисия? Ведь, в довершение всех зол, я жил в саду около его дома, откуда даже привратник не согласился бы меня выпустить без прямого приказа Дионисия». — «А если я останусь на год, то смогу описать Диону, в каком я положении и что делаю. И если Дионисий выполнит что-либо из того, о чем он говорит, то мое поведение будет выглядеть не совсем глупым — ведь по настоящей оценке, пожалуй, имущество Диона составляло талантов сто, не меньше. (347 В) Если же дело пойдет так, как оно предвидится сейчас, то не знаю, как мне быть, но надо все же еще пострадать год и постараться делом изобличить уловки Дионисия». Так я и решил и на следующий день сказал Дионисию, что надумал остаться (347 С). «Но, — добавил я, — не считай меня опекуном Диона, а лучше расскажи ему в письме, о чем мы сейчас договорились, и спросим, доволен ли он этим или нет, и хочет ли добиваться чего-либо другого. И пусть он сообщит об этом возможно скорее, а тебе тем временем предлагаю ничего не менять в его положении». Таков был разговор, таково было соглашение, я передаю его почти теми же словами. Уплыли после этого суда, и для меня уже невозможно стало отплытие».

Дальнейший ход рассказа постепенно подготавливает момент отплытия автора из Сиракуз. Мнимое примирение («по всей Сицилии называли нас друзьями») (348 А) заканчивается открытой враждой. Как путь к этому разрыву показан эпизод мятежа наемников:

(348 А) «Дионисий, нарушив обычай отца, урезал жалование старым наемникам. Возмущенные солдаты стали собираться вместе и отказывались подчиняться. Он пытался прибегнуть к силе и запер ворота Акрополя, (348 В) но они сразу бросились к стенам, запев какую-то воинскую варварскую песнь. Напуганный Дионисий пошел на все условия, а для тех пельтастов, которые выступили тогда вместе со всеми, — даже на большее. Вскоре разнесся слух, что зачинщиком всего был Гераклид. Этот слух побудил Гераклида скрыться, а Дионисия — приняться за его розыски. Находясь в затруднении, (348 С) Дионисий пригласил к себе в сад Феодота; случилось и мне тогда гулять в саду: прочего я не знаю и не слышал из их беседы, но то, что Феодот говорил Дионисию в моем присутствии я знаю и помню».

Рассказ о поисках Гераклида предстает в виде воспроизведения двух диалогов между Дионисием и сторонниками Гераклида, сама ситуация поисков — в виде конфликта между доверчивостью друзей Гераклида и вероломством Дионисия. Сцена объяснения Платона с Дионисием строится на постепенном нарастании напряженности. Страх одной стороны (друзей Гераклида) сталкивается с гневом другой (Дионисия) и достигает максимального напряжения (Феодот со слезами начинает умолять Дионисия); в этот мо-

мент появляется проблеск надежды (слова Платона), который тут же гасится противоположной стороной (Дионисием).

(348 С) «Платон, — были его слова, — вот я убеждаю Дионисия, что можно позволить Гераклиду с сыном и женой отплыть в Пелопоннес и жить там, (348 D) не злоумышляя против Дионисия и получая доход с имения, если мне только удастся вызвать сюда Гераклида для ответа пред нами в тех обвинениях, которые сейчас возводятся на него, и если окажется, что ему не место в Сицилии. Я уже посылал за ним, пошлю и теперь еще раз; если не на первый, то уж на этот призыв он откликнется. Но я прошу Дионисия, встретит ли он Гераклида в деревне или здесь, не причинять ему иного зла, кроме выселения из страны, (348 E) пока Дионисий не переменит решения. «Согласен ты на это?» — спросил он, обращаясь к Дионисию. «Согласен, — ответил тот, — даже если он обнаружится около твоего дома, ему ничего не сделают, кроме того, о чем сейчас говорилось». На следующий день вечером Еврибий и Феодот второпях приходят ко мне в необычайном смятении, и Феодот начинает говорить: «Платон, ты был вчера свидетелем тому, как Дионисий давал тебе и мне обещания относительно Гераклида?» «Как же иначе!» — был мой ответ. «А теперь, — продолжал он, пельтасты рыщут, ища Гераклида, чтобы схватить его, а он, возможно, находится где-то поблизости. Идем, во что бы то ни стало, с нами, к Дионисию» (349 A). И вот мы пошли и проникли к нему, и те двое встали перед ним молча и в слезах, я же сказал: «Они вот напуганы, как бы ты не нарушил вчерашний договор о Гераклиде. Мне кажется, где-то здесь его видели уже вернувшимися». От этих слов он вспыхнул и стал меняться в лице, как бывает в припадках гнева. Феодот упал пред ним и, прильнув к его руке, (349 B) стал плакать и молить не делать ничего такого. Тут, желая ободрить его, вмешался я: «Не бойся, Феодот, Дионисий не дерзнет поступить вопреки тому, что было обещано вчера». А тот, бросив на меня взгляд, достойный истинного тиранна, изрек: «Ничего я не обещал тебе, ни большого, ни малого». «Нет, клянусь богами, ты обещал именно то, чего он просит тебя теперь не делать», — возразил я ему и с этими словами повернулся и вышел. После этого Дионисий стал охотиться за Гераклидом (349 C), а Феодот послал вестников и велел Гераклиду спастись бегством. Дионисий отправил для его преследования Тисия и пельтастов. Говорят, Гераклид спасся от ареста, успев убежать в Карфаген на какую-то часть дня раньше. После этого давнишний умысел Дионисия не отдавать денег Диона, казалось, находил подтверждение в его враждебном отношении ко мне» (349 C).

Окончательный разрыв наступает как логическое следствие создавшихся враждебных отношений:

«Он больше не приглашал меня в свое жилище, полагая уже, что я явный друг Феодоту и Гераклиду и враг ему, и понимая, что мне не нравится, как окончательно тают богатства Диона» (349 C).

Напряженность, которая вызывается на протяжении письма постепенным нарастанием конфликта Платона и Дионисия II, достигает высшей точки в конце автобиографии, в изображении смертельной опасности, грозящей Платону: «Ко мне приходили служившие здесь сограждане мои из Афин и сообщали, что на меня наклеветали пельтастам, и некоторые из них грозят убить меня, как только поймут где-либо (350 А)». Ситуация избавления от этой опасности показана по обычной для письма VII трехчленной схеме: Платон замышляет спасение, обращается для этого за помощью к своим сицилийским друзьям пифагорейцам и при их содействии получает от Дионисия разрешение на отъезд. Описание странствий Платона заканчивается его приездом в Пелопоннес, встречей с Дионом и отказом от участия в том вооруженном выступлении против Дионисия II, которое готовил тогда Дион.

Структура автобиографического рассказа в письме VII сопоставима с сократическими диалогами Платона, в которых большую роль играет воспроизведение бытовых сценок и особые приемы композиционного членения беседы на самостоятельные отрывки. Переломные точки зрения разговора, когда ход мысли должен быть прерван, чтобы получить другое направление, инсценируются в диалоге как особые «затруднительные» ситуации (апории). Собеседники чувствуют себя сбитыми с толку, растерянными, они не могут дальше следовать за нитью рассуждения. Их выручает внезапно осенившая мысль, дающая новый толчок для беседы. Сталкивая разные точки зрения, автор диалогов нередко персонифицирует доводы, заставляет Сократа произносить речь как бы от лица кого-то третьего, как бы противопоставлять свои доводы чьим-то посторонним. В письме VII использован тот же прием. Так, например, переломный момент платоновской юности, когда исчезает надежда на активное участие в общественной жизни и рождается новая политическая теория, показан как состояние растерянности. Это состояние передано тем же глаголом *ἰλιγγία* (терять голову), который встречается и в диалогах для описания апории<sup>15</sup>. Такую же параллель в диалогах находит тот прием внутренней объективации речи, которая в письме VII при описании поездок в Сиракузы выступает в роли решающего довода, склоняющего к отъезду или удерживающего от него<sup>16</sup>.

Композиция письма VII позволяет говорить о структуре автобиографии в нем. Однотипное построение ситуаций, их близость к ранним диалогам дает возможность выделить те компоненты, которые автор вводит в изображение собственной жизни. Такими составными частями образа оказываются: замысел, побуждение к деятельности, столкновение с действительностью, принятие ре-

<sup>15</sup> Письмо VII: «Я, равнявшийся сначала к политической деятельности, глядя на это и видя повсюду во всем разруху, в конце концов потерял голову» (325 E). Ср. диалог «Лисид»: «Я сам теряю голову от того, что речь наша зашла в тупик» (216 C).

<sup>16</sup> Письмо VII 328 D — 329 A; 346D — 347 B. Ср. диалог «Гиппий Большой» 386 C и сл.

шения. Картина, придающая этим деталям целостность, делается динамичной. Образ раскрывается в движении точек зрения автора: мы наблюдаем перипетии интеллектуального развития Платона — от первоначальных расчетов на политическую карьеру, через разочарования и затруднения он приходит к новым взглядам, к новому мировоззрению. Этот метод показа определенных решений и актов в их генетическом развитии прилагается и к описанию отдельных эпизодов жизни. Наибольшее внимание автора привлекают «переломные» моменты; особенно красочными становятся изображения приездов и отъездов в Сиракузы, раскрытие в столкновении противоборствующих тенденций. Вся автобиография в целом предстает как осмысленная нить событий, тянущаяся от первоначального замысла (платоновской теории государства) через ряд неудачных попыток его практического применения к зачеркиванию этих попыток («я возненавидел сицилийское скитание и неудачу» — 350 D) и к утверждению идеи в ее первоначальном утопическом виде.

Движение, вложенное в образ, показанная в нем динамика развития отличают автобиографию Платона от того штампа биографических описаний, который в IV в. вносится в греческую литературу риторикой. Риторика дает статичное изображение портрета, для нее важна прежде всего оценка явлений, а не сам процесс их протекания, поэтому и создаваемый ею портрет предстает всего лишь как иллюстрация определенных черт характера.

Мы имеем образец риторической автобиографии в речи Исократов «Об обмене имуществом». Речь написана приблизительно в том же 353 г., что и платоновское письмо VII. Она не предназначалась для произнесения, и название ее воспроизводит вымышленную инсценировку судебного процесса: по афинским законам, тот, кто считал, что на него неправильно возлагают дорогостоящие общественные повинности (литургии), мог требовать обмена имуществом. В IV в. богатые граждане старались всячески избежать несения разорительных литургий. Если гражданин отказывался от литургии, то тот человек, который предлагал его имя, мог требовать обмена имуществом. Исократ в своей автобиографии инсценирует такого рода судебный процесс. Он встает в позу обиженного и как бы выносит на суд общества всю свою жизнь: свои политические взгляды и педагогическую практику. Изложение ведется не в хронологическом, а в тематическом порядке: автор раскрывает смысл своей политической деятельности, защищает своего друга стратега Тимофея<sup>17</sup>, показывает свое отношение к обществу, защищает риторическую систему образования и переходит постепенно к защите интеллектуальной культуры вообще.

<sup>17</sup> Тимофей — афинский полководец, сын Конона; подчинил Афинам остров Керкиру, воевал во Фракии; в 354 г., после одной военной неудачи, был обвинен в измене и приговорен к штрафу в 100 талантов, после чего отправился в Персию. Тимофей учился у Исократов. Исократ сопровождал его затем в походах и вел его переписку.

При сопоставлении речи «Об обмене имуществом» Исократы и VII письма Платона бросается в глаза сходство основной задачи. Цель обоих сочинений — оправдать политические взгляды и практические действия их авторов. И там и тут звучит мотив неудовлетворенности современной авторам политической действительностью, мотив враждебности сограждан к тем лицам (Тимофею и Диону), которые брались за практическое осуществление политических идей Исократы и Платона. В обеих автобиографиях затронута проблема знания (*ἐπιστήμη*) и слова (*λόγος*). Оба автора смотрят на свою воспитательную деятельность, как на путь реализации политической программы.

Идеал Исократы лежит в прошлом, его взор устремлен к Афинам Солона и Клизфена. Его цель — восстановить былой престиж Афин. Свою верность этой цели он стремится показать в речи «Об обмене». Раскрытие личности автора в этой вымышленной речи ведется ораторскими приемами похвалы и порицания. Автобиографический материал — упоминания о своих чертах характера, о своих высказываниях разного времени, о своем положении в обществе, — привлекается для подтверждения основной исходной мысли автора, что он заслуживает похвалы, а не порицания.

Платоновская автобиография не в меньшей мере, чем речь «Об обмене», преследует апологетическую цель, строится, однако, по совершенно иному принципу. Защита политической концепции и всей линии поведения автора ведется здесь путем показа того, что взгляды автора и его поступки обусловлены той или иной сложившейся ситуацией. Изображение биографических подробностей вводится не как иллюстрация для подтверждения оценки явлений, а как объяснение разворачивающегося хода событий. В хронологическом плане повествования устанавливаются причинно-следственные отношения.

Исократы интересует прежде всего оценка явлений. Сопоставление VII письма Платона с равным по объему текстом речи «Об обмене» не только обнаруживает большее количество оценочных эпитетов у Исократы, но и показывает линию, по которой ведется оценка обеими авторами. У Исократы преобладают оценки: «справедливый», «хороший — плохой», «достойный», «легкий — трудный», «вредный — полезный». У Платона — «справедливый», «хороший», «истинный». Противопоставлений «легкий — трудный», «вредный — полезный» в письме VII не встречается вовсе.

Исократ добивается укрепления афинского полиса и средствами ораторского искусства старается внушить согражданам доверие к своей деятельности ссылками на ее пользу и выгоду для государства. Платон пишет свое письмо в один из самых острых периодов борьбы партий в Сиракузах. Эта борьба привела к гибели зачинщика переворота, платоновского ученика Диона. Гибель главы партии ставила перед членами ее вопрос о линии дальнейшей политики. Гибель ученика заставляла учителя еще раз пере-

смотреть свою доктрину. Все предприятие Диона требовало объяснения. Без этого невозможно было наметить дальнейший план действий. Нужно было выяснить, являлась ли неудача Диона случайностью или результатом несостоятельности исходных посылок. Под вопрос ставилась вся платоновская концепция государства, и автор VII письма пытается обосновать эту концепцию, объясняя ее происхождение.

4

Тема политического совета и рекомендации, с которой мы сталкиваемся в подлинных письмах Платона, в меньшей мере характерна и для эпистолярного сборника Исократ. Исократу приписывается девять писем, и в число их входит шесть совещательных (I, II, III, VI, VII, IX), два рекомендательных (IV, VIII) и одно, выпадающее из общего ряда, хвалебное письмо (V). Письма адресованы политическим деятелям эпохи: тиранну Дионисию I (I), спартанскому царю Архидаму (IX), тиранну Гераклею в Понте Тимофею (VII), Филиппу Македонскому (II, III), его сыну Александру (V), правителям Митилены (VII), детям тиранна Ясона<sup>18</sup> Ферского (VI), Антипатру, полководцу Филиппа Македонского (IV). В некоторых случаях, впрочем, адресаты устанавливаются лишь предположительно (I, IV).

Тенденция Бласса признавать все письма Исократ подлинными сменилась в начале XX в. более осторожным отношением к ним. Самые сильные сомнения вызвало авторство письма III (Виламовиц, Мюншер), адресованного Филиппу Македонскому и письма VI (Виламовиц, Мюншер, Микколо), обращенного к детям Ясона. В первом случае невероятным казалось составление письма Филиппу после Херонейской битвы, в письме же VI подозрение рождалось самим стилем и содержанием письма<sup>19</sup>. На основании лингвистического критерия отвергалась также и подлинность письма IV (Виламовиц, Мюншер).

И по содержанию, и по приемам словесной техники письма Исократ близки к его речам. Мотив общегреческого похода на Восток и идеальный образ политического вождя вводит их в общий поток его публицистики. Личные обращения к виднейшим государственным деятелям эпохи звучат со всей остротой злободневности как попытка осуществить задуманный им план спасения

<sup>18</sup> Ясон — один из позднегреческих тираннов, командир отряда наемников, захвативший в 378 г. до н. э. власть в фессалийских Ферах и вскоре подчинивший своему влиянию всю Фессалию. Был убит в 370 г.

<sup>19</sup> Литература: Fr. Blaß. *Unechte Briefe* (Rheinisches Museum, 1899, LIV, S. 34—35); Fr. Blaß. *Die attische Beredsamkeit II*. Berlin, 1874; U. Wilamowitz-Moellendorf. *Aristoteles and Athen II*, 1910, S. 393—397; I. Kessler. *Isokrates und die panhellenische Idee*. Paderborn, 1911, S. 47, 63—65; Münscher. *Isocrates (Pauly's Real Encyclopädie, Bd. 18, S. 223)*; G. Mathieu. *Isocrate. Philippe et lettres à Philippe, à Alexandre et à Antipatros*. Paris, 1924, p. 37—50; E. Mikkola. *Isokrates. Seine Anschauungen im Lichte seiner Schriften*. Helsinki, 1954, S. 290.



Греции. Этот план охватывал собой идею антиперсидского похода и своеобразную концепцию политического вождя. Мысль о походе на Восток была выдвинута Исократом в «Панегирике» (380 г. до н. э.) в период, когда сокрушалось военное могущество Афин и укрепилась персидская власть в малоазийских греческих городах. В связи с этим особую актуальность для Исократа приобретала тема полководца и руководителя государством. Он вырабатывает свое мерило требований при оценке личности военного и политического героя и на этой основе создает тот трафарет портретных изображений, который ложится в основу жанра биографий в греческой литературе («Эвагор», «К Никоклу», «Никокл»).

Идея восточного похода и тема властителя как бы объединяются и конкретизируются в исократовских письмах, где обращение к наиболее влиятельным фигурам эпохи ставит своей задачей убедить их лично взяться за дело.

«Поскольку я приготовился давать совет относительно спасения эллинов, то к кому с большим правом обратиться мне свою речь, как не к тому, кто славен родом и обладает величайшим могуществом», — пишет Исократ сицилийскому тиранну Дионисию I в письме, которое он не успел закончить до смерти Дионисия в 367 г. (I, § 7). В этом письме Исократ собирается говорить о великих делах, свершить которые он убеждает Дионисия и рисует перед ним всю выгоду и удобство сложившейся ситуации. В период, когда вторично рушатся притязания Афин на морское владычество («Союзническая война», 358—355 гг.), Исократ опять видит в походе на Восток единственный выход из социального кризиса и обращается теперь с посланием к спартанскому царю Архидаму (IX). Стараясь склонить его на свою сторону, Исократ сначала льстит тщеславию Архидама, суля большую славу, восхваляя его доблесть в сражениях, спасение им своего государства, затем взывает к чувствам сострадания, изображая бедственное состояние Эллады:

«§ 1. Многие, Архидам, бросаются хвалить тебя, твоего отца, твой род. Зная это, я не стану отнимать у них эту легкую тему. Нет, я замышляю призвать тебя к командованию и походам, которые ничем не схожи с нынешними, но сделают тебя источником великих благ для твоего государства и всех эллинов.

§ 5. Города захватить, несметных врагов истреблять — это еще не столь величественно и почетно, как спасти свою родину от таких опасностей, и не какую попало, а родину, столь превознесенную доблестью!..

§ 8. Удивляюсь, как остальные могут предаваться делам и выступать с речами, если им никогда не приходилось принимать близко к сердцу общего дела, огорчаться невзгодами Эллады, покрытой таким ужасным позором, — Эллады, на которой нет живого места, свободного от войны, мятежей, убийств и бесчисленных зол, полную меру которых вкусили жители побережья Азии; всех

их мы по договорам предали не только варварам, но и тем эллинам, которые говорят на одном с нами наречии, но поступают по-варварски. § 9. Будь мы умны, мы не позволили бы им собираться во-круг случайных командиров, сколачивать из бродяг отряды многочисленнее и сильнее тех, которые набираются из граждан. Царской земли они опустошают малую часть, греческие же города, вступая в них, разоряют до тла, казня одних, изгоняя других, у третьих грабя имущество, (§ 10) ругаясь над детьми и женщинами, бесчестя самых красивых, срывая одежду с остальных, так что те, кто и в убранстве не показывались чужим взорам, нагие предстают толпе, а иные из них в рубище гибнут, лишенные всего необходимого...»

Самому образу идеального властителя специально посвящено письмо VII, адресованное тирану Гераклею Тимофею, где в форме ссылки на пример Клеоммина, тирана Мефимны на Лесбосе, Исократ рисует те качества, которых он ждет от главы государства.

«(8) И вот слышу про Клеоммина, правящего в Мефимне, что он благороден и разумен в делах и безмерно далек от того, чтобы убивать, изгонять граждан, конфисковывать имущество или причинять какое-либо другое зло. Напротив, он доставляет полную безопасность согражданам, возвращает изгнанных (9) и отдает им потерянное имущество, а покупателям — полагающуюся цену, к тому же он вооружает всех граждан, полагая, что ни один не станет вступать в заговор против него, а если бы кто и дерзнул на это, то лучше ему умереть, выказав перед согражданами такую добродетель, чем жить долго, жить, став для города причиной величайших зол».

Мечта о сильной личности и о походе на Восток заставила Исократу с надеждой, а не с отчаянием отнестись к угрозе македонского завоевания Греции. После того, как влияние Македонии за 355—346 гг. распространилось уже на весь север Греции (Фессалию и Халкидский полуостров), восьмидесятидвухлетний Исократ снова выступает с идеей антиперсидского похода. Он пишет «Филиппа» (346 г.) — вымышленную речь, в которой обращается к македонскому царю с призывом взять на себя выполнение задач внутренней и внешней политики Греции — установить согласие среди эллинов и возглавить поход против варваров (§ 16). Исократ провозглашает Филиппа потомком Геракла и пользуется этой посылкой для логического обоснования дружбы Филиппа с Грецией и его вражды с варварами (§ 76—77). Македонскому царю вменяется в обязанность «благодетельствовать эллинам, царствовать над македонянами, властвовать (*ἀρνεῖν*) над возможно большим количеством варваров» (§ 154). При этом результатом покорения варваров должна служить эллинизация системы их управления (§ 154).

После «Филиппа» между Исократом и македонским двором завязывается переписка, прекращающаяся лишь со смертью ора-

тора. Часть этой переписки утрачена. До нас сохранилось лишь 4 письма такого рода, при этом подлинность некоторых из них оспаривается<sup>20</sup>.

Филократов мир, заключенный Афинами с Македонией в 346 г., не остановил распространения македонского влияния в Греции. В 346 г. Филипп принимается в состав дельфийской амфикистии и председательствует на пифийских играх. Одновременно с этим он начинает подчинять своей власти также и области к северу от Македонии. В 345—344 г. Филипп отправляется в иллирийский поход<sup>21</sup>. Пользуясь сенсацией, которую вызвала весть о ранении Филиппа во время этого похода, Исократ пишет ему письмо (письмо II) и снова, через два года после «Филиппа» зовет македонского царя к походу на Восток. Эти два года не принесли разрешения внутренних противоречий между греческими государствами и не оправдали надежд Исократа на общеэллинский поход против персов. Перед лицом антагонистической борьбы двух политических систем, греческого полиса и македонского абсолютизма, Исократ ищет пути укрепления полиса и видит этот путь в прекращении раздоров среди греческих государств, в их общей политике, которая использовала бы македонскую монархию в интересах Греции. «Заботу о твоих делах я взял на себя ради моего города и прочих эллинов», — пишет Исократ в начале своего послания (§ 2). Лыстя Филиппу заботой о его жизни и славе, Исократ настойчиво рекомендует прекратить покорение северных племен и двинуться в поход против персидского царя, в котором приняли бы участие и эллины (§ 11). Почти половина письма (§ 14—24) посвящена анализу отношений Филиппа и Афин. Афины представлены как сила, неоднократно спасавшая всю Грецию, как притягательный центр для тех, кому в тягость власть Филиппа, как государство, приближающееся к Македонии по своему могуществу. Дружественный союз с Афинами изображается как акт, желательный для Афин и выгодный для Филиппа. Взывая к личному тщеславию Филиппа, Исократ призывает его предпочесть завоевание благосклонности города разрушению его стен. Письмо заканчивается словами: «Хорошо поручить благосклонности эллинов царство и благоденствие, царящие у вас» (§ 29).

Уже перед самой смертью, в 338 г. до н. э., после Херонейской битвы, Исократ в третий раз обращается к Филиппу с призывом идти на Восток. Против подлинности этого послания (III) выдвигалось двоякого рода возражение — с одной стороны, признавалось невероятным столь дружеское обращение к Филиппу после полного разгрома родины, с другой стороны, считалось, что Исократ умер через несколько дней после битвы от горя и, следовательно, не мог написать письма, но последнее возражение отпадает само собой, поскольку источники не называют дату кончины оратора,

<sup>20</sup> G. Mathieu. *Isocrate. Philippe et lettres à Philippe*. Paris, 1925, p. 36.

<sup>21</sup> Там же, стр. 37, 38.

а лишь относят ее ко времени торжественного погребения павших в битве за родину граждан, которое, как можно предположить, имело место через несколько месяцев после Херонейского сражения<sup>22</sup>.

В письме III, так же как в «Филиппе» и письме II, настойчивое требование похода в Азию обосновывается доводами объективного порядка: тем, что уже отпала необходимость добиваться согласия среди греческих государств, и ничто не мешает двинуться в Азию, и тем, что этот поход послужит к величайшей славе Филиппа. Поход в Азию признается наиболее нужным и своевременным предприятием для эллинов.

«§ 1. Я в достаточной мере, как мне кажется, говорил уже и с Антипатром о том, что полезно и для нашего города, и для тебя. Захотел я написать и прямо тебе о том, что, по-моему, следует делать после мира; об этом я уже написал в моей речи, но здесь буду значительно более краток.

§ 2. В моей речи совет мой заключался в том, что тебе следует примирить наш город, лакедемонян, фиванцев, аргивян и привести эллинов к согласию; если ты внушишь это первенствующим государствам, то, думал я, и остальные не заставят себя долго ждать. Так было дело тогда, а теперь выходит, что уже не нужно никого убеждать. Происшедшая битва всех принудила быть благоразумными, стремиться к таким действиям, в которых бы угадывалась твоя воля и говорить такие слова, какие нужно, принудила положить конец их безумным притязаниям друг к другу и перенести войну в Азию.

§ 3. Многие пристают ко мне с вопросами, я ли дал тебе совет отправиться в поход против варваров или я только вторил твоему замыслу. Я же говорю, что не знаю точно, так как раньше не общался с тобой, однако, думаю, что ты об этом знал, мои же слова соответствовали твоим желаниям. Слыша это, все просили меня ободрять тебя и побуждать оставаться при том же мнении, полагая, что не было дел более прекрасных и более полезных для эллинов и не будет более благоприятного момента для действий.

§ 4. Будь во мне прежние силы, а не дряхлая немощь, не беседовал бы я через письмо, а сам лично стал бы побуждать тебя и звать к этим действиям. Теперь же, как могу, призываю тебя не покидать заботы об этом, пока не доведешь дела до конца. В отношении чего-либо другого плохо быть ненасытным, ведь у большинства людей ценится умеренность, но неутомимая жажда великой и прекрасной славы подобает тем, кто высоко вознесся над прочими; а именно таков твой случай.

§ 5. Подумай, слава твоя будет недостижимой и достойной твоих деяний тогда, когда ты варваров сделаешь илотами эллинов, кроме тех, кто станет на твою сторону, а царя, называемого

<sup>22</sup> Там же, стр. 46—49.

ныне великим, ты заставишь делать все, что ты ему прикажешь. После этого тебе останется разве только стать богом! И гораздо легче свершить это при нынешних обстоятельствах, чем из того царства, которое было у тебя вначале, прийти к той славе и силе, которыми ты обладаешь теперь.

§ 6. Благодаря свою старость за одно только то, что она продала мою жизнь до сих пор, так что я могу видеть: из того, о чем я размышлял в молодые годы и пытался писать в «Панегирике» и в речи, обращенной к тебе, одна часть уже осуществилась благодаря твоим деяниям, а другая часть, я надеюсь, выполнится в будущем».

## 5

Вопрос о подлинности исократовских писем филология решала до сих пор на основании исторических и лингвистических критериев. То или иное отдельное письмо сопоставлялось с политической концепцией Исократов и в зависимости от этого признавалось подлинным или подложным. Сама же концепция Исократов получала оценку в терминах, отражавших политическую действительность Европы XIX—XX вв.: Исократу приписывался панэллизм, империализм<sup>23</sup>. Вместе с тем совершенно не учитывались особенности эпистолярной формы, не исследовалась специфика писем Исократов, не устанавливалась стилистическая связь между ними. А между тем именно изучение всей совокупности писем позволяет уловить черты сходства и различия, позволяет говорить об авторском почерке в них.

При сопоставлении исократовских писем друг с другом бросается в глаза их близость к ораторским речам, наличие в них тех особых приемов композиции, которые обобщены в «Риторике» Аристотеля.

Как уже указывалось выше, письма Исократов могут быть разделены на следующие три группы:

- 1) совещательные письма (I, II, III, VI, VII, IX),
- 2) рекомендательные письма (IV, VIII),
- 3) хвалебное письмо (V).

Письма, входящие в каждую из этих групп, объединяются сходством схемы своего построения, общностью мотивов и выразительных средств.

В самой большой по количеству группе совещательных писем влияние ораторских приемов ощущается особенно ясно. Композиция ораторской речи по классификации Аристотеля включала четыре части:

«... Необходимые части речи — изложение и способ убеждения;

<sup>23</sup> См.: I. Kessler. Указ. соч.; E. Mikkola. Указ. соч.; Cl. Mossé. *La fin de la démocratie athénienne*. Paris, 1962. О том, подлинность каких писем Исократов и кем подвергалась сомнению, см.: E. Mikkola. Указ. соч., стр. 290, 291, 296.

они составляют ее неотъемлемую принадлежность, но по большей части в речи бывают: предисловие, изложение, способ убеждения, заключение»<sup>24</sup>.

Содержание предисловия должно было заключаться в похвале, хуле, убеждении, разубеждении, обращении к слушателям, его цель состояла в том, чтобы вызвать благосклонность и внимание слушателей<sup>25</sup>. Изложение сути дела (рассказ) занимало наименьшее место в совещательных речах, ибо их специфика заключалась в усиленном применении похвал, как эмоциональной формы убеждения. «Когда хочешь дать совет, посмотри, что бы ты мог похвалить», — пишет Аристотель<sup>26</sup>.

В заключительной части оратору предписывалось располагать слушателей к себе:

«Оратор» должен стремиться <доказать> одно из двух: или что сам он — хороший человек, по отношению ли к слушателям, или безотносительно, или что <противник его> — дурной человек, по отношению к ним или безотносительно»<sup>27</sup>.

В совещательных письмах Исократы отражается, как правило, хотя бы один из пунктов этой схемы. Неоднократно (I, VII, IX) мы встречаем в них хвалебное начало, когда автор заранее, не сказав еще ни слова о деле, стремится привлечь к себе внимание адресата. Особенно торжественно звучит такое введение в послании к спартанскому царю Архидаму (IX):

«§ 1. Многие, Архидам, рассыпаются в похвалах тебе, твоему отцу, твоему роду; зная это, я не стану отнимать у них эту легкую тему. Нет, я замышляю призвать тебя к командованию и походам, которые ни в чем не схожи с нынешними, и сделают тебя виновником великих благ для твоего государства и всех эллинов.

§ 2. Говорить об этом я предпочел не потому, что не знаю, какие речи удобнее составлять, а потому, что твердо убежден: доблести ваши восхвалить мне не составило бы труда, ведь мне не пришлось бы выжимать из себя слов о них: а вот подвиги найти прекрасные, великие, полезные — это и трудно, и редко удается, и тут-то ваши деяния дали бы мне столько и таких поводов к похвалам, что все похвалы, расточаемые другим, не пошли бы ни в какое сравнение с тем, что было бы сказано о вас!

§ 3. Разве кто-нибудь превзошел благородством потомков Геракла и Зевса, к которым, по единогласному признанию всех, принадлежите только вы? Или доблесть тех, кто завладел Пелопоннесом и основал там дорийские города? Или количество понесенных опасностей и трофеев, воздвигнутых за время вашего верховенства и царствования?

<sup>24</sup> Аристотель. *Риторика*. III, 13 (1414 В 7—9); перевод Н. Платоновой. СПб., 1894, стр. 186.

<sup>25</sup> Там же, III, 14 (1415 А 5—7), стр. 187, 189.

<sup>26</sup> Там же, I, 9 (1368 А 7—8), 1, 9.

<sup>27</sup> Там же, III, 19 (1419 В 16—17), стр. 203.

§ 4. Не всякий ли при желании сумел бы рассказать о благо-разумном правлении, установленном во всем государстве вашими предками? А сколько слов потребовалось бы, чтобы говорить о рассудительности твоего отца, о тех распоряжениях, которые давались во время бедствий, о битве в городе, когда ты взял командование, с малым войском бросился на большое и, отличившись пред всеми, стал спаситель города? Более прекрасного деяния никто не смог бы назвать...»

Содержание почти всех писем охватывается некоторым числом постоянных мотивов, место которых в письме строго определено композиционной схемой. Так, например, мысль о том, что льстецы встречают больше доверия, чем добрые советчики, неизменно встречается во вводной части (I, II, IX), мотив славы (II, III, VII, IX) и благоприятного момента для действий (*καιρός*) (I, III) звучит лишь в основной части письма:

Письмо II, § 9. «...не следует чтить храбрость бессмысленно нерасчетливую и безвременно честолюбивую, не следует монархам, и без того окруженным опасностями, искать себе еще новых, бесславных, приличных разве что простым воинам, не следует соревноваться с теми, кто желает положить конец своей несчастной жизни или опрометью кидается на опасности ради большей платы.

§ 10. Следует домогаться не той славы, которая доступна большинству варваров и эллинов, а той, величие которой доступно тебе одному из ныне живущих. Следует любить не такие доблести, которые свойственны даже людям низким, а такие, которыми непричастен никто дурной.

§ 11. Не следует отправляться на бесславные и тяжелые войны, когда можно вести почетные и легкие, не нужны такие походы, которые домашних твоих повергнут в горе и печаль, а врагам внушат большие надежды. Но именно это ты и делаешь теперь, хотя победой над варварами, против которых сейчас воюешь, ты лишь обезопасишь свою страну, а попыткой низвергнуть того, кого зовут великим царем, ты и себя покроешь славой, и эллинам покажешь, с кем они должны бороться».

В заключительной части автор письма, как правило, говорит о себе:

«И не дивись, что я, не оратор, не полководец, не обладающий вовсе полномочиями, столь серьезно отношусь к делу и посягаю на столь важные две вещи — говорить об Элладе и давать тебе советы. От прямого участия в делах государства я давно отошел (о причинах этого говорить мне слишком утомительно), но никто не может сказать, будто я непричастен той науке, которая опускает мелочи и пытается достичь великого, так что нет ничего странного, если я смог увидеть что-то полезное раньше, чем те, кто пользуясь громкой славой, занимается государственными делами наудачу (I, 9, 10)».

Композиционное распределение топики писем может быть представлено в виде следующей схемы:

	Введение	Изложение и убеждение	Заключение
Похвала адресату	I, VII, IX		
Противопоставление похвалы и совета . . . . .	I, II, IX		
Оправдание эпистолярной формы . . . . .	I	III	
Мотив доброй славы		II, III, VII, IX	
Мотив благоприятного момента . . . . .		I, III	
Самораскрытие автора			I, II, III, VII, IX

Из этой таблицы видно, что каждое письмо имеет хотя бы одну точку соприкосновения с любым из остальных писем и что распределение топики в письмах подчинено определенному плану. Это позволяет нам предположить единый источник, т. е. единого автора этих писем. А близость структуры писем к структуре политических речей может служить доводом в пользу мнения, что этот единый автор — Исократ. В совещательных письмах немало точек соприкосновения с рекомендательными письмами (IV, VIII) (совет в форме похвалы, противопоставление лести и откровенности, ссылка на личность автора письма), что опять-таки побуждает нас предположить одного автора для писем I—IV, VII—IX.

В приведенной выше таблице не нашло отражение письмо VI, адресованное детям Ясона. Содержание письма, проповедь в нем отказа от власти и предпочтение далекой от политики жизни частного гражданина вызывало уже неоднократно сомнения в его подлинности. Сопоставление письма VI с остальными совещательными и рекомендательными письмами Исократ обнаруживает не только несходство топики, что можно было бы в какой-то мере объяснить особым характером письма, адресованного не к правителям государств, как остальные письма, а к частным лицам, но различие и в самом авторском подходе к материалу. Если в остальных письмах объектом изображения выступает адресат и автор говорит о себе лишь, чтобы внушить доверие адресату и направить его действия в нужную сторону, то в письме VI самоизображение автора приобретает самостоятельное значение. Меняется пропорция в употреблении местоимений 1-го и 2-го лица. Если в остальных письмах соотношение количества местоимений 1-го лица ко 2-му равно, как правило, 1 : 1,5, то в письме VI мы сталкиваемся с соотношением 1,5 : 1.

Приводим количественные данные:

Письма	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Местоим. 1 лица	12	16	10	12	2	21	10	10	14
Местоим. 2 лица	14	30	19	19	6	15	21	14	14



Письмо VI производит впечатление письма, написанного не Исократом, а от лица Исократом, автором, цель которого — сочинить письмо, соответствующее характеру Исократом. Здесь виден особый интерес к мелким деталям, к психологическому объяснению своего поведения. Совет, который преподносится детям Ясона, подается не в виде примера, не в виде общих бесспорных положений, как это имеет место в рекомендательных и совещательных письмах, а в форме личного выбора автора. Все это заставляет согласиться с мнением тех, кто отвергает подлинность письма.

К совещательным письмам Исократом близки и два рекомендательных письма (IV, VIII). В них тот же схематизм композиции, то же сходство мотивов. Строятся они по следующему плану:

- 1) характеристика рекомендуемого,
- 2) доводы автора,
- 3) извинение за слишком длинное письмо.

Письмо IV рекомендует некоего Диодота македонскому двору. Рукописи расходятся в определении адресата письма — одна группа рукописей называет Филиппа, другая Антипатра. Письмо VIII адресовано правителям Митилены и заключает в себе просьбу о возвращении из изгнания детей Афарей, внуков Исократом.

В этих письмах применяется своеобразный способ портретного изображения путем описания свойств, поступков и настроения персонажа. Задача письма состоит в рекомендации персонажа, т. е. в том, чтобы представить его в наилучшем свете, и описание его свойств сводится к нагромождению похвал и положительных оценок. Помимо обилия оценочных эпитетов (самый справедливый, самый благоразумный, самый бескорыстный, самый приятный в обхождении) мы встречаем тут и особый риторический прием, который, по словам Аристотеля<sup>28</sup>, типичен для Исократом: сопоставление данного лица с другими знаменитостями: «... Среди моих учеников много всякого рода людей, из них некоторые в большой славе. Одни отличались словесным искусством, другие — своей рассудительностью и деятельностью, иные благоразумны и приятны в обхождении, но совершенно бессильны делать что-нибудь другое или жить иначе; его же природа наделила таким складом, что во всем этом он достиг совершенства» (IV, 2, 3).

Подробное описание воссоздает облик человека в обобщенном виде. Тот же принцип обобщения лежит и в основе рассказа о конкретном событии, давшем повод для письма: «Подобает всем монархам выше ставить тех, кто говорит правду, чем тех, кто все говорит из угодливости, но ничем не заслуживает благодарности. Но не-

<sup>28</sup> «Если ты не находишь, что сказать о человеке самом по себе, сравни его с другими как это делал Исократ вследствие привычки говорить в суде. Следует сравнивать человека с людьми знаменитыми, потому что если он окажется лучше людей, достойных уважения, его достоинства от этого выигрывают». — Аристотель. Риторика. I, 2 (1368 А — 19—22). М., 1894, стр. 46. Перевод Н. Платоновой.

редко как раз правдивые люди встречаются у некоторых худший прием. Это и пришлось испытать Диодоту у каких-то властителей в Азии, которым он принес большую пользу не только советом, но и делом, подвергаясь немалым опасностям из-за своей откровенности относительно того, что им полезно; он лишился и того почета, которым пользовался на родине, лишился и надежд на многое другое: месть случайных людей превозмогла его благодеяния» (IV, 6, 7).

Во все это схематичное описание экспрессию вносят риторические приемы выразительности, среди которых основной — антитеза. Они же позволяют автору воссоздать и настроение персонажа, развертывая в целую картину простое указание на его чувство: «Поэтому, думая все время отправиться к вам, он был в страхе, не потому, чтобы считал всех подобными своим прежним повелителям, но потому, что из-за постигших его неудач, он не смел и на вас возлагать надежды. Так, вероятно и те, кто раз попал в бурю на море, не смеют больше пускаться в море, хотя знают, что плаванье часто бывает удачным. Однако он хорошо делает, что находится у тебя» (IV, 8).

Из приведенных примеров мы видим, что облик, воссозданный в письме, схвачен автором статично, вне развития, вне ситуации, но в яркой окраске приписанных ему свойств. Портрет построен на конфликте двух интонаций — восхваления и страха, и его эмоциональное содержание обуславливает последующую часть письма, которая заключается в доводах автора, направленных на то, чтобы убедить адресата. Эти доводы однотипны. В обоих письмах сначала провозглашается похвала адресату, ему приписывается то, что автор хотел бы в нем видеть:

«Я полагаюсь, главным образом, на твою обходительность, известную иностранцам: затем, думаю, что дороже приобрести себе благодеяниями верных и полезных друзей и хорошо относиться к тем, за кого многие будут вам благодарны» (IV, 9)<sup>29</sup>.

Затем внимание снова переносится на личность рекомендуемого: «Но, я думаю, Диодот сам вызовет у тебя желание заботиться о нем» (IV, 10).

«Но даже если бы вы не выносили таких решений и не принимали никого из изгнанных, возвращение именно этих людей я нахожу для вас выгодным» (VIII, 3).

И, наконец, последним доводом выступает ссылка на личность самого рекомендателя:

«. . . Позаботься обо всем прочем, в чем у него случится нужда, особенно же о безопасности его и его отца, считай, что это — за-

<sup>29</sup> Ср. также в письме VIII положительную оценку той политики, которую проводят правители Митилены: «Прекрасно, на мой взгляд, ваше решение примириться с вашими гражданами и старание уменьшить число изгнанников, увеличить число сограждан и подражать порядкам нашего города; а всего похвальней, пожалуй, что отдаете возвращающимся их имущество» (VIII, 3).

лог, врученный от лица моих седин, которые заслуживают почтения, от лица моей славы, если она чего-то стоит, и от лица моей к вам постоянной благосклонности» (IV, 12).

«... Так, мне кажется, вы могли бы вынести самое лучшее решение, если посмотрите, кто просит и за каких людей. Вы обнаружите, конечно, что я в самых дружеских отношениях с тем, кто сделал столько добра для вас и остальных, а те, за кого я прошу, таковы, что они не огорчают тех, кто старше их и занят политикой, младшим же они доставляют занятие приятное, полезное и подобающее возрасту» (VIII, 7).

Заканчиваются оба письма весьма сходным извинением за излишнюю растянутость:

«И не удивляйся, если я написал слишком длинное письмо, если сказано у нас в нем что-то лишнее и стариковское; ведь, я ни о чем не думал, кроме одного лишь — чтобы видна была моя забота о людях, ставших мне самыми дорогими друзьями» (IV, 13).

«Не удивляйтесь, если я написал письмо более растянуто и пристрастнее, чем остальные: ведь я хочу двух вещей — угодить нашим детям и показать им, что даже не выступая публично и не отправляясь в походы, но лишь подражая моему поведению, они не останутся в забвении у эллинов. Еще одно остается, если вы решите выполнить что-либо из этого, объявите Агенору и братьям, что и моя доля есть в том, что они получают то, чего хотели» (VIII, 10).

Мы видим, таким образом, что в письмах Исократ складывается своего рода эпистолярный штамп с особой топикой и композицией. Этот штамп возникает под прямым влиянием риторики. Исократ переносит на письма приемы своего ораторского искусства и свойственный ему метод художественного изображения. Обилие общих мыслей и скудость конкретных деталей, обобщенный портрет персонажей с их постоянными свойствами — все это создает статичность рисунка, внутренним содержанием которого делается яркость изображенных в нем качеств. Интонация похвалы превращается тут в главное выразительное средство.

Непримиримый враг риторики, Платон, как было показано выше, создал в рамках эпистолярной формы изображение совершенно иного рода — динамичное, схватывающее предмет в его развитии и становлении. Содержанием такого рисунка является напряженность ситуации. В нем усиливается роль конкретных подробностей и ослабляется общий оценочный элемент.

Эти две манеры, объясняемые различием художественного метода их авторов, кладут начало двум линиям в последующем развитии эпистолярного жанра. От писем Исократ тянется нить к риторической эпистолографии эллинизма с ее шаблоном композиции и содержания. Традицию платоновского открытого письма воспринимают философские школы, в которых письмо делается излюбленной формой дидактики.

## ПИСЬМА ЦИЦЕРОНА



В 1345 г. Франческо Петрарка, один из величайших библиофилов своего времени и горячий поклонник Цицерона, нашел в Вероне манускрипт, содержащий в себе письма Цицерона к Аттику, брату Квинту, Бруту и Октавиану. Эта находка, впоследствии утраченная, привела его сперва в восторг: уже несколько веков письма Цицерона считались безнадежно потерянными и всякие упоминания о них, еще встречавшиеся в раннем средневековье, умолкли. Однако, когда Петрарка приступил к чтению и переписыванию писем, он испытал сильное разочарование. Его божество оказалось не бронзовой статуей древнего героя, а живым человеком, и притом человеком самолюбивым, нерешительным и даже робким: этот характер, совершенно ясно обрисованный самим автором письма, показался Петрарке совсем не соответствующим тому образу «отца отечества», который поэт создал себе, перебирая в уме наиболее известные факты биографии Цицерона — раскрытие заговора Катилины и казнь его приверженцев, изгнание, борьбу с Марком Антонием и мужественную смерть. И Петрарка, обращаясь к тени самого Цицерона, написал ему несколько писем с горькими упреками и порицаниями его малодушия. Однако привязанность к Цицерону все же победила в душе поэта. Петрарка посвятил ему хвалебные строки в своей поэме «Trionfi»; его друг Боккаччо, тоже уже ознакомившийся с письмами Цицерона, тем не менее включил его в число знаменитейших мужей в своей книге «De casibus virorum illustrium».

Именно те черты писем Цицерона, которые так огорчили и разочаровали Петрарку, делают для нас письма Цицерона особенно интересными и ценными. Во всей античной эпистолографии нет памятника более живого, непосредственного и правдивого, чем эти письма. Дело в том, что от его предшественников, столь же близко соприкасавшихся с политической жизнью обоих Сципионов, братьев Гракхов, Мариа, Суллы и многих других деятелей римской республики, до нас не дошло ни строки, хотя

едва ли можно сомневаться в том, что переписка, как официальная, так и частная, существовала и в их время. А позднейшие собрания писем, дошедшие до нас от I—II вв. н. э., принадлежащие то поклонникам, то критикам Цицерона, не могут сравниться с его письмами ни по важности своего содержания с точки зрения истории, ни по живости и конкретности изложения. Одни, хотя и подлинные, менее интересны и в историческом, и в литературном отношении — это письма Фронтонa, учителя Марка Аврелия, — другие же стоят на полпути между подлинными письмами и риторическими упражнениями в эпистолярной форме — таковы письма Сенеки и Плиния Младшего. Только IV и V вв. н. э. дали нам снова немало образцов реальной эпистографии, живо отразивших свое время: это письма императора Юлиана, Либания, Синесия и деятелей христианской церкви. Но это уже другие люди и другая эпоха; от Цицерона отделяют их не только четыреста лет, но и глубочайшие различия во всем строе окружающей жизни и личного мировоззрения.

Помимо огромного исторического значения писем Цицерона и важности их для раскрытия его личной жизни и его психологического облика, они чрезвычайно ценны и как лингвистический памятник латинского языка. Живой разговорный латинский язык известен исследователям меньше, чем греческий; здесь более крупный материал комедий, диалогов, эпиграмм. Зато такого крупного подлинного эпистографического памятника, как письма Цицерона, на греческом языке до нас не дошло. И в лексическом, и в грамматическом отношении эти письма уникальны: они богаты словами и оборотами, которые более нигде не встречаются, даже у самого Цицерона — ни в его речах, больше связанных с официальным языком политики и юриспруденции и с «общими местами» риторической школы, ни в его философских трактатах, где ему приходилось бороться с трудностями изложения мыслей, для которых в латинском языке еще не было слов. Ничего подобного Цицерон не испытывает, когда пишет письмо, будь то письмо к близкому другу, сослуживцу, случайному приятелю, или неприятелю, или официальному лицу, равному ему по положению или вышестоящему. Стиль его невероятно разнообразен и ему доступны любые оттенки языка, от игры слов, шуток, анекдотов, порой весьма рискованных, — до высоких и серьезных рассуждений политического и философского содержания. Он охотно и уместно пользуется то пословицами и поговорками, как латинскими, так и греческими, то цитатами из литературных произведений.

Знатоки синтаксиса классической латинской прозы отмечают некоторые нарушения его правил в письмах Цицерона; но поскольку свод этих правил в первую очередь основывается именно на произведениях самого Цицерона, на его речах и трактатах, то это лишь значит, что Цицерон не только умел создавать нормы,

но и отклоняться от них в тех случаях, где этого требовало живое выражение его мыслей и чувств.

В настоящее время мы располагаем собранием из 929 писем, не считая нескольких незначительных фрагментов. Не все 929 писем принадлежат самому Цицерону; в их число включены и некоторые письма его корреспондентов — Метелла, Целия, Мунация Планка, Брута и др. Все письма разделены на четыре сборника: 1) письма к Титу Помпонию Аттику, ближайшему другу Цицерона, в 16 книгах (около 400 писем); 2) переписка с разными лицами («Письма к близким»), тоже в 16 книгах; 3) письма к брату Квинту в 3 книгах и 4) письма к Марку Бруту в 2 книгах.

История составления и издания этих сборников весьма сложна и до сих пор не вполне ясна. При жизни Цицерона письма его собраны и изданы не были. Об этом свидетельствует сам Цицерон: в 45 г. до н. э., за полтора года до смерти, он общал Аттику о том, что к собиранию писем, адресованных Аттику, собирается приступить Тиرون, любимый вольноотпущенник и секретарь Цицерона; у Тирона уже есть около 70 писем, и он надеется получить еще некоторые письма от самого Аттика. Едва ли Тиرونу удалось выполнить этот план в тревожные годы между смертью Цицерона в 43 г. и смертью Аттика в 32 г. Власть в Риме в это время делили Октавиан и Антоний, осудившие Цицерона на смерть и вряд ли желавшие о нем вспоминать. А именно в письмах к Аттику Цицерон высказывался особенно откровенно по всем политическим вопросам. В последующие десятилетия, когда Октавиан уже называл себя Августом и правил единолично, он, по-видимому, по-прежнему не желал широкого опубликования произведений Цицерона; Плутарх рассказывает, что однажды внук Августа читал речи Цицерона, но когда к нему вошел дед, он поспешно спрятал свиток под тунику. Однако известно, что Тиرون дожил почти до 100 лет<sup>1</sup>; он мог на несколько лет пережить Августа и издать сборник писем к Аттику при Тиберии, когда память Цицерона уже была окружена ореолом героизма и мученичества, даже в официозной «Истории Веллея Патеркула». Все ли эти письма изданы вместе, неизвестно: первое упоминание о них встречается у Сенеки, но он ссылается лишь на письмо из I книги. Однако, все позднейшие авторы говорят уже о 16 книгах писем к Аттику, т. е. о том сборнике, который имеем и мы.

О выходе в свет «Писем к близким» точных данных тоже не имеется. Вероятно, отдельные письма, а, может быть, и неболь-

<sup>1</sup> Это предположение исходит из такого расчета. Имя Тирона в первый раз встречается в письме Цицерона от 54 г. до н. э.: в нем Цицерон упоминает о том, что брат Квинт просил сообщить ему о ходе государственных дел. Следовательно, Тиرون в это время было уже во всяком случае больше 20 лет, т. е. он родился около 80 г. до н. э. В 14 г. н. э., когда умер Август, Тиرونу было 93—94 года.

шие сборники писем к отдельным лицам ходили по рукам: например, о письме к Кассию упоминает Сенека-отец в «Суазориях». Встречаются у позднейших авторов упоминания о сборниках писем к Гирцию и Пансе, которые были консулами в год смерти Цицерона и даже к Помпею и Цезарю; правдивы ли эти сведения, сказать нельзя: в наличное собрание из них вошло, во всяком случае, очень мало (четыре письма к Цезарю, три к Помпею, одно к Крассу, три к Катону и одно к Марку Антонию). Дошедший до нас сводный сборник из 16 книг, как предполагают, был составлен на основании нескольких меньших сборников, по всей вероятности в IV или V в. н. э. А из небольших сборников писем к отдельным лицам сохранилось, как сказано, два: первый — к младшему брату Цицерона Квинту, женатому на сестре Аттика; второй — к Марку Бруту, убийце Юлия Цезаря. Подлинность его писем к Бруту не раз оспаривалась, и до сих пор доказать ее с полной достоверностью нельзя (так, вся вторая книга этих писем вообще не сохранилась в рукописи, а имеется только в первопечатном издании начала XVI в.); однако о существовании переписки Цицерона с Брутом упоминает уже Квинтилиан.

Итак, к концу I в. н. э. многие (если не все) письма Цицерона были опубликованы и стали считаться образцами эпистолярного стиля. В каждом из дошедших до нас сборников письма Цицерона расположены в довольно точном хронологическом порядке, дающем возможность обозреть деятельность его по отдельным годам, месяцам, а иногда даже декадам и дням. Поэтому в некоторых изданиях и переводах принято располагать вперемешку письма всех четырех сборников, но с точным соблюдением хронологии: таким путем создается наглядная общая картина корреспонденции Цицерона в данном году и выясняется, какие корреспонденты были особенно важны и близки ему в тот или иной период его деятельности. Так расположены письма и в советском издании «Письма Марка Туллия Цицерона» (т. I—III. М., Изд-во АН СССР, 1948—1951). Конечно, не следует думать, что мы имеем перед собой абсолютно все письма самого Цицерона и большую часть писем его корреспондентов. Несомненно, огромная доля его переписки безнадежно утрачена и много, вероятно, уничтожено намеренно.

Распределение писем по годам очень неравномерно: чем ближе к концу, тем поток писем становится гуще. К сожалению, мы совсем не имеем писем от первых десятилетий деятельности Цицерона 80-х и 70-х годов до н. э. О чрезвычайно интересном периоде первых его выступлений и процесса Верреса мы можем судить только по его речам, а речи, как говорит сам Цицерон, не всегда отражают искреннее мнение самого оратора. Очень скудны и отрывочные письма 60-х годов. От доконсульского периода (68—65 гг.) имеется только 11 писем, большей частью о семей-

ных и частных финансовых делах; от 64 и 63 гг. ни одного письма; от первых лет после консульства (62—60 гг.) сравнительно немного (62 г. — 4 письма, 61 г. — 7, 60 г. — 6); уже достаточно полно представлен 59 г., предшествующий году ухода в изгнание; и только последние 15 лет жизни Цицерона мы можем представить себе так ясно, как будто мы сами присутствовали при каждом событии, отразившемся в письмах этих лет. С 59 по 57 г. главным адресатом является пока еще только Аттик; но с 56 г. и до последнего года жизни число адресатов все увеличивается, появляются имена, дотоле нигде не называвшиеся и, наконец, от 43 г. — много писем к политическим единомышленникам и ни одного письма к Аттику. Такое распределение писем едва ли совсем случайно; по всей вероятности, Тираном был произведен какой-то сознательный отбор, а полное отсутствие писем к Аттику в последние, самые напряженные месяцы борьбы с Антонием наводит на мысль, что либо эта переписка уничтожена, либо Аттик весь этот год был в Риме, и друзья непрерывно встречались. Возможно, правда, что их отношения охладились из-за той поддержки, которую предусмотрительный Аттик оказывал жене и детям Марка Антония, за что и был потом пощажён при проскрипциях.

За те шестьсот лет, которые протекли с момента открытия Петраркой писем Цицерона, они были изучены десятки раз крупнейшими учеными с самых различных точек зрения — и как подлинный документ, изображающий исторические события, и как свидетельство о его собственных политических и философских взглядах, и как материал для раскрытия его личного характера, его бытовой обстановки, его служебного и финансового положения. Давно известно и общепризнано, что Цицерон был честолюбив, подчас неумеренно хвастлив, легковверен и не слишком дальновиден в политическом отношении; часто запутан в долгах, но лично честен и т. п. Не только трудно, но даже невозможно сказать о нем что-либо новое в краткой статье. Но при внимательном чтении писем Цицерона невольно хочется вникнуть в его чисто человеческие отношения с окружавшими его людьми. Почему переписка с Аттиком занимала его в течение всей жизни и что он находил в этом человеке? Почему он хорошо относился к столь несходным людям, как Целий и Брут? За какие черты характера он хвалил или порицал Помпея и Цезаря, Катона и Марка Антония, Клодия и Милона? Одним словом, что он хотел видеть в людях, чего искал в них и что старался им дать сам, как их оценивал и характеризовал?

На первом месте из всех близких Цицерону людей, конечно, стоит Тит Аттик, от которого мы не имеем ни одной строки (кроме кратких ссылок на его письма в ответах Цицерона), но который совершенно ясно выступает в письмах Цицерона как один из самых своеобразных характеров, сильно отличающийся



от обычных рядовых деятелей своего времени, не исключая и самого Цицерона.

«Ты, как более мудрый (Tu vero sapientior), обзавелся домом в Бутроте», — писал Цицерон Аттику (II, 6) в 59 г., когда в Риме ему приходилось нелегко из-за нападков на него Клодия. Бутрот — имение Аттика — лежало в Эпире, и Аттик проводил там большую часть своего времени; обладая значительным состоянием, он непрерывно приумножал его отдачей денег в рост, устройством «издательства» книг (покупая грамотных рабов, он размножал для продажи рукописи известных произведений) и различными другими финансовыми операциями; он не вступал на лестницу государственных должностей, предоставляя другим и почести и неприятности, связанные с ними, и тем не менее играл огромную закулисную роль во всех политических делах. Дружба Цицерона с Титом Помпонием Аттиком началась, видимо, в ранней молодости: Аттик родился в 109 г. до н. э., был только на три года старше Цицерона и учился вместе с ним; на его сестре женился младший брат Цицерона Квинт. Но эта дружба была несколько странной. Несомненно, Цицерон был гораздо больше привязан к Аттику, чем Аттик к нему, и считал его как бы своим руководителем (на каком основании?). Цицерон, считавший всякое уклонение от государственной деятельности и равнодушие к ней недопустимым и позорным для римского гражданина, ни разу за всю их долгую переписку не упрекнул Аттика в этом и считал его занятия очень полезными и важными. Уже в 67 г., помышляя еще только о претуре, Цицерон пишет ему: «... я не вызываю тебя, я даже против твоего приезда; не сомневаюсь, что для тебя много важнее твои занятия, нежели для меня — твое присутствие в комициях. Что касается меня, то ты найдешь, что я держусь и высказываюсь так, что словно все, чего я достигну, в моих глазах будет достигнуто не только в твоём присутствии, но благодаря тебе» (I, 10). Во многих других случаях он, напротив, умоляет Аттика скорее приехать в Рим, и постоянно рассчитывает на его помощь. «Постарайся, чтобы все хвалили и любили нас» (I, 15); «Жду, тебя, тоскую по тебе, даже призываю тебя. Слишком многое волнует и угнетает меня. Мне кажется, что, если бы ты выслушал меня, то я мог бы выговориться перед тобой в течение одной прогулки» (I, 18). «Горе мне! Отчего тебя здесь нет? От тебя, разумеется, ничто не ускользнуло бы. Я же, наверное, слеп» (II, 19).

Отправившись в изгнание и остановившись на краткий срок в одной из своих усадеб, Цицерон просит Аттика помочь ему добраться в Эпир, куда Аттик советовал ему направиться: «... Чтобы я мог воспользоваться защитой твоей и твоих людей <...> и принять надежное решение на основании твоего мнения <...> прошу тебя постараться немедленно выехать следом за мной» (III, 1). Аттик уклонился от выполнения этой просьбы и

остался в Риме, где, правда, много хлопотал о деле Цицерона и усердно помогал его семье. Но жалобы Цицерона, видимо, раздражали его, судя по таким словам Цицерона: «Ты часто укоряешь меня, что я так тяжело переношу это свое несчастье. Ты должен простить мне это, видя, что я в такой подавленности, в какой ты никогда меня не видел» (III, 13).

С этого письма (58 г.) прошло почти десять лет до начала гражданской войны. Цицерон приехал в Италию после года проконсульства в Киликии, радуясь возвращению в привычную обстановку и даже рассчитывая на триумф по поводу своих — весьма незначительных — военных успехов в Киликии, и неожиданно попал в разгорающуюся пламя междоусобной войны. Так же, как в год изгнания, он начинает осыпать Аттика письмами, иногда по несколько раз в день: «Прошу, пиши мне возможно чаще не только, если узнаешь или услышишь что-нибудь, но также, если что-нибудь заподозришь, особенно же о том, что мне, по-твоему, следует делать и чего не следует <...> Прости меня, пожалуйста, что я так часто и так много тебе пишу: ведь этим я <...> хочу выманить (elicere) у тебя письмо, а особенно совет, что мне делать и каким образом себя вести...» (VII, 12). Еще надеясь на примирение между Цезарем и Помпеем, Цицерон пишет письма то тому, то другому, и в то же время спрашивает Аттика о совете, даже заранее зная, как он ответит: «Совсем ничего не пиши», — скажешь ты» (VIII, 2). Тем не менее, Цицерон настоятельно продолжает просить совета: «Причина этого письма не только в том, чтобы не пропустить дня без письма тебе, но еще и другая, более законная: упротить тебя (ut a te impetrem) затратить некоторое время — совсем немного времени! — чтобы твои соображения стали для меня яснее, чтобы я понял их до конца: мне это очень нужно» (VIII, 12). Очевидно ясных советов Аттик не был расположен давать, и Цицерон недоумевает: «По твоим словам, ты рад, что я не уехал, и пишешь, что остаешься при своем мнении; но по твоему предыдущему письму мне казалось, что твое мнение именно в том, что мне надо ехать, если только отчалит и Гней <...> Ты ли плохо помнишь это, или я плохо тебя понял, или ты изменил свое мнение? Но либо из того письма, которого я жду, я увижу, каково же твое мнение, либо выманю у тебя другое» (IX, 2). Наконец, все еще колеблясь, ехать ли ему к Помпею или оставаться в Италии, Цицерон пишет Аттику: «Сводка (в тексте греческое слово *συναγωγή*) твоих советов была собрана мной не для сетований, а для собственного утешения. Ведь меня удручали не столько эти беды, сколько подозрения в моей виновности и безрассудстве. Но я считаю, что безрассудства здесь нет, так как мои поступки и решения соответствуют твоим советам» (IX, 13).

И все же Цицерон внезапно принял решение и последовал за Помпеем, несмотря на то, что и Цезарь в личных письмах

просил его этого не делать, и Целий, и Долабелла, и даже Марк Антоний писали ему убедительные письма, прося его остаться. Конец этой военной авантюры Цицерона, которому в эту пору было уже под шестьдесят, достаточно известен и печален: в начале июня 49 г. он покинул Брундисий и в начале ноября 48 г. вернулся в этот город, чтобы провести в нем, если не самый тяжелый, то самый скучный и угнетающий год своей жизни. Въезд в Рим ему был запрещен, и он сам признавался в первом письме, отправленном Аттику из Брундисия, что он, выехав из Италии, последовал «скорее какому-то душевному порыву, нежели размышлению» (XI, 5). Только в сентябре 47 г., после личного свидания с Цезарем, возвращавшимся из Египта по окончании Александрийской войны, Цицерон тоже вернулся домой. Бесчисленны и полны жалоб письма этого года, опять-таки направляемые все тому же неизменному Аттику; они в достаточной мере докучали этому рассудительному и хладнокровному человеку, и он ясно высказывал это, о чем не раз упоминает Цицерон: «Я действовал и неосмотрительно, как ты пишешь, и слишком поспешно...» (X, 19) «... Меня не оскорбляет правдивость твоего письма — то что ты даже не начинаешь, как обычно, утешать меня <...> и признаешь, что это невозможно» (XI, 14). «Я легко соглашаюсь с твоим письмом, в котором ты многословно излагаешь, что не можешь мне помочь никаким советом <...> Поэтому, раз у меня не появляется никакой надежды ни на твой совет, ни на какое-нибудь утешение, впредь не буду просить этого у тебя: я только хотел бы, чтобы ты не переставал писать мне обо всем, что ни придет тебе на ум...» (XI, 25). Однако Аттик не совсем покинул своего назойливого друга, а продолжал стараться уладить дело миром с Цезарем: «Ты советуешь мне применяться к обстоятельствам — и в выражении лица и в высказываниях» (XI, 24). «... Ты советуешь мне приспособляться в своих действиях к времени; я и сам поступал бы так, если бы обстоятельства это допускали» (XI, 21). И, наконец, узнав, что Цезарь скоро проедет через Брундисий, Цицерон опять обращается за советом к Аттику: «Так что, по-твоему, делать мне? <...> Поручить <...> извиниться за меня? <...> Прошу, обрати на это внимание и помоги мне советом, чего ты не сделал до сего времени, несмотря на частые мои просьбы. Знаю, что это трудно, но, как бывает в несчастиях, для меня очень важно даже видеть тебя» (XI, 22).

В сентябре 47 г. и этой беде, постигшей Цицерона, его вынужденному сидению в Брундисии, пришел конец. Началась жизнь в Риме под диктатурой Цезаря и последний взлет энергии старого Цицерона после мартовских ид. Нельзя не заметить, что переписка с Аттиком не только становится менее частой — в ней уже почти нет нужды, так как оба живут в Риме и Цицерон пишет Аттику только при своих выездах в усадьбы, — но и более

поверхностной и холодноватой. Аттик не одобрил и последнего проявления нерешительности Цицерона — ни его неудавшейся попытки уехать из Италии осенью 44 г., когда отношения между сенатом и Антонием были очень обострены, ни его отказа от этого намерения, хотя Цицерон, оправдываясь, сообщал ему: «Брут и Кассий <...> извещали о необычной надежде, что будет соглашение, что наши возвратятся в Рим. Они также прибавляли, что мое отсутствие чувствуют, что меня слегка осуждают. Услышав это, я без всякого колебания отказался от намерения уехать, которое, клянусь, даже ранее не радовало меня» (XVI, 7). Но привычка просить совета у Аттика и теперь не оставила Цицерона и он, оставшись в Италии, но не сразу возвратившись в Рим, опять пишет ему из Арпина: «Жадно жду твоего совета. Боюсь, что отсутствую, хотя для меня почетнее присутствовать. Но прибыть опрочетчиво не решаюсь» (XVI, 13 С). И последнее дошедшее до нас письмо к Атику заканчивается так: «Итак, мне следует приехать, хотя я попал даже в самое пламя — ведь пасть как частный человек позорнее, чем как государственный деятель <...> Не могу решить ничего определенного, пока не увижу тебя <...> Итак, приезжаю» (XVI, 15).

Несмотря на столь огромное число писем Цицерона к Атику, трудно объяснить, почему именно Атик был для Цицерона таким непрекращаемым авторитетом. По всей вероятности, причина кроется в диаметральной противоположности их характеров: постоянные колебания Цицерона, взвешивание мельчайших доводов «за» и «против» какого-либо решения было Атику чуждо; он либо умел сразу учитывать то и другое и делать вывод, либо, будучи неуверенным в исходе дела, занимал выжидательную позицию и способен был оставаться на ней долго, пока вопрос не выяснился окончательно. Именно этого не умел делать Цицерон, которого в таких случаях начинали обуревать такие разносторонние сомнения и соображения, что, утомленный ими, он предпочитал действовать очертя голову и начинал метаться из стороны в сторону. Отчасти это можно понять: единственный быстрый и решительный шаг, который он предпринял, — казнь сторонников Катилины — обошелся ему слишком дорого, чтобы внушить ему желание повторять подобные действия.

Едва ли можно назвать этого ближайшего друга Цицерона очень привлекательным симпатичным характером, но нельзя и отказать ему в верности своему неустойчивому ровеснику; он не раз выручал Цицерона и его семью из тяжелых финансовых затруднений и, упрекая Цицерона, как мы видели, в недостаточной обдуманности и энергии, никогда не ставил ему в вину его неумение обращаться с деньгами и его просьбы о денежной помощи. Он ценил ораторский и литературный талант Цицерона, которым сам едва ли обладал: хотя Цицерон иногда восхваляет его вкус, но о произведениях самого Аттика даже Корнелий

Непот в его панегирической биографии говорит мало. Аттик написал обзор истории Рима в чрезвычайно сжатой форме, составлял точнейшие генеалогические таблицы известных родов и, желая испытать свои силы и в поэзии, изложил жизнь и деяния знаменитых мужей, посвятив каждому не больше четырех или пяти стихов, что вызывает изумление Непота: «Едва можно поверить, что так много событий он сумел изложить столь кратко» (гл. 18). Главным его талантом было умение обходиться с людьми: нельзя перечислить имена лиц, о которых Цицерон пишет «твой друг», причем это лица самых разных политических направлений. Сам Аттик принадлежал к всадническому сословию, придерживался умеренных взглядов, но в ночь заговора Катилины занял Капитолий с вооруженным отрядом, несмотря на свою якобы полную непричастность к политическим интересам. Его обходительность — и, конечно, большие денежные средства — снискали ему благоволение столь несхожих лиц, как Сулла, Брут, Марк Антоний и Октавиан, который, уже став принцепсом, женил своего ближайшего помощника, крупного военачальника Агриппу, на дочери Аттика. Аттик пережил Цицерона на одиннадцать лет и умер, окруженный всеобщим уважением, в 32 г. до н. э., в возрасте 77 лет.

На отношениях Цицерона и Аттика надо было остановиться более подробно потому, что они наиболее полно раскрывают именно человеческие черты Цицерона, не замаскированные ни политическими, ни служебными, ни профессиональными интересами. Эта дружба, продолжавшаяся почти полвека, была для Цицерона одной из самых насущных потребностей его духовной жизни.

На втором месте среди близких Цицерону людей стоит, несомненно, его младший брат Квинт. Характер Квинта, если судить по письмам Цицерона, адресованным к нему, симпатий не вызывает: желчный, упрямый, вспыльчивый и самоуверенный, он, в противоположность старшему брату, имел мало друзей и был нелюбим домашней челядью (он погиб во время тех же проскрипций, что и брат, но его рабы не пытались его спасти, а участвовали в его убийстве). Цицерон знал все эти дурные черты брата и старался его обуздать: когда Квинт был избран претором провинции Азии и должен был провести там два года, Цицерон был счастлив и с гордостью писал об этом Аттику, называя Квинта «своим любимейшим братом» (К Аттику, I, 15), но, когда Квинт, по прошествии двухлетнего срока, оставил в должности претора еще и на третий год, а до Цицерона дошли неблагоприятные слухи о его поведении, он счел себя обязанным дать ему братское наставление: «Все приезжающие, — пишет он, — говорят о твоей высокой доблести, неподкупности и доброте, но <...> все-таки отмечают твою гневливость <...> Ничто не может быть столь безобразным, как сочетание высшей власти со свире-

постью! <...> Вот что сообщают мне почти все: когда ты в хорошем настроении, то все согласны, что нет человека, приятнее тебя; но когда тебя возмутила чья-либо бесчестность или развращенность, ты так выходишь из себя, что никто не находит и следов твоей доброты <...> Я ведь не требую, чтобы ты изменил свой душевный склад — это, пожалуй, трудно каждому человеку, тем более в нашем возрасте <...> Но я советую тебе, если ты не можешь полностью избежать этого, заранее подготавливай себя и ежедневно внушай себе, что тебе следует подавлять в себе гнев: <...> ты должен всеми силами сдерживать свой язык <...> В этом отношении, как мне сообщают, ты уже более покладист и более мягок: мне не говорят ни о каких жестоких вспышках гнева, ни о каких ругательствах, ни о каких оскорблениях, которые чужды образованию и доброте и особенно несовместимы с властью и достоинством <...> Но так как в течение первого года твоего правления было более всего разговоров и упреков по этому поводу, потому что людская несправедливость, алчность и высокомерие, думается, представлялись тебе невыносимыми, а второй год был значительно мягче, потому что и привычка, и рассудок, и, как я полагаю, мои письма сделали тебя более терпеливым и кротким, то в течение третьего года ты должен исправиться настолько, чтобы никто не мог упрекнуть тебя даже в какой-нибудь ничтожной мелочи» (К Квинту, I, 1 § 37—39). «Я бесконечно люблю тебя и поэтому хочу для тебя великой славы <...> Я молю тебя и советую тебе следующее: <...> прояви особое старание, чтобы этот третий год пребывания у власти оказался самым совершенным и прекрасным. Легче всего этого ты достигнешь, если будешь верить, что я, которому ты всегда хотел угождать больше, чем всем, взятым вместе, я всегда с тобой и участвую во всем, что ты скажешь и совершишь» (там же, § 45—46). За некоторыми традиционными риторическими тирадами этого огромного письма-наставления чувствуется все же подлинная забота и братская привязанность.

Во время изгнания Цицерона Квинт старался по мере возможности помочь старшему брату и хлопотал перед влиятельными лицами о его возвращении; но такого чувства, которое питал к нему старший брат, Квинт, по-видимому, не испытывал. В 50-е годы он вышел из-под влияния брата и стал решительным сторонником Цезаря, к которому он отправился служить в Галлию. На недолгое время он примкнул к Помпею, как и старший брат, но не вместе с ним и не по совместному решению, а после поражения Помпея немедленно обратился к Цезарю с просьбой о прощении, послав к нему предварительно своего молодого сына, и легко добился выполнения своей просьбы. Именно в это время он показал себя с наихудшей стороны: между тем, как старший брат уже из Брундисия послал Цезарю письмо, прося его не за себя, а за Квинта, этот последний, — а еще больше его сын, тоже

Квинт — всячески старались очернить Цицерона в глазах Цезаря, чем глубоко его уязвили: «К моим невероятным огорчениям, — пишет Аттику Цицерон, — прибавляется кое-что новое от того, что мне сообщают о Квинтах. Мой родственник Публий Теренций <...> видел Квинта-сына в Эфесе и любезно пригласил его к себе, зная о нашей дружбе. Когда он стал расспрашивать его обо мне, тот <...> сказал ему, что он злейший враг мне и показал ему свиток с речью против меня, которую он собирался держать перед Цезарем. Теренций долго спорил против его безумия; однако впоследствии в Патрах Квинт-отец говорил с ним о многом в столь же подлом духе. О бешенстве Квинта ты можешь заключить из тех писем, которые я тебе послал. Я уверен, что и тебя это огорчит; меня это терзает...» (К Аттику, XI, 10).

Вмешательство Аттика несколько уgomонило и отца и сына и по возвращении Цицерона в Рим семейные отношения снова наладились.

В двух философских диалогах, «О законах» (53 г.) и «О предсказании» (45 г.), Цицерон вывел Квинта в качестве действующего лица, защищающего самые старозаветные взгляды. О литературных опытах Квинта он отзывался очень хорошо, хвалил его стиль, посвятил ему свой диалог «Об ораторе» и вообще был, видимо, несколько ослеплен талантами младшего брата. От самого Квинта сохранилось только несколько писем к Тируну, а памятником его самоуверенности остается его «Краткое наставление по соисканию должности консула», с которым он обратился к Цицерону в 64 г., перед выборами его в консулы. С видом опытного политического деятеля он, не достигши еще претуры, поучает старшего брата, каким путем ему следует добиваться консульства. Нельзя отказать ему в хитроумии и практической, но никаких признаков ни большого ума, ни доброты, ни литературного таланта, т. е. ни одного из тех качеств, которые так хотелось видеть в нем его брату, в этом произведении незаметно.

Отношения Цицерона с членами его собственной семьи, возможно, были несколько теплее, чем это было принято в традиционной римской семье. О своих двух детях, дочери и сыне, он говорит с вниманием и заботой; по всей вероятности, необычным с точки зрения «нравов предков», является то, что он не сосредоточивает всех своих интересов на продолжателе рода, юном Цицероне, а не менее нежно любит дочь; преждевременная смерть этой несчастной молодой женщины повергла его в отчаяние, тем более, что он считал себя отчасти виновником ее печальной участи: ее рано выдали замуж, но и первый и второй ее муж умерли молодыми, а третий, талантливый, но распущенный Долабелла, был ей неверен, бросил ее, когда она уже ожидала ребенка от него; и ребенок, и она умерли скоро после родов.

Семейная жизнь не занимала слишком важного места в жизни римского гражданина. Политические и служебные интересы были

для него гораздо важнее. На этом поприще Цицерону пришлось стоять бок о бок с крупнейшими деятелями этого времени и все время определять тем или иным образом свое отношение к ним. И здесь прежде всего надо познакомиться с его оценкой Помпея и Юлия Цезаря.

История отношений Цицерона с Помпеем весьма сложна. Многолетняя совместная карьера этих двух «новых людей», вышедших из сословия всадников и достигших высокого положения и величайших почестей, отнюдь не была основана на подлинной дружбе, взаимной симпатии и уважении, — связь между ними то укреплялась, то ослабевала в зависимости от колебаний политической ситуации, внешней и внутренней. Оба начинали военную службу под начальством Помпея Страбона, отца Гнея Помпея, но скоро пути их разошлись: Помпей после какой-то довольно странной военной авантюры — службы в лагере Цинны — отправился к Сулле и стал его близким помощником; Цицерон на несколько лет удалился в частную жизнь и не принимал никакого участия в страшных столкновениях между Суллой и Марием, в которых погибли от руки марианцев глубоко чтимые Цицероном его учителя — авгур Муций Сцевола и его двоюродный брат, известнейший в ту пору юрист. Более десяти лет политические линии Цицерона и Помпея не соприкасались друг с другом, и только в конце 70-х годов, когда Помпей, победивший Сертория и присвоивший себе плоды победы Красса над Спартаксом, отпраздновал уже два триумфа и стремился к консульству, а Цицерон взялся за трудное дело обвинения Верреса, поддерживаемого сенатской олигархией, эти линии, направленные на укрепление позиций всадников — особенно в судах, — опять сошлись. В 66 г. Цицерон выступил со своей первой чисто политической речью «О Манилиевом законе, или О предоставлении Гнею Помпею верховного командования в войне с Митридатом». Он так ратовал в пользу Помпея, так восхвалял его честность, его военный талант (действительно только что проявившийся в блестящей победе над пиратами) и его особое «счастье», доказывавшее благосклонность к нему богов, что можно было принять этих двух преуспевающих деятелей за искренних близких друзей. После этого хода, окончившегося полным успехом для Помпея, они опять расстались до 61 г., когда Помпей после победы над Митридатом вернулся в Рим и скоро почувствовал, что после его долгого пребывания в Азии почва под его ногами уже не так прочна, как до его отъезда; в это же время пошатнулось и положение Цицерона, продолжавшего чрезмерно гордиться своей победой над Катилиной. Именно в этот период, до изгнания Цицерона в 58 г., и Цицерон и Помпей усердно заверяли друг друга в искренней дружбе, а на самом деле оба боялись своих общих врагов — сенатского нобилитета, с одной стороны, и буйного Клодия, действовавшего при молчаливом попустительстве Цезаря, с другой. Эти



годы особенно ярко освещены в письмах Цицерона к Аттику, который, как видно из многих высказываний, всегда относился к Помпею с холодным недоверием и предостерегал Цицерона от излишней доверчивости.

Хотя Помпей во время разоблачения заговора Катилины был очень далеко от Рима, но Цицерон известил его о своем торжестве и, не вызвав со стороны Помпея достаточно пылких — по его мнению — выражений восторга, высказал ему свое недовольство: «Что касается письма, полученного от тебя, то оно, хотя в нем и слабо выражено расположение ко мне, все же было мне приятно, ибо <...> меня ничто так не радует, как сознание выполненных обязанностей, и если мне когда-либо не воздают должного, то я легко примирюсь с тем, что я оказался более верен своему долгу. Не сомневаюсь в том, что если моя величайшая преданность тебе еще мало расположила тебя ко мне, то дела государственные сблизят и соединят нас». И далее: «Я совершил действия, за которые ждал некоторого поздравления в твоём письме, как ради наших дружеских отношений, так и ради государства <...> Но знай: то, что мы совершили для спасения отечества, оценено, одобрено суждением и свидетельством всего мира. По приезде ты узнаешь, сколько в моем поведении благоумия и силы духа» (К близким, V, 7).

Но поведение самого Помпея после возвращения в Рим тоже заслуживало неодобрение Цицерона. В письме от января 61 г. он пишет Аттику: «О твоём известном друге ты написал мне, что он хвалит меня оттого, что не смеет порицать. Да, он открыто показывает, что высоко ценит меня, обнимает, любит, явно хвалит; втайне же, — но так что это очевидно, — он мой недоброжелатель. Никакого дружелюбия, никакой искренности, никакой ясности в государственных делах, никакой честности, никакой смелости, никакой независимости у него нет» (К Аттику, I, 13). Столь же неодобрительно он отзывался и о первой речи Помпея в комициях (в том же 61 г.): «Неприятная для бедняков, пустая для злонамеренных, негодная богатым, неубедительная для честных» (К Аттику, I, 14); но о второй речи он отзывался уже мягче, так как «Помпей произнес длинную речь в весьма аристократическом духе — авторитету сената он придает и всегда придавал величайшее значение во всех делах» (там же). Впрочем, и в этой речи Цицерону понравилось главным образом то, что Помпей одобрительно отзывался о консульстве самого Цицерона, хотя, на его вкус, все же слишком кратко и сдержанно; зато Крассом, вознесшим Цицерона до небес, Цицерон очень доволен и отмечает: «Этот день очень сблизил меня с Крассом, однако я охотно принял и все то, что более или менее скрыто воздал мне и другой» (т. е. Помпей).

Чем больше Помпей сблизается с сенатом, тем более благоприятными становятся отзывы Цицерона; в 50 г. он уже назы-

вает Помпея «предметом своей любви» (*nostrī amores*) (К Аттику, II, 19), хотя этот эпитет звучит все же несколько иронически, тем более, что в следующем письме он, сообщая Аттику, что «Помпей любит меня и расположен ко мне», пишет дальше: «Ты веришь? — скажешь ты. Верю: он совершенно убеждает меня в этом, — правда, именно потому, что я этого хочу. Опытные люди <...> советуют мне остерегаться и запрещают верить: первое я выполняю и остерегаюсь; второго — не верить — выполнить не могу» (К Аттику, II, 20). Оказалось, что действительно было лучше не верить, так как Помпей, хотя и неоднократно заверял Цицерона, что он защитит его от Клодия, сделать ничего не смог, а, возможно, и не захотел.

Чьему заступничеству Цицерон был обязан своим возвращением из изгнания, из его собственных писем установить трудно — вернее всего, негласным ходатайствам Аттика; в сенате же — консулам 57 г. Лентулу Спинтеру и Метеллу Непоту. Последний, обидевший Цицерона по окончании его консульства тем, что не позволил ему выступить с прощальной речью перед народом, пришел на помощь Цицерону, попавшему в беду. Цицерон в первых письмах и речах по возвращении из изгнания, говорит именно об этих лицах, но чем дальше, тем больше он убеждается — вернее, убеждает себя, — что ему помог Помпей. На чем основаны его постоянные упоминания об этом, неизвестно; но в самый тяжелый год, 49-й, когда разгоралась гражданская война, Цицерон в письмах Аттику не раз упоминает о своем моральном долге по отношению к Помпею, о своей глубокой благодарности. Впрочем, поведение самого Помпея, его бегство из Рима он самым резким образом осуждает и полностью разочаровывается даже в его военном таланте, который действительно как будто покинул Помпея в гражданской войне, проявив себя столь блестяще в войнах внешних. Всю первую половину 49 г. до своего неожиданного для всех выезда в Эпир, Цицерон ведет переписку и с Помпеем, и с Цезарем, и с Целием Руфом и не может решиться, что ему делать: «Только мысль о Помпее волнует меня — я думаю о его услуге, не о его авторитете. И, право, каким авторитетом может обладать тот, кто, когда мы все опасались Цезаря, сам его любил, а когда сам начал опасаться его, хочет, чтобы все стали его врагами?» (К Аттику, VIII, 1). «Меня мучит одно, что я не последовал, как простой пехотинец за Помпеем, когда он скользил вниз, вернее, падал <...> Я видел его за 13 дней до февральских календ, полным страхом; он ни разу не заслужил моего одобрения и не переставал делать одну оплошность за другой <...> Он ничего мне не написал, ни о чем не думал, кроме бегства <...> Безобразие его бегства и беспечность отвратили меня от любви; ведь он не делал ничего достойного того, чтобы я стал спутником его бегству. Но теперь вновь возникает любовь (*emergit amor*) и теперь я не могу перенести тоски...» (К Аттику,

IX, 10). Напрасно Аттик убеждал Цицерона, что и эта привязанность, и этот долг — плод фантазии. «Что касается твоих слов, будто более вследствие моих заявлений, нежели благодаря его заслугам, я кажусь в таком долгу у него, то это так и есть. Я сам всегда превозносил их и притом больше для того, чтобы он не думал, что я помню о прошлом<sup>2</sup> <...> Он ничем не помог мне, когда был в состоянии; но впоследствии он был мне другом, даже большим <...> также и я ему <...> Я только не хочу оскорбить его, оставаясь здесь» (К Аттику, IX, 13).

И все же, хотя сам Цезарь просил Цицерона не уезжать (это письмо Цицерон привел полностью в письме к Аттику от 2 мая), хотя Долабелла в последний момент пытался остановить его (К близким, IX, 9), Цицерон последовал за Помпеем. После этого долгое время он не упоминает больше о Помпее и только в письме из Брундисия через 5 месяцев после фарсальской битвы, уже после трагической гибели Помпея, он говорит о нем, на этот раз в примирительном тоне: «Конец Помпея никогда не внушал мне сомнений: ведь все цари и народы пришли к убеждению о полной безнадежности его дела, так что я считал, что это произойдет, куда бы он ни прибыл. Не могу не горевать о его судьбе: ведь я знал его как человека неподкупного, бескорыстного и строгих правил» (К Аттику, XI, 6). Но, похвалив Помпея за его личные моральные качества, он с отвращением отзываясь в том же письме к Аттику о его сторонниках: «Столь сильна была в них жестокость, столь силен союз с варварскими племенами, что проскрипция была составлена не поименно, а по родам <...> О тебе всегда помышляли с особой жестокостью» (там же). В письме же к Папирию Пету от 46 г., в последний раз возвращаясь к воспоминаниям о гражданской войне и опять оправдывая себя за то, что он мирно живет в Тускуланской вилле, он говорит: «Я ограждаю себя применительно к нынешним обстоятельствам <...> разве только, пожалуй, лучше было бы умереть <...> Правда прочие — Помпей, Лентул, Сципион, Афраний — погибли мерзко (*foede perierunt*), но Катон — прекрасно <...> Как раз это (т. е. самоубийство) будет открыто и для меня, когда захочу» (К близким, IX, 18). Это его последний отзыв о Помпее.

Среди сторонников Помпея, которые пытались продолжать сопротивление Цезарю, были, несомненно, люди двоякого рода: немногие честные приверженцы старого римского строя аристократической республики и огромное число людей, желавших вернуть свои богатства в Италию и жаждавших отомстить тем, кто на них посягнул. Худшими представителями этих последних были сыновья Помпея, Секст и Гней. Унаследовав грубость отца без его таланта, они вызывали единодушную ненависть всех, кто имел с ними дело, и только их военные неудачи и ранняя смерть спасли

<sup>2</sup> Т. е. о равнодушно поведении Помпея перед изгнанием Цицерона.

Рим от их жестокости. Кассий, отправляясь на Восток в 45 г., когда Цезарь еще воевал в Испании, писал Цицерону: «Пусть погибну я <...> если не лучше иметь старого и снисходительного господина вместо того, чтобы испытать господство нового и жестокого. Ты знаешь, как Гней глуп; ты знаешь, как он убежден, что мы всегда высмеивали его. Опасаюсь, как бы он не захотел в отместку «посмеяться» мечом» (К близким, XV, 19).

Если отношения Цицерона к Помпею все время колеблются, но в общем он скорее симпатизирует ему, то в его оценке Цезаря преобладает чувство неодобрения и опасения. Помпею он простил его трусость и холодность в то время, когда Цицерон нуждался в его помощи, Цезарю он никогда не мог простить его покровительства Клодию. Восхищаясь подвигами Помпея на Востоке, он очень мало уделяя внимания военным успехам Цезаря на Западе. Не вполне понятно, почему Цицерон так относится к Цезарю: может быть, в нем подсознательно жило чувство зависти к младшему школьному товарищу, более блестящему и одаренному, чем он сам; может быть, не обладая сам сильной волей, он боялся подпасть под власть этого волевого человека и упорно сопротивлялся этому! Но прослеживая историю их отношений, можно только удивляться, как уклончиво и холодно отвечает Цицерон на разные лестные предложения и уговоры Цезаря, который был явно заинтересован в установлении прочных дружественных отношений. Квинт Цицерон, напротив, преклонялся перед Цезарем, всячески старался заслужить его благосклонность и для себя и для брата и не раз просил брата написать Цезарю. В ответах Цицерона всегда звучит ирония. «О его исключительной любви к нам мне сообщают со всех сторон» (К Квинту, II, 10). «Я, как ты знаешь, уже давно воспеваю Цезаря: поверь мне, он у моего сердца и я его не потеряю», (К Квинту, II, 11) (в латинском тексте шутка — «он у меня за пазухой (mihi crede, in sinu est), и я не стану развязывать пояса (neque ego discingor)», т. е. не выроню его). В дальнейшем Цицерон с удовлетворением вспоминает о милостях Цезаря к нему и брату. Но вот Цезарь переходит к решительным действиям и не повинует сенату. Цицерон негодует: «Цезарь настолько бессовестен, что удерживает за собой войско и провинцию против воли сената» (К близким, XVI, 11). «Что совершается? <...> О полководце ли римского народа мы говорим или о Ганнибале? О безумный и жалкий человек! И все это он, по его словам, делает во имя своего достоинства! Но где достоинство, если не там, где честность? Честно, следовательно, иметь войско без всякого официального решения? занимать города, населенные гражданами? чтобы легче был доступ в отечество, задумать отмену долгов, возвращение изгнанников, тысячу других преступлений <...> Пусть он изведает свою судьбу <...>» (К Аттику, VII, 11). Весной того же года он предсказывает Цезарю скорую гибель, как «тиранну», ссылаясь при

этом на Платона: «Он, как я предвижу, не может устоять дольше, но сам собой падет <...> Это царство (regnum) едва ли может быть шестимесячным <...> Он неизбежно погибнет или из-за противников, или сам из-за себя — он сам себе худший противник. Это, надеюсь, произойдет при нашей жизни» (К Аттику, X, 8). Этого мнения Цицерон не изменил и во время диктатуры Цезаря: в письме к другу Цезаря, Матию, написанном уже после гибели Цезаря, он опять называет Цезаря царем (rex), «каким он всегда был в моих глазах» (К близким, XI, 27), и опять кончает риторической фразой: «Свободу отечества следует ставить выше, чем жизнь друга!», — на что Матий, повторяя эту же самую фразу, отвечает: «Говорят, что отечество следует ставить выше дружбы, — словно уже доказано, что его гибель была полезна для государства!» (К близким, XI, 28). Вероятно, Цицерону не раз пришлось вспомнить эти слова при измене Лепида, колебаниях Брута, издевательских выходках Антония и двуличном поведении Октавиана.

Свою антипатию к Цезарю Цицерон в известной степени перенес и на усыновленного Цезарем внука его сестры, молодого Октавиана, который прибыл в Рим девятнадцати лет от роду, чтобы вступить в права наследования по завещанию «отца», и вскоре стал вершителем судеб римского государства. Ему, как и Цезарю, хотелось сделать Цицерона своим орудием, использовать в полной мере его ораторский талант и многолетний авторитет, но Цицерон не поддается полностью на его хитрые уловки и дает меткую характеристику его в письме к тому же старому другу Аттику: «У Октавиана, как я понял, достаточно ума, достаточно присутствия духа <...> Но насколько следует верить его возрасту, его имени, его наследственности, его воспитанию — обо всем этом еще надо подумать. Отчим его, по крайней мере, полагал, что — нисколько <...> Но все же следует вскармливать и, самое главное, отвлекать от Антония» (К Аттику, XV, 12). Это мнение Цицерон сохранил до конца (см. К Аттику, XVI, 9 и XVI, 15), и оно оказалось правильным.

Интересно остановиться вкратце на отношении Цицерона к прямому антиподу обоих хитроумных представителей рода Юлиев — к Катону, кончившему жизнь самоубийством, когда безнадежность сопротивления Цезарю стала неопровержимой. Его смерть произвела огромное впечатление на всех поклонников старой республики и «заветов предков». Цицерон, собираясь во время диктатуры Цезаря сочинять панегирик деяниям Катона, пишет Аттику: «... он предвидел то, что произошло теперь, он боролся за то, чтобы это не совершилось, и, чтобы не видеть уже совершившегося, он расстался с жизнью» (К Аттику, XII, 4). Свою задачу восхваления Катона при жизни Цезаря он — вполне справедливо — называл «Архимедовой проблемой», но тем не менее выполнил ее. Цезарь был обижен и написал в ответ два пам-

флота — «Антикатоны», но своей благосклонности Цицерона не лишил.

Восхищаясь Катонам за его стойкую преданность республике, непоколебимую принципиальность и честность, Цицерон, тем не менее, заседая с ним в сенате, не раз терял терпение именно из-за этих его качеств, мешавших «согласию всех порядочных людей» — основной политической программе Цицерона. «Я люблю нашего Катона не меньше, чем ты, — писал он Аттику, — а между тем, он с наилучшими намерениями и со своей высокой добросовестностью нередко наносит государству вред. Он высказывается так, словно находится в «государстве» Платона, а не среди подонков Ромула» (К Аттику, II, 1).

В письмах Цицерона обрисованы не только самые видные политические деятели его времени, но и те, которые пытались стать таковыми, — Клодий и Милон. Вражда между Цицероном и Клодием — тема достаточно известная, и нет необходимости цитировать множество отрицательных отзывов и презрительных, иногда даже довольно грубых, выпадов, которыми Цицерон, обычно мягкий и вежливый, честил своего недруга, описывая свои столкновения с ним. Однако из некоторых писем к Аттику видно, что этой вражды можно было бы избежать или во всяком случае не обострять ее, если бы Цицерон умел тоньше оценивать факты и предвидеть их последствия. Когда в доме Цезаря во время празднества «Доброй богини», на котором могли присутствовать только женщины, и куда явился одетый в женское платье Клодий, разразился скандал и было прервано жертвоприношение, то Цицерон сперва воспринял этот эпизод с его комической стороны и в письме к Аттику упомянул о нем лишь мимоходом: «Ты, я думаю, слышал, что Публия Клодия, сына Аппия, застали переодетым в женское платье в доме Гая Цезаря <...> и что маленькая рабыня безопасно вывела его из дома; дело это чрезвычайно позорное. Я уверен, что тебе это очень огорчительно. Больше мне не о чем писать тебе» (К Аттику, I, 12). Это беглое сообщение не свидетельствует о живом интересе к делу Клодия, но в нем есть не вполне ясный намек — что это дело будет крайне неприятно Аттику (*te moleste ferre certe scio*). Невольно возникает вопрос: почему это ему будет так неприятно? Какое дело Аттику, находящемуся в это время в Афинах, до любовных походов Клодия? Позволительно предположить, что Аттик уже тогда понимал, какой опасной фигурой является Клодий, и хотел, в целях безопасности имущих граждан<sup>3</sup>, привлечь его на сторону оптиматов, что едва ли представило бы большие трудности при финансовых возможностях Аттика и склонности Клодия к веселой жизни и легкому успеху. Но выполнить это намерение после шумевшего скандала и ожидавшегося судебного процесса по «ко-

<sup>3</sup> «Ведь наше войско, как ты знаешь, составляют состоятельные люди», — писал Аттику вполне откровенно Цицерон (I, 18).

щунственному» деянию было бы уже неудобно — Аттик не любил шума.

Выше приведенное письмо к Аттику помечено 1-м января 61 г. В конце января Цицерон пишет Аттику о деле Клодия уже гораздо подробнее и раскрывает отношение к нему различных групп сенаторов: «Цезарь известил жену о разводе <...> Пизон, из дружбы к Публию Клодию, прилагает старание к тому, чтобы предложение, которое вносит он сам, и вносит на основании постановления сената, и притом по делу об оскорблении религии, было отвергнуто. Мессала<sup>4</sup> действует до сего времени со всей строгостью. Честные граждане, уступая просьбам Клодия, отстраняются от дела; вербуются шайки сторонников. Я, настроенный вначале, как Ликург, с каждым днем становлюсь все мягче. Катон настаивает и торопит. Что еще сказать? Боюсь, как бы все это, не будучи доведено до конца честными гражданами и найдя защиту злонамеренных, не причинило государству великих несчастий» (К Аттику, I, 13). Опять возникает вопрос: почему Цицерон «с каждым днем становился мягче?» Не по совету ли Аттика, который был прозорливее Цицерона и ясно предвидел те «великие несчастия», которых Цицерон еще только опасался?

Впоследствии Цицерону пришлось жестоко поплатиться за то, что он не сохранил своего «мягкого» отношения к проступку Клодия, а поддался влиянию Катона, о котором он сам через недолгое время высказал такое мнение: «мне кажется, он действует больше своей стойкостью и неподкупностью, нежели продуманностью и врожденным умом» (К Аттику, I, 18). В деле Клодия Катон показал себя именно таким. При разборе дела в сенате было решено отдать Клодия под суд и отношения с ним уже непоправимо обострились, хотя на этом заседании сената он еще «бросался в ноги каждому сенатору по очереди» (К Аттику, I, 14). Но это ему не помогло и он, по словам Цицерона, «стал произносить подлые речи, в которых грубо оскорблял Лукулла, Гортенсия <...> и консула Мессалу. Меня он обвинил только в том, что я «собрал сведения» (там же). Даже из этой оговорки видно, что Клодий не шел еще на резкий разрыв с Цицероном.

Наконец летом 61 г. состоялся суд, на котором Клодий был оправдан 31 голосом против 25. Подробный отчет о причинах такого неожиданного приговора Цицерон посылает Аттику и с искренним возмущением описывает широко развернутую систему подкупов и посулов. В организации подкупов он обвиняет, по-видимому, Красса, а в исходе суда — настойчивого Гортенсия: «он не понял, что лучше было бы оставить Клодия под подозрением, чем предать недостойному суду... На 31 судью голод оказал больше действия, чем дурная слава». С этого момента

<sup>4</sup> Пизон и Мессала — консулы 61 г.: о первом Цицерон говорит: «человек недумный и к тому же дурной», о втором: «усердный защитник партии честных» (К Аттику, I, 13).

Цицерон, упиваясь собственным красноречием, начал яростно громить Клодия и над ним издеваться: «Я поддержал павших духом честных граждан, каждого успокаивая и ободряя; преследуя продажных судей и не давая им покоя, я пресек дерзкие речи всех его сторонников и пособников его победы <...> Клодия в его присутствии я сокрушил и речью, преисполненной важности, и в прениях». Цицерон остался крайне доволен собой после этого выступления: обычно вполне откровенный в письмах к Аттику и умеющий даже подшутить над потоком своих красивых слов, в этом письме он беззастенчиво восхваляет себя: «Я сражался так яростно и напористо, что вызвал крики одобрения и огромное стечение народа, услышал величайшие похвалы <...> Если я когда-либо казался тебе обладающим гражданским мужеством, то ты, конечно, восхищался бы мной в этом деле <...> Часто я желал твоего присутствия не только ради твоих советов, но и для того, чтобы ты видел достойные удивления битвы» (К Аттику, I, 16).

Война между Клодием и Цицероном была, таким образом, объявлена; едва ли благоразумный Аттик был от этого в таком же восторге, как Цицерон. Можно предположить по ответу Цицерона от мая 60 г., что Аттик пытался образумить своего самодовольного друга: «То, что ты пишешь мне о государственных делах, ты рассматриваешь по-дружески и разумно, и твои взгляды не далеки от моего понимания вещей <...> От сената, однако, ничто меня не оторвет, ибо это и есть правильный путь, и он вполне соответствует моим интересам» (К Аттику, I, 20). В дальнейшем он сообщает о планах Клодия, о его намерении перейти в плебеи и стать народным трибуном, но и в это время он еще вступает в личные грубовато-шутливые разговоры с Клодием. Но затем, в течение 59 г., их отношения все обострялись и в конце концов привели к вооруженным схваткам и к отъезду Цицерона в изгнание.

После возвращения из изгнания в Рим, Цицерону на несколько лет пришлось вступить в близкие политические отношения с противником Клодия, придерживавшимся других убеждений (если таковые у него были), но тех же методов борьбы. Союз Цицерона с Милоном был в значительной степени вынужденным, и в своих частных письмах Цицерон нигде не отзывается о Милоне с такими похвалами, как в своей знаменитой защитительной речи: напротив, он порицает его за неразумную расточительность в устройстве игр (К Квинту, III, 6), а его моральные качества оценивает весьма невысоко. Почти немедленно по возвращении он пишет Аттику накануне ожидающейся крупной вооруженной схватки между шайками Милона и Клодия: «Мне кажется, Публий будет привлечен к суду Милоном, если не будет убит раньше; если же он попадется ему в свалке, то Милон его убьет. Милон не колеблется, он тверд и не боится того, что было



со мной. Ведь он никогда не воспользуется советами какого-нибудь недоброжелателя или предателя, не поверит трусу знатного происхождения» (К Аттику, IV, 3).

Под конец своей жизни Цицерон стал все больше разочаровываться в людях, но не мог не поддаваться первому впечатлению, если оно было благоприятным. Даже Марка Антония, который сильно обидел его во время гражданской войны, запретив ему выезд из Италии, он в первые дни после смерти Цезаря восхваляет за верность сенату. Цену этой верности он скоро понял и возненавидел Антония так, как даже Клодия не ненавидел. Еще более горьким разочарованием была для него полная неспособность к решительным действиям у тех людей, которых он искренно прославлял как героев-тиранноубийц — Брута и Кассия. После свидания с ними в Антии он делится все с тем же Аттиком своими печальными впечатлениями: «Я увидел, что корабль совершенно разломан, или, вернее, развалился на куски — ни разумности, ни стройности, ни порядка» (К Аттику, XV, 11). И через несколько месяцев: «Письмо Брута тебе посылаю. Все-блажие боги, какая беспомощность!» (XV, 29).

Огромное число современников проходит перед нами в письмах Цицерона. Мы почти ничего не знали бы о Целии, Курионе и Долабелле, о Матии, Варроне и Пете, о Метеллах, кроме их имен и, в лучшем случае, некоторых фактов их политической деятельности. Живыми людьми все они становятся для нас только благодаря письмам Цицерона.

## „ПИСЬМА К ЛУЦИЛИЮ“ СЕНЕКИ-ФИЛОСОФА



Все литературное творчество Луция Аннея Сенеки самым тесным образом связано с его философией. И лучшее из его произведений — «Письма к Луцилию» — служит тому убедительным примером. В этих письмах Сенека выступил одновременно и как крупный мыслитель, и как блестящий стилист и художник, представивший интересный и весьма оригинальный образец римской эпистолографии I в. н. э.

«Письма к Луцилию» — это небольшие философско-литературные этюды на различные этические темы, созвучные времени и так или иначе отвечающие настроениям и устремлениям самого философа. В них разрабатываются заимствованные у стоиков основные проблемы теории морали применительно к новым условиям, выдвинутым римской действительностью времени ранней империи. И если сами по себе моральные идеи, излагаемые Сенекой, не новы, все же они получили у него свое новое развитие и выражение в приложении к вопросам, касающимся практической нравственной жизни римлян.

Сама жизнь этого периода определяла новые пути развития философии. Социально-политическая обстановка империи, сложная и противоречивая, способствовала особенно широкому распространению философии стоицизма. Деятельность императоров, направленная на укрепление власти, вызывая отрицательную реакцию со стороны сенатской аристократии, все более и более обостряла отношения с сенатом. Борьба императоров с сенатской оппозицией, постоянные политические перевороты, необеспеченность экономической жизни, произвол крупных рабовладельцев и императоров, отражаясь на всех слоях населения, особенно остро ставили вопрос о моральных и правовых нормах поведения человека.

В центре внимания стоиков как раз и стояли проблемы нравственности, проблемы совершенствования личности. Общественные условия подавляли политическую активность писателей и философов, заставляли их отстраняться от острых вопросов совре-

менности и замыкаться в своем внутреннем мире. Здесь они находили опору стоическому учению. Оно было единственно возможным выражением протеста, идеологией пассивного сопротивления для сенатской аристократии. По учению стоиков человек должен был закалять и развивать свою волю, приучаясь терпеливо и стойко переносить все жизненные невзгоды. Стоицизм проповедовал независимость от материальных благ, утверждая как высшую цель человека индивидуальную добродетель, или совершенный разум, оправдывал добровольный уход из жизни — самоубийство.

Моральная философия Сенеки Младшего складывалась и оформлялась в условиях обострившейся борьбы между сенатом и императором. Оппозиционная по настроению, она была в основе своей стоической по мировоззрению. Тяга к философии особенно усилилась у него после восьмилетнего пребывания в изгнании на острове Корсика, куда он был сослан императором Клавдием в 41 г. по подозрению в заговоре. Разочарование в политической жизни способствовало углублению в философию. Сенеку привлекала больше не та философия, которая занимается теоретическими отвлеченными вопросами, а та, которая упорядочивает жизнь, управляет поступками. Он признает философию, помогающую людям исправляться и очищать себя от пороков, философию, способную научить людей правилам общежития и поведения в различных обстоятельствах жизни (16, 3; 53, 8; 94, 1; 14, 15; 88, 7)<sup>1</sup>. И напротив, философов, которые ломают себе головы в бесполезных спорах, он называет «пустословами» за то, что они низводят философию до подобных недостойных пререканий, не имеющих нравственной цели (102, 20): ведь их софизмами «ум лишь играет, ничего не выигрывая» (111, 4).

Не отрицая полностью догматическую мораль, Сенека все же отдает предпочтение морали практической, находя, что именно она пробуждает души и дает лекарства от всякой болезни (64, 7). Не теоретические догмы, а практический идеал жизненного поведения человека — вот что было главным для Сенеки. Он видел в философии наставницу жизни, способную вооружить на мужественное преодоление ударов судьбы, пробудить в людях любовь к добродетели. А добродетель и есть достигший совершенства разум, благодаря которому человек познает мировой порядок. В разуме, а не в чувствах заключено высшее и подлинное благо (120, 3), только силой разума человек равен богам, все остальные чувства у него — общие с животными (76; 41; 74). Справедливость, благочестие, простота, благоразумие — вот те добродетели, которые должен воспитывать в себе *vir sapiens* (49, 12). В практическом осуществлении добродетели, а не только

<sup>1</sup> Письма по традиции нумеруются в сквозном порядке, без указания размещения их по книгам. Перевод отрывков, за исключением оговоренных, сделан автором статьи.

в теоретических занятиях — суть изучения философии (89). Ригористический образ мудреца Сенекой смягчается, приспособляется к нормам прикладной морали. Он становится в римских условиях фигурой более реальной. Философ призван соединить в себе и созерцательную жизнь и жизнь деятельную; таким философом хочет быть Сенека. «Сенека осмысляет итог своей жизни как преодоление противоположности этих идеалов: ведя созерцательную жизнь, мудрец воздействует этим примером на все человечество и тем осуществляет идеал деятельной жизни»<sup>2</sup>. Философия учит делать, а не рассуждать, и требует, чтобы каждый жил согласно своим принципам, чтобы жизнь не расходилась с речью (20, 2; 34, 4). Философия служит человеку защитой и успокоением (14). Соответственно задаче религиозного успокоения философия Сенеки часто сводится к проповедям<sup>3</sup>. Общий практический совет, лейтмотивом проходящий через все письма: удаляться от политики, от толпы, посвятить себя самосовершенствованию и воспитанию нравов для добродетельной жизни, — по существу означал победу созерцательных, индивидуалистических тенденций в моральной философии Сенеки. Эту тенденцию Сенека воспринял у греческих философов Эпикура и Зенона, считавших участие в политике несовместимым с выработкой высоких душевных качеств. Сенека критически относился к порочным нравам современного ему общества. Это ощущается в ряде писем. В одном письме, например, Сенека рассказывает о развлечениях римской знати в приморском городе Байи, этом пристанище пороков и страстей, овладевающих даже самыми сильными умами, такими как Ганнибал, «побеждавший оружием, но побежденный пороками» (51, 3—5). В другом письме он осуждает странности известного в то время вельможи Спурия Папиния, одного из тех, которые от пресыщения жизнью «живут на выворот», обращая по своей прихоти ночь в день, а день в ночь (122, 15—18). Но видя пороки существующего строя, критикуя чванство, жестокость, причуды представителей высшего сословия, Сенека не помышлял ни о какой социальной реформе. У него нет принципиального осуждения ни богатства, ни тем более рабовладения. Ведь сам он был одним из богатейших людей империи. Прославление же бедности, избавляющей человека от излишних забот и соблазнов, как состояния свободы и совет презирать внешние блага жизни звучит не более чем декламацией без какого бы то ни было отказа от своего привилегированного социального положения.

<sup>2</sup> См. статью М. А. Гаспарова «Римская литература в современной буржуазной филологии» («Вестник древней истории», 1960, № 4, стр. 165), где критически излагается историческое, хотя и излестичное, решение вопроса о противоречиях философской теории Сенеки итальянским исследователем Итало Лама (I. L. a. a. Lucio Anneo Seneca. Torino, 1955).

<sup>3</sup> В I в. н. э. в решении религиозными вопросами заметно усиливается параллельно с упадком политической жизни. Сенека более чем в 30 письмах касается различных вопросов религии (9, 14, 41, 65, 74, 95, 107, 110 и др.).

Философия Сенеки исходит из признания господства в природе строгой необходимости (77, 12). Она фаталистична. Фатализм же неизбежно подводит Сенеку к теологическому пониманию необходимости, утверждению пассивности, к отказу от борьбы (7; 14 и др.). Отсюда проповедь покорности судьбе и законам природы, призыв к стойкости и мужественному перенесению невзгод, к безмятежности духа, неверие в возможность изменения мирового порядка и мировых отношений (107, 7). Таким образом, вывод практической морали Сенеки — осуждение пороков, нравственное воспитание человека, укрепление его воли для борьбы с соблазнами и превратностями судьбы. Сенека не без основания мог причислить себя к последователям стоической теории морали. Однако в его системе взглядов нередко находили себе место идеи других философских школ — академической, пифагорейской и даже эпикурейской. Разделяя взгляды стоиков, Сенека тем не менее предпочитал оставлять за собой право свободного суждения. Иногда он смягчает суровые теоретические положения стоицизма и делает их удобными для применения в жизни (см. 5, 1—6 с оправданием богатства, или письма, оправдывающие заботу о теле — 14, 2; 84, 1). В других случаях он, напротив, полемизируя с эпикурейцами, пытается доказать правоту стоического учения, а не просто изложить его (например, в вопросе о высшем благе и счастье мудреца — см. 74, 14—17; 87, 11—37 и др.). Сенеке свойственно отбирать в различных философских системах то, что казалось ему полезным, и применять заимствованное соответственно своей основной задаче — исправлению нравов. Советуя Луцилию читать всегда самые лучшие сочинения и усваивать из них главную мысль, Сенека говорит, что сам он поступает так же; в прочитанных книгах он непременно что-нибудь отмечает: «ведь я имею обыкновение перебегать в чужой лагерь, однако не в качестве перебежчика, а как разведчик» (2, 4—5). На вопрос Луцилия, что ему за охота цитировать своих противников, Сенека отвечает, что и впредь будет цитировать Эпикура, чтобы те, кто верит в авторитеты и ценит мысль не по тому, что именно она выражает, но лишь по тому, кто ее высказывает, поняли, что совершенная мысль, или истина, для всех одна — она общее достояние. «Что истинно, то мое» — вот его девиз (12, 1, 11, ср. 16, 7; 21, 9; 33, 1—2). Он советует Луцилию уподобляться пчеле, которая, собирая сок с различных цветов, перерабатывает собранное, согласно законам собственного организма, в мед (84, 5).

Стоическая в основе своей философия Сенеки, таким образом, представляет собой эклектическое соединение элементов разнородных теорий — эпикуреизма, платонизма, пифагорейства — на более или менее определенных основах, заключающихся в проповеди покорности, стойкости к перенесению ударов судьбы, безразличия к материальным благам жизни. Сенека как бы синтезиро-

вал в ней все достижения философской мысли, отвечавшие так или иначе его этическим целям. Насколько этот эклектизм механичен или органичен — это уже вопрос, выходящий за пределы задач данной статьи. Для нас важно было выделить основную направленность этической философии Сенеки, ее устремленность к моральному воспитанию общества. В соответствии с этой целью Сенека относился к своему литературному творчеству прежде всего как к удобному способу оформления и пропаганды своих моральных взглядов.

И действительно, написанные в преклонные годы жизни Сенеки «Письма к Луцилию о нравственности» свидетельствуют о зрелости философской мысли их автора и воплощают в себе все важнейшие его философские взгляды.

Письма написаны после возвращения Сенеки из ссылки к весне 63 г. Точно время написания писем не установлено, так как на них не обозначены даты, но по некоторым данным, содержащимся в письмах, исследователи примерно устанавливают границы времени для всего собрания от 62 до 64 г.<sup>4</sup> Мнения их сходятся на том, что письма следуют одно за другим в основном в хронологическом порядке. Собрание писем к Луцилию состоит из 124 писем, образующих 20 книг. Однако свидетельства древних авторов позволяют предполагать, что их было больше (Авл Геллий, например, называет 22 книги — см. XII, 2, 3). По-видимому, все письма последних книг утеряны.

Полагают, что письма опубликовывались двумя партиями: сначала письма 1—88, затем, после перерыва, следующие<sup>5</sup>.

Письма адресованы Луцилию. Луцилий был другом Сенеки, моложе его, из всадников, философски образованным человеком, поклонником Эпикура и поэтом. В письмах Сенека беседовал с Луцилием на самые различные темы моральной философии, литературы, красноречия, обменивался с ним сочинениями.

В научной литературе о Сенеке высказаны весьма противоречивые точки зрения на письма: одни исследователи считают их настоящими письмами, другие находят возможным квалифицировать их как литературные произведения эпистолярной формы<sup>6</sup>. Французский ученый А. Буржери посвятил вопросу определения действительности писем специальную статью<sup>7</sup>, в которой выска-

<sup>4</sup> См.: К. М ü n s c h e r. *Senecas Werke*. Leipzig, 1922, S. 76—80; W. R i c h t e r. L. A. S e n e c a. *Lengerich*, 1939 (приложение). П. Краснов расширяет эти границы до 60 г. («Сенека, его жизнь и философская деятельность». СПб., 1895), а К. Марта — до 59 г. («Философы и поэты-моралисты во времена Римской империи». М., 1880, стр. 99).

<sup>5</sup> О рукописных традициях и последующих изданиях см.: F. P r é c h a c. *Introd* о кн.: «*Sénèque. Lettres à Lucilius*». Paris, 1945, p. 10—18.

<sup>6</sup> Напр., B i n d e r («Die Abfassungzeit von Senecas Briefen». Tüb., 1905) признает их действительной корреспонденцией; противоположного мнения держится M ü n s c h e r (указ. соч., стр. 76—80), считающий, что письма Сенеки — не более чем фикция действительного обращения к другу.

<sup>7</sup> A. B o u r g e r y. *Les lettres à Lucilius sont-elles vraies lettres?* — «*Revue de philologie*», 35 (1911), p. 40—55.

зал ряд интересных соображений, подкрепленных соответствующей аргументацией. Он разделил все письма Сенеки на 4 хронологические группы, из которых действительными считает 1-ю и 4-ю группы, т. е. первые 29 писем и последние (88—124), написанные в Риме и пригородах.

Нельзя не согласиться с тем, что собрание писем носит следы действительной переписки. Это подтверждают неоднократные указания в письмах на вопросы Луцилия к Сенеке, просьбы Сенеки к Луцилию, упреки в промедлении с ответом, оправдания Сенеки в собственной медлительности. Есть письма интимного характера, такие как 86 и 49 с воспоминаниями, навеянными посещением давно покинутых мест, или письма 63, 93 с утешениями по случаю смерти друга Луцилия Флакка и философа Метронакта.

Как видно из слов самого Сенеки, он готовил свои письма для потомства и потому, естественно, был намерен их опубликовать (8, 2; 21, 5). В соответствии с этим замыслом он мог изменить и переработать их. А в литературно обработанных письмах, рассчитанных на публикацию, затушевывались свойства интимного письма как точного исторического свидетельства. Они приобретали иной, художественный колорит и становились уже литературным произведением особого эпистолярного жанра, предназначенным для широкого круга читателей, современников и потомков. И Луцилий в своем лице олицетворял, таким образом, всех читателей будущей книги.

Фактических сведений о Луцилии и о его жизни в письмах очень немного<sup>8</sup>.

Иногда имя Луцилия встречается только в форме начального обращения к нему Сенеки, а затем письмо разворачивается как бы безотносительно к адресату. Возможно, в такого рода письмах связь Сенеки с Луцилием чисто условная, иллюзорная, сохраненная только формой обращения, которая без всякого ущерба для содержания письма может быть устранена. Эта по существу фиктивная связь с Луцилием встречается довольно часто (52, 61, 62, 73, 90 и др.). То же самое можно наблюдать в началах писем, где связь с Луцилием выражена только его вопросом, который Сенека повторяет или предположительно ставит от имени Луцилия, как например в письме 8, 8: «Возможно, ты меня спросишь, почему я столько хороших изречений привожу из Эпикура <...>?» Подобный предположительный вопрос Луцилия — не что иное, как фигура мысли — риторический вопрос, часто применяемый в практике стилистов. Такие вопросы позволяли Сенеке высказывать ряд философских или литературно-критических соображений, часто весьма далеких от темы письма. В данном

<sup>8</sup> Впрочем, это не помешало французскому издателю писем *F. Préchac* составить вполне достаточную характеристику Луцилия по материалам, имеющимся в письмах (см. предисловие к указ. соч., стр. 5—6).

письме (8) риторические вопросы вызывают суждение Сенеки о представителях национальной римской драмы, а также похвалу мимोगрафа Публилия Сира, эффектно завершенную сравнением его афористического стиха, отрицающего власть человека над случайными дарами судьбы, и стихов Луцилия на эту же тему.

Термины, вводящие вопрос или сомнение, довольно стабильны: *quaeris, vis scire, inquis* («спрашиваешь», «хочешь знать», «говоришь» и т. п. — 2, 6; 9, 12; 48, 7 и др.).

Фиктивные вопросы, как мы увидим ниже, нужны были Сенеке для создания видимости непринужденной беседы с Луцилием, хотя сама беседа в большинстве случаев дальше не развивается. Чаще всего фиктивный диалог завершает письмо (см., например, письмо 9, 9—10).

Содержание некоторых писем не оставляет никаких сомнений в том, что они предназначались не только одному Луцилию, но были рассчитаны на более широкую аудиторию. Сюжеты таких писем Сенека старался как-то приноровить к адресату.

Например, в письме 47 Сенека, одобряя гуманное обращение Луцилия с рабами, развертывает длинное рассуждение о жестокости некоторых рабовладельцев по отношению к рабам и о ненависти рабов к господам. И это в письме главное. А краткая ссылка на Луцилия не более чем предлог к заранее обдуманной Сенекой теме, открывающей возможность высказать свой гуманизм в отношении рабов, мысль о равенстве людей по природе: он указывает на человеческое достоинство рабов, подчеркивает равенство их со свободными людьми в том смысле, что и те и другие подвластны судьбе, говорит, что они могут быть хорошими друзьями (ср. также письмо 44).

Если это письмо и было написано Луцилию, то, по-видимому, в другой редакции, а скорее всего это письмо не действительное, а искусственно созданное.

В сборнике есть письма, которые вообще не касаются Луцилия, такие как утешение Либерала по случаю пожара в Лугдуне (91), давшего повод поговорить о необходимости подчинения судьбе, или утешение Марулли по случаю смерти его дочери (99). Буржери склонен считать искусственными такие, например, письма, как 75 с притязаниями Луцилия к Сенеке, в котором он требует более многочисленных и тщательнее отделанных писем, или сомнения Луцилия в правильности морали Сенеки (27). Иногда Луцилию приписываются заботы, которые могли волновать самого Сенеку (21)<sup>9</sup>.

Вопрос определения писем Сенеки как действительных или искусственных — спорный, и вряд ли стоит решать его в категорической форме, тем более в отношении каждого письма в отдельности.

<sup>9</sup> См.: Bourguery. Указ. соч., стр. 45—46.



Не оставляет сомнения, что одни письма, полностью или частично, представляют собой результат действительного обмена мыслями Сенеки с другом, другие же созданы искусственно.

Здесь, как нам кажется, важнее констатировать другое, а именно: были ли письма фиктивными или действительными, или же теми и другими одновременно, все они служили пропаганде морального учения Сенеки, при этом пропаганде, оформленной в новой литературной форме, с помощью новых средств художественной выразительности.

Таким образом, четкая целенаправленность писем, их художественность и тесная связь со своим временем — вот отличительные черты писем Сенеки, заслуженно пользующихся признанием читателей и до настоящего времени.

Сенека, уверенный в справедливости своих убеждений, стремился не только внушить их Луцилию, но и распространить среди других многочисленных его читателей. Он преподносит эти убеждения как глубокую, непреложную истину, повторяя все вновь и вновь с различными нюансами излюбленные тезисы стоической морали и главный из них — о самодовлеющей добродетели, составляющей высшее благо человека. Учение это не носит, как уже отмечалось, теоретического характера, свойственного предшествующему стоицизму, а имеет в виду практический идеал жизненного поведения. В этом специфика морального учения Сенеки.

Философия Сенеки в письмах единообразна в том смысле, что ограничена одной ее областью — этикой. Иногда, впрочем, он вскользь говорит и о других частях философии. В письме 89, 9 он пишет Луцилию о подразделении философии на моральную, натуральную, рациональную, т. е. на этику, физику, логику, которыми он вовсе не отговаривает Луцилия заниматься, так как эти занятия обращаются в пользу для нравов (§ 18). «Ведь некоторые моральные вопросы, как тебе известно, переплетаются с логическими», — говорит Сенека (102, 4). Но все части философии как бы подчинены у Сенеки одной центральной, по его мнению, части — морали и имеют лишь вспомогательное значение. Это ясно выражено в заключительных частях большего числа писем, содержащих моральные выводы. Идея морального совершенствования превалирует над всеми другими идеями и, таким образом, создает впечатление некоторого единообразия мысли и методов ее изложения.

Содержание писем, будь то рассказ, разговор о домашних делах или описание путешествия, почти всегда пропитано философским духом.

Характерная черта Сенеки — не углубляться в рассмотрение какого-то одного вопроса, затронутого в письме; он не склонен к глубокой теоретической его разработке и потому его рассуждения не связаны с более широкими философскими обобщениями.

В отличие от писем Плиния Младшего в письмах к Луцилию почти не встречается упоминаний о каких-либо новостях и городских слухах, очень редки также забавные рассказы. Ведь цель писем Сенеки не сообщение, как таковое, характерное для обычного частного письма, а морализация на определенную тему. Письма построены так, что Сенека как бы отвечает в них на вопросы своего адресата, стремящегося к совершенствованию.

Так, например, по началу письма 67 можно подумать, что это не более чем обычное частное обращение к другу, в котором Сенека говорит и о погоде, и о своей старости, и о своих занятиях (§ 1—2). Однако это не совсем так. Уже с § 3 выясняется вполне определенная цель Сенеки — под формой ответа на вопрос Луцилия о желательности блага дать философское развитие этой темы: «Давай вместе рассмотрим то, о чем спрашиваешь, как бы беседа между собой». Заранее обдуманную им тему Сенека развивает до конца письма, подтверждая свои рассуждения о мужественном перенесении трудностей, как истинном и желаемом благе, историческими примерами и высказываниями стойков Деетрия и Аттала.

Философия Сенеки дидактична; свои поучения он образно называет рецептами полезных лекарств, целебную силу которых он испытал на своих собственных ранах (8, 2). Воспитательная цель писем Сенеки: пробудить у читателей сознание своих заблуждений, а это, по его словам, и есть начало нравственного выздоровления (*Initium est salutis notitia peccati* — 28, 9).

В своей совокупности письма к Луцилию напоминают своеобразный дневник, содержащий размышления, споры, утешения, воспоминания, рассказы, различные критические высказывания Сенеки. А по существу все это составляет целый курс практической морали в удобном оформлении эпистолярного жанра.

Материал писем весьма обширен и пересказывать его здесь не представляется возможным. По ходу анализа можно коснуться лишь наиболее существенных моментов.

Точно установить время написания каждого письма невозможно. Лишь изредка в них встречаются указания на те или иные современные события; так, в письме 91 описан пожар в Лугдуне, случившийся в 64 г. Но и эти упоминания имеют весьма относительную ценность для определения времени, поскольку они служили Сенеке, главным образом, лишь исходными моментами для рассуждения на задуманную тему. В письме 18 есть ссылка на время: здесь речь идет о празднике Сатурналий, происходивших в декабре. Но ведь, если событие в письме иной раз лишь фикция, то оно могло быть написано и в другое время, и лишь сообразно рассказываемому событию приурочено к декабрю. Для Сенеки, по сути дела, важен не самый факт, которого он касается в письме, а вывод из факта. По-видимому, достоверность факта не занимала внимания Сенеки, для него как

для художника смешение реального и вымышленного, воображаемого было вполне естественно. И если действительная ситуация не соответствовала его рассуждению, он обходил ее, а если, напротив, размышления и выводы надо было вывести из фактов и обстоятельств, которых не было, он придумывал их. Например, в письме 102 Сенека говорит о письме Луцилия; этого письма могло и не быть, но ссылка на него служила удобным предлогом для оспаривания фиктивных возражений философских противников по вопросу о доброй славе — является ли она благом? Или в письме 65 рассказ Сенеки о визите друзей во время болезни и о возникшем между ними споре послужил вступлением к философскому рассуждению о материи и причине, о сущности души, жизни и смерти. Полагают, что даже собственные имена, встречающиеся в письмах, частично вымышлены<sup>10</sup>.

Но, фиктивные или действительные, письма написаны, конечно, не без влияния эпистолографической традиции. По-видимому, Сенека внимательно изучал Овидия, своего предшественника в эпистолографии, цитаты из которого часто встречаются на страницах его писем (см. 33, 4; 90, 20; 110, 1 и др.).

Не могла не оказать влияния на Сенеку и цicerоновская корреспонденция, тоже прекрасно ему известная (21, 2 и 4; 97, 4; 118, 1—2).

Цицерон для Сенеки — великий представитель римской философии (100, 9) и «красноречивейший из людей» (*vir disertissimus* — 118, 1).

Эпистолографический жанр был как нельзя более удобен в качестве действенного приема преподавания морали и воздействия на читателя. Письма в качестве такого приема использовались ранее Эпикуром, у которого Сенека широко заимствовал форму и содержание философских писем. В письмах к Луцилию имеется большое количество ссылок на Эпикура и цитат из него. Имя этого философа почти не сходит со страниц писем, особенно это заметно в первых 29 письмах, написанных под влиянием Эпикура.

Обычно Сенека пользуется эпикуровскими сентенциями в целях подтверждения своих рассуждений. Иногда, впрочем, он и не соглашается с ними. Чаще всего цитаты из Эпикура следуют в самом конце письма в качестве «особого подарка» Луцилию. В 22, 13 Сенека говорит об этом своем обычае посылать в письме подарки в виде кратких моральных сентенций Эпикура или стихов, которые он называет в разных местах, в зависимости от содержания, по-разному: то «пошлиной (*portorium* — 28, 9), то дневной рентой» (*diurna mercedula* — 6, 7), то «обычным взносом» (*stips cotidiana* — 14, 5), то «налогом» (*tributum* — 96, 2), то «обязанностью» (*munus* — 17, 11). Иногда смысл письма состав-

<sup>10</sup> Буржери называет их утилитарными анонимами (см. указ. соч., стр. 47).

ляют размышления Эпикура, взятые из его писем. Цитаты из писем к Полиену находятся в письме 18, 9, на смерть Метродора в письме 79, 15, к Идоменею в письмах 65, 47; 92, 25. Обещая Луцилию бессмертия, Сенека ссылается на подобное же обещание Эпикура Идоменею: «Кто знал бы Идоменея, если бы Эпикур не увековечил его в своих письмах?.. А письма Цицерона не дали погибнуть имени Аттика» (21, 3—4).

Изучение философии Эпикура положительно сказалось на творчестве Сенеки в том смысле, что оно смягчило крайности его стоических принципов. Так, возвышенность и суровость идеалов сочетается у Сенеки с теплотой и гуманностью в отношении человеческих чувств, а призыв к самообладанию и презрению к жизни переключается с живыми чувствами дружбы, любви, печали.

Влияние Эпикура на Сенеку заметно не только в содержании его писем, разумеется, переосмысленном на основе римской действительности, оно нашло свое отражение и в их стиле. Между двумя этими писателями есть немало черт внешнего сходства, словесных совпадений, схожести отдельных стилизованных деталей и т. д. Сближения эти, между тем, столь многочисленны, что составляют обширный материал для специального исследования и здесь нет надобности задерживаться дольше на этом вопросе, достаточно подробно освещенном к тому же в научной литературе о Сенеке<sup>11</sup>.

В дальнейшем Сенека отказался от привычки цитировать Эпикура, возможно, из желания избежать стилизованного однообразия писем.

Письма периода путешествия Сенеки по Кампании (49—87) отличаются особенной значительностью. Они напоминают собой морально-философские этюды, между которыми вставлены более короткие письма. Думается, у Сенеки при составлении собрания писем был определен план его композиционного построения.

По содержанию и тону письма весьма разнообразны: есть письма чисто морального характера (с размышлениями о жизни и смерти, о дружбе, об одиночестве, о богатстве и бедности, о старости, о самоубийстве и т. д.), есть письма литературные (с критическими высказываниями, советами, замечаниями о стиле), есть, наконец, письма-утешения, письма-описания, письма — картинки из жизни, эпизоды, связанные с путешествиями, и т. д.

<sup>11</sup> См.: *W. Ribbeck. L. A. Seneca der Philosoph und sein Verhältnis zu Epicur, Platon und dem Christentum, 1887; R. Schottlaender. Epicureisches bei Seneca (Philologus), v. 99, Hf. 1—2, 1953; Mutschmann. Seneca und Epicur, Hermes, 1915, 50 Hf. 1, S. 321—356.* Узнер даже полагает, что письма Сенеки — это краткий конспект корреспонденции Эпикура и его принципов (*Praefatio, 54*). Места ссылок на Эпикура, цитацию его, сближения с ним см. в примечаниях к польскому изданию писем: *Kornatowski. L. A. Seneca. Listy moralne do Lucyljusza. Warszawa, 1961, str. 683—712.*

Письмо то представляет собой как бы фрагмент сочинения на определенную тему, а то, напротив, соединяет в себе ряд разрозненных мыслей, напоминая живой разговор с собеседником.

Эпистолярный жанр таил в себе ряд черт, особенно привлекавших Сенеку. Стилевое своеобразие этого литературного жанра, не стесненной условностями композиции, допускающей — и даже предполагающей — некоторую небрежность и вольность языка, вполне соответствовало литературным замыслам Сенеки. Свободный литературный жанр позволял ему высказывать волновавшие его думы в наиболее подходящем к данному конкретному случаю развитии.

Не будучи связанным строгими стилевыми нормами и требованиями композиции, он мог начинать беседу так, как ему хотелось, и прекращать по надобности, пользуясь любым удобным предлогом.

Эпистолярная форма допускала соединение в одном сборнике самых различных сюжетов, моральных размышлений, критических замечаний — всех этих, казалось бы, разнородных и не подходящих друг другу элементов.

Письма в сборнике тематически чередуются. Сходные между собой темы располагаются не рядом, а в некотором отдалении друг от друга. Вперемежку следуют философские размышления, литературные высказывания, различные описания и рассказы, советы практической морали. С удивительной легкостью Сенека переходит от тем бытового характера к темам более возвышенным и отвлеченным. Он показывает себя в письмах в различных ситуациях, и его размышления обычно тесно с ними связаны и вытекают, таким образом, из соответствующих впечатлений и переживаний. Различные жизненные ситуации и явления, общественного или частного порядка, были для Сенеки поводом к раскрытию перед читателем своих мыслей и чувств. Вид пришедшей в ветхость постройка, например, вызывал у него размышление о неизбежности старости и краткости жизни (12), праздник Сатурналий служил поводом к высказываниям об умеренности, сдержанности и бедности (18), пожар в Лугдуне наводил на мысли о необходимости мириться с превратностями судьбы (91). В письме 7 Сенека рассказывает о посещении цирка, где ему довелось увидеть кровопролитные бои выпущенной на арену толпы преступников. В описании этого жестокого зрелища, сделанного с большой впечатляющей силой, чувствуется осуждение зрелищ подобного рода, однако оно не получает развития и сводится лишь к рассуждению о вредном влиянии толпы на философа и призыву к самоуглублению и совершенствованию. Иногда повод к письму составляла похвала Сенеки. В письме 64 похвала стоическому философу Квинту Секстию позволила Сенеке высказать свое отношение к вопросу о моральном прогрессе, открывающем, как и научный прогресс, неограниченные возможности

человечеству. «Я уважаю научные открытия и тех, кто их делает. Мне приятно вступать в права наследства столь многих мудрецов. Для меня они трудились, для меня искали. И я хочу выказать себя добрым хозяином. Умножу полученное мною, и наследство, возросшее моими трудами, перейдет к потомкам. Еще много остается дела, и много останется его после. Даже через тысячу веков не устранился возможность прибавить что-либо новое к тому, что уже есть. Если бы даже все было найдено древними, на долю живущих все-таки останется употребление и приложение изобретенного раньше другими» (§ 7—8)<sup>12</sup>.

Интересно письмо 77, в котором описание прибытия в ПUTEОЛЫ кораблей из Александрии и суетливости людей, встречавших их на берегу, явилось прекрасным переходом к теме о самоубийстве. В этом письме — или, лучше сказать, философском этюде, оформленном в виде письма, — Сенека дает развернутую апологию самоубийства в определенных жизненных ситуациях<sup>13</sup>. Смерть — это «выход на свободу». Сенека приводит примеры добровольной смерти, рассказывая о Марцеллине, который будучи тяжело больным, обрек себя на голодную смерть, и о попавшем в плен спартанском юноше, который предпочел ударом о стену разбить себе голову, чем стать рабом. «Если так близка возможность выйти на свободу, неужели кто-нибудь согласится пойти в рабство?» — спрашивает Сенека, «ведь жизнь сама не что иное, как рабство, если нет у человека мужества умереть» (§ 5—15).

Нередки в письмах Сенеки описания («экфрасы»), характерные для эпистолярного жанра, которые, помимо своего прямого назначения разнообразить и оживлять стиль, выполняют функцию исходного момента для развития определенного рассуждения.

Сенека стремился, используя этот литературный прием, не столько разнообразить письма, сколько вызвать у читателя соответствующую реакцию на высказываемые им мысли. Описания, так же как и вводные рассказы, в большей своей части служат именно иллюстрацией и подкреплением аргументации Сенеки.

Таково, например, описание сбора меда пчелами, которым, как советует Сенека, должны подражать в своей творческой работе писатели (84, 3—4).

К этой категории аргументирующих рассказов принадлежат те, которые Сенека заимствует в прошлом, подбирая оттуда исторические примеры, подкрепляющие его моральные положения. Это один из его любимых литературных приемов. Так, например, Деметрий Полиоркет служит у Сенеки образцом доблести, мо-

<sup>12</sup> *«Избранные письма к Луцилию»*. СПб., 1893. Перевод П. Краснова. В дальнейшем цитаты из перевода П. Краснова особо не оговариваются.

<sup>13</sup> Ср. также письмо 26 о смерти как избавлении от рабства; письмо 70, специально посвященное оправданию самоубийства. В письмах же 98 и 117, напротив, говорится, что прибегать к смерти так же постыдно, как и избегать ее.

рали, серьезности (20, 9; 62, 3; 67, 14; 91, 19). С похвалой упоминается Фабриций (120, 6; 98, 13), Элий Туберон (95, 72—73; 104, 21; 120, 19). Идеальным человеком почитается герой аристократической оппозиции Катон Младший, покончивший с собой в час поражения республики. Его жизнь и смерть, по мнению Сенеки, достойны подражания. Ведь вся жизнь человека есть не что иное, как подготовка к хорошей смерти. Имя Катона встречается на страницах писем очень часто (11, 10; 13, 14; 67, 7; 71, 15—17 и др.), как и имя Сципиона Африканского Старшего (51, 11; 86, 1—3, 10). Желая воспитать твердость духа у Луцилия, Сенека вспоминает и Рутилия, и Метелла, и Сократа, и легендарного Муция Сцевола (24; 66, 51—53; 76, 20 и др.).

Порой в письмах Сенека выступает не как проповедник морали или ритор, но просто как живой человек, который может пожаловаться на свое плохое самочувствие (54; 65 и др.), рассказать о своих встречах (12; 86), поделиться впечатлениями о путешествиях (28; 55 и др.), обратиться с просьбой (59) и т. д. Обычно обо всем, что касается непосредственной жизни и его чувств, Сенека говорит в началах писем. Затем, исходя из этих реальных обстоятельств и связанных с ними чувств, не задерживаясь на бытовых деталях, он переходит к соответствующим общеморальным заключениям. Сенека убежден, что размышления должны быть связаны с чувствами: «Жить надо так, будто живешь на виду у всех, а мыслить так, как если бы кто-нибудь мог заглянуть в глубину нашего сердца» (83, 1).

Движение мысли Сенеки единообразно. Даже тогда, когда он касается литературных вопросов, моральное чувство в нем одерживает верх над эстетическим.

Но если нельзя сказать, что Сенека отличается принципиальной новизной этических воззрений, то в отношении литературного стиля он был новатором, мастером так называемого «нового стиля».

Идейная борьба I в. нашла свое отражение в литературной борьбе, на арене которой столкнулись два направления: эпигонское и новаторское. Исходным пунктом последнего и был «новый стиль» в красноречии, утверждаемый Сенекой<sup>14</sup>. Напряженная и беспокойная обстановка I в. н. э. способствовала развитию соответствующего ей неровного стиля с его аффектацией, внешним блеском и яркостью выражений. Этот новый стиль, сформировавшийся в декламациях риторических школ, испытал на себе влияние азиатского направления в красноречии; он отличался особой изысканностью структуры фразы, краткостью и отточенностью предложений, напоминающих собой афоризмы и сентен-

<sup>14</sup> Анализу «нового стиля» в красноречии и литературных позиций Сенеки посвящены интересные статьи А. М. Гильмен «*Les théories littéraires*» (REL, v. 32, Paris, 1954, p. 250—274) и «*Sénèque second fondateur de la prose latine*» (REL, v. 35, Paris, 1957, p. 265—284).

ции, обильной оснащённостью риторическими фигурами речи. Сенека, у которого склонность к риторике породило воспитание у отца-ритора, воспринял «новый стиль» и использовал его. Новизной и необычностью стиля он стремился возбуждать умы и привлекать их внимание к проповедуемым им взглядам. Сенека стремился создать стиль, подчиненный воспитательным целям и располагающий самыми различными выразительными средствами языка: сравнениями, острыми антитезами, метафорами и т. д. Ему, действительно, удалось создать новые формы выражений с таким исключительным мастерством, что все современное ему молодое поколение увлеклось им и подражало ему.

Наоборот, сторонник Цицероновской традиции Квинтилиан порицал «порочный и рубленый образ речи» Сенеки. Правда, Сенека тоже был поклонником Цицерона и сознавал, что с его именем связан высший расцвет римского красноречия (40, 11; 100, 7). Воздействие писем Цицерона на письма Сенеки несомненно, так же как и писем Эпикура, хотя характер этих воздействий неодинаков. Если письма Цицерона интересовали Сенеку в качестве определенного художественного жанра, т. е. своей формой, то письма Эпикура привлекали и содержанием, будучи в каком-то идейном аспекте близки ему.

Есть у Сенеки несколько писем, посвященных вопросам литературы и языка: о причинах порчи красноречия (114), о произношении (40), о речи философов (100 и 115), о рецитациях (52 и 95). Отдельные малозначительные ремарки о стиле рассеяны и по другим письмам. Все они не отличаются особенной оригинальностью и не содержат каких-либо развернутых литературных рассуждений или выводов. Эти разрозненные высказывания вряд ли возможно объединить в какую-то стройную теоретически обоснованную систему и на основании этого делать заключения о литературных взглядах Сенеки. Но если приглядеться внимательнее к ним, попытаться сгруппировать и сопоставить их одни с другими, литературные симпатии Сенеки проявятся значительно яснее.

Высказывания Сенеки о стиле вполне согласуются с его философской программой, они соответствуют его этическим нормам и поддерживают их. Основной этический принцип философии стоиков — жить согласно с природой — высшее благо (5, 4) — применяется и к стилю. Использование слов согласно их природе — вот критерий, который лежит в основе высказываний Сенеки о стиле. Основа стоического учения Сенеки служила источником руководящей идеи его взглядов на стиль. Как жизнь соотнобразовывается с требованиями нравственности и общественности, так и стиль соотносится с жизнью и временем (5, 5).

Концепция Сенеки, призывающая следовать природе в употреблении языка, выражена в письме 114, где он критикует стиль Мецената и приводит примеры, иллюстрирующие ошибки его и



других писателей в использовании слов вопреки их основному значению, т. е. отошедших от правильных форм выражения. Это письмо похоже больше на небольшое специальное сочинение о приемах ораторского искусства, о писательской деятельности, о причинах испорченности стиля в определенные исторические периоды<sup>15</sup>. Письмо мотивируется вопросом Луцилия к Сенеке, с которого оно и начинается: «Ты спрашиваешь, почему в некоторые эпохи происходит порча красноречия?»

Порчу стиля Сенека связывает с общим упадком нравов, считая, что язык эпохи является выражением ее нравов. Таким образом, язык тесно связан с состоянием общества. Сенека рассматривает не только влияние общественных нравов на стиль и красноречие, но также и влияние индивидуальных особенностей характера человека на них (§ 8—11, 20), будучи убежден, что действия людей имеют схожие черты с их речью. Он высказывает здесь в форме пословицы (*talis hominibus fuit oratio qualis vita*, § 2) совершенно правильную мысль о стиле как своеобразном отражении жизни человека и его характера<sup>16</sup>. Ярким примером служит речь Мецената, неряшливая, как и его одежда: она вялая, небрежная, беспорядочная; его выражения претенциозны, как и его украшения, свита, дом и супруга. Таким образом, стиль Мецената определяется его характером. О характере человека, отраженном в его стиле, говорит Сенека и в других местах (например, в письмах 100, 11; 75, 3). Он советует Луцилию брать пример с Катона и Лелия, у которых в согласии все: и язык, и жизнь, и лицо, отражающее душу (11, 10).

В письме 114 Сенека говорит о языке императорского периода.

Пресыщенность логически влечет за собой тяготение к исключительности и оригинальности во всем, и даже в языке. Сенека чувствует опасности, таящиеся в этом «возвышенном» стиле<sup>17</sup>, и осуждает пристрастие то к архаизмам, то к неологизмам, исходящее не из убеждений, а только из желания выделиться (§ 10, 11, 14).

Сенека против ложных красот стиля, которыми увлекаются одинаково и образованные, и толпа. Он считает их признаком дурного вкуса. Понимая, что стиль никогда не остается стабильным, что он в соответствии с общественными требованиями меняется от эпохи к эпохе (§ 13), Сенека вместе с тем порицает людей, которые в поисках новых форм впадают в крайности. Он осуждает тех, которые то отыскивают слова древние, уже от-

<sup>15</sup> Подобные темы рассматривались ранее Цицероном («Брут», XII) и Квинтилианом в его трактате «О воспитании оратора» (XII, 10 и 16).

<sup>16</sup> Ср. также в письме 115, 2: «*oratio vultus animi est*» (речь — образ души) и ту же мысль в «Тускуланских беседах» Цицерона, V, 47.

<sup>17</sup> Ср. у Плиния Младшего об «опасностях» возвышенного стиля: «Наибольшее удивление вызывает наиболее неожиданное, наиболее опасное...» («Письма к друзьям», IX, 26, 4).

жившие, чтобы их снова заставить жить, то забывают их и производят совсем новые<sup>18</sup>. Есть такие, которые вдруг обрезают фразу и ищут красоту в незаконченности мысли, оставляя читателя в недоумении, а другие извлекают красоту из замедленности движения мысли. «Одним словом, — говорит Сенека, — где ты увидишь, что порча стиля в моде, будь уверен, что нравы здесь тоже сбились с пути» (§ 10—11).

Принцип использования языка согласно его природе — один из ведущих у Сенеки. Поэтому слова, примененные *contra naturam suam* (100, 5), по мнению Сенеки, свидетельствуют о порочности стиля.

Сенека отмечает два рода людей, различных по дефектам речи. Многие, говорит он, заимствуют слова из древних времен, хотя говорят на языке 12 таблиц, так как язык Гракхов, Катона и Курюна им кажется слишком отделанным и современным, и они возвращаются к языку Аппия и Корункания<sup>19</sup>. Но есть и такие, которые выражаются обычным языком, впадая в тривиальность. Сенека считает, что ошибаются и те, которые страдают манией пользоваться только пышными, звучными, поэтическими терминами, избегая слов, присущих обычной речи; и те, которые поступают наоборот. «Одни выщипывают волосы с голени, другие не удаляют их даже подмышкой», т. е. одни стремятся к излишней отделанности, а другие, напротив, к небрежности (114, 13—14). Крайности и перегибы есть и в размещении слов: то фразы резки и шероховаты, то они излишне мелодичны. Что касается мысли, то она или ребяческая и незначительная, или же слишком цветистая и непристойная (§ 16).

Пороки эти вводит писатель, остальные ему подражают. «Подобные неудачные приемы пускает в ход кто-нибудь, кто в данное время блистает красноречием, а остальные ему подражают и передают их один другому» (§ 17). В качестве примера такого неумелого и нежелательного подражания Сенека приводит Арунция, который подражал Саллюстию, украшавшему свою речь новыми выражениями. Пороки стиля, по мнению Сенеки, являются признаком распушенности человека. Поэтому, чтобы избавиться от них, говорит он, нужно сначала воевать с пороками души, от которых и происходит зло.

Все литературные идеи Сенеки исходят из одного основного принципа. Он прост: писатель приспособливает свой стиль к цели, к которой стремится. Цель философа — уничтожение пороков. Поэтому ему не следует уделять слишком много внимания мелочам стиля (100, 10). Слушателей должно воодушевлять содержание, а не искусная речь: красноречие причиняет вред, если

<sup>18</sup> Гораций, напротив, утверждает право писателя на словотворчество и дает рецепт создания литературного языка с помощью умело выбранных архаизмов и неологизмов («Послания», II, 2, 109—119; «Наука поэзии», 46, 49, 56—59).

<sup>19</sup> Ср. у Геллия, «Аттические ночи», I, 10.

оно возбуждает пристрастие не к сути излагаемого, но лишь к себе (52, 14). Писатель, однако, не должен забывать и о некотором изяществе формы, но с тем лишь, чтобы она все время служила мысли.

В письме 100 Сенека останавливается на приемах ораторского искусства и касается творчества некоторых писателей. Он выступает против аффектации, пуризма, нагромождения слов в цicerоновских периодах, так же как и против неотделанных, шероховатых фраз у Поллона. Много внимания Сенека уделяет стилю своего учителя Фабиана, восхищаясь им как философом и как писателем, считая его сочинения образцом философского стиля. Он защищает Фабиана от упреков со стороны Луцилия в небрежности выбора и расположения слов и подчеркивает достоинства философа: богатый словарь, ясный стиль, отсутствие театральности (§ 10). Порядок слов у Фабиана кажется ему не лишенным изящества (§ 12); кроме того, подчеркивает Сенека, чтобы критиковать порядок слов в предложении, надо сослаться на определенное правило, указывающее их место, а такого в красноречии не существует (§ 13). Главный же аргумент его защиты Фабиана состоит в том, что Фабиан — не стилист, а моралист, а потому он и не придает значения отделке фразы. Его мысли благородны и замечательны, и стиль для него не имеет такой ценности, как содержание, хотя и соответствует ему (§ 5).

В литературной критике Сенеки нет ни малейшего намека на какую бы то ни было систему. Он ограничивается выступлением против отдельных недостатков стиля писателей, недостатков, которые ему представляются скорее моральными, чем литературными, или же похвалой общего характера. Постоянного идеала среди писателей у него нет. Он цитирует Катона и Невия, Саллюстия и Цицерона, Теренция и Лукреция, Вергилия и Овидия, проявляя и здесь свойственный его натуре эклектизм.

Нет у Сенеки твердого мнения и о стиле. Его высказывания по отдельным вопросам, касающимся стиля, не претендуют ни на исключительность, ни на неопровержимость. Суждения его относительноны и не сводятся в единую и более или менее стройную концепцию речи. Скажем более: рассматривая его высказывания по одному и тому же вопросу изолированно друг от друга, легко прийти к заключению, что они в некоторых случаях исключают одно другое (например, высказывания о Меценате в письмах 19, 9 и 114, 4, где содержится его критика, не согласующаяся с его похвалой в письме 92, 35). И все же высказывания Сенеки о построении фразы, о подборе слов, об их расположении, о содержании и форме, сложившиеся под влиянием предшественников и современности, хотя и не отличаются оригинальностью, случайного характера не носят.

Сенека убежден в том, что стиль должен служить определенным целям, он должен не только доставлять удовольствие

(delectare), но главным образом наставлять (docere): «Слова наши не развлекать должны, а приносить пользу» (75, 5; ср. 52, 13; 59, 4). И свой стиль Сенека определяет как метод изложения философских истин. Моралист должен, по его убеждению, прежде всего вкладывать в свои слова истину, веления сердца. Стиль его должен быть безыскусственным, ненавязчивым, доходчивым. Так это было у Фабиана, который «нравы <...> а не слова образовывал» (100, 2; ср. 10, 11). Сенеку возмущает пустая, бессодержательная, низвергающаяся потоком речь философа Серапиона. По его мнению, такая быстрая и обильная речь не подобает человеку, излагающему важные и серьезные вопросы (40, 2). «Что можно сказать о духовном содержании тех людей, у которых речь беспорядочная, путаная, несдержанная?» — спрашивает он (§ 6). Его радует умение Луцилия властвовать над словами, говорить сжато и соответственно излагаемому вопросу: «Ты говоришь сколько хочешь, и в речи твоей больше смысла, чем слов» (59, 4).

В ряде писем Сенека говорит о ясности и простоте, как первых условиях хорошего стиля вообще и философского в частности (48, 12; 75, 2 и др.).

Отвечая Луцилию на упрек в том, что его письма недостаточно заботливо отделаны, Сенека говорит, что желал бы, чтобы они скорее напоминали легко текущую беседу, чем с трудом составленные речи, чтобы в них не было искусственности и надуманности: «Не следует проявлять слишком большую заботу о словесной форме», — говорит он, добавляя, однако, тут же, что форма изложения не должна быть сухой и скудной, когда речь идет о важных вопросах (75, 3). Принцип Сенеки: говорить, что думаешь, думать то, о чем говоришь (4; ср. 115, 1, где Сенека, порицая Луцилия за излишнюю заботу о словах, советует ему думать о том, что пишешь, а не о том, как пишешь).

Главное в речи — ее согласованность с жизнью, гармония между словами и мыслью. Позорно для философа «говорить одно, а думать другое, но еще постыднее писать об одном, а думать о другом» (24, 19)<sup>20</sup>.

Все эти замечания не отличаются принципиальной новизной, но отдельные из них, как, например, о соотношении характера человека и стиля или об особенностях философского стиля, получили у Сенеки более выпуклое выражение и развитие, чем у предшественников<sup>21</sup>.

Сенека не настаивает на преимуществах какой-то своей теории стиля, ощущая, очевидно, что для этого слишком мало оснований. Поэтому в своей писательской практике он отнюдь не всегда следует провозглашенным им правилам. Вспомним хотя бы его настоя-

<sup>20</sup> Формулы единства формы и содержания, языка и мысли хоть и не новы, но звучат у Сенеки очень настойчиво и иллюстрируются конкретными примерами.

<sup>21</sup> Ср. у Цицерона, «Оратор», 16, 51; 19, 64; «Тускуланские беседы», 1, 47, 7.

чивые высказывания о своем равнодушии к совершенствам формы, уверения в том, что возвышенность чувств и мыслей может компенсировать недостатки стиля. Между тем у читателя обычно создается впечатление иное; представляется, что Сенека проявлял особенную, может быть даже преувеличенную, заботу об изяществе и отделанности своего стиля, что изысканность выражений заботила его не меньше, чем их ясность, что он вообще отдавал предпочтение стилю образному и эмоциональному.

Стиль писем Сенеки неровен. Если первые письма, цитирующие Эпикура, ясны и просты, то о некоторых последующих письмах этого сказать нельзя.

Из требования простоты вытекает предпочтение коротких предложений. Сенека одобряет применение коротких фраз (114, 16), но тут же говорит об опасности, тающейся в краткости, такой краткости, которая затемняет смысл вместо того, чтобы его подчеркивать (*obscura brevisitas*, § 17)<sup>22</sup>.

Не всегда Сенека следует высказанным им требованиям и в отношении размеров письма. В письме 45 он пишет, что откладывает до следующего раза свой спор с диалектиками, «чтобы не выйти из надлежащих рамок письма, которое не должно заполнить всю руку читающего» (§ 13)<sup>23</sup>. И все же он нарушает порой эту норму, посмеиваясь над своим затянувшимся письмом, как, например, в письме 58 с рассуждениями о платоновских идеях, о старости и смерти: «Но я распространяюсь слишком долго. К тому же эта тема могла занять весь день. И как сумеет положить конец жизни тот, кто не может окончить письма? Итак, будь здоров. Эти последние слова ты прочтешь с большей охотой, чем нескончаемые разговоры о смерти» (§ 37).

Есть у Сенеки письма и очень короткие (письма 40 и 62, содержащие всего по 3 параграфа, письма 38 или 96, больше похожие на фрагменты письма) и, напротив, есть очень растянутые (письма 94 и 95, состоящие из 73 и 74 параграфов). При этом интересно, что письмо самое короткое (96) следует за двумя самыми длинными. По-видимому, это сделано умышленно для разрядки внимания читателя, которого могли утомить длинноты. Письмо 96 даже не имеет обычного начала. Но Сенека, очевидно, и хотел этим самым придать ему вид действительного письма, которое могло неожиданно начинаться и так же внезапно обрываться.

Нечеткость стилистических идей Сенеки мешает делать какие-либо категорические заключения по этому вопросу. Может быть,

---

<sup>22</sup> См. там же (§ 1) суждение Сенеки об *abruptae sententiae et suspiciosae* как недостатке, а в письме 33, 2, 3, 6 — высказывание, одобряющее пользование эпиграмматическими предложениями. Сам Сенека очень охотно пользовался такими предложениями (60, 4; 95; 23 и мн. др.).

<sup>23</sup> По мере прочтения письма-свитка читатель левой рукой свертывал его, «заполняя», таким образом, руку (ср. также 30, 18; 55, 11; 45, 5).

поэтому и выводы ученых о стиле Сенеки часто противоречат один другому<sup>24</sup>.

В какой мере согласовывались принципы Сенеки с его собственной практикой — это вопрос, требующий специального анализа всех деталей стиля. Здесь достаточно остановиться на тех отдельных литературных приемах Сенеки, которые отличают его как представителя и мастера эпистолярного жанра I в. — жанра, переходного между той подлинной эпистолографией, к которой относятся письма Цицерона, и той искусственной эпистолографией, образцом которой в следующем веке станут письма Плиния Младшего.

Стиль Сенеки отличается отрывистостью, сжатостью, но временами — напыщенностью и искусственностью<sup>25</sup>.

Как видно из письма 114, Сенека не высказывал особой склонности к обновлению словаря, полагая, что в злоупотреблении неологизмами таится симптом упадка. И тем не менее, когда он находил необходимым введение новых слов, он рисковал создавать их. Это большей частью случалось тогда, когда он, считая латинский язык бедным, пытался обогатить его новыми словами. Впрочем, и традиция не считала такие неологизмы чем-то предосудительным<sup>26</sup>. Иногда, правда, Сенека как будто сожалеет об исчезновении того или иного старинного термина. В письме 39, 1 он, например, говорит Луцилию, что ему будет полезнее систематическое изложение философии, «чем то, которое теперь обычно называют *breviarium*, а некогда, когда говорили по-латыни, называли *summarium*».

По требованию сюжета использовал он и термины из специальных отраслей знаний: технические, медицинские, религиозные и др. В письмах встречаются термины, заимствованные из повседневного языка практической жизни. Сенека использовал иногда слова из греческого языка, особенно в тех случаях, когда чувствовал недостаточность выразительности философской или научной латыни. Он жалуется на бедность и ограниченность латинской терминологии большей частью тогда, когда речь идет об отвлеченных понятиях. Резюмируя, например, платоновскую систему, он говорит:

---

<sup>24</sup> Мергент, например, пытается сгладить противоречия между стилистической теорией и практикой Сенеки (*F. Merchant. Seneca and his theory of style. — «American journal of philology», 26, 1905, p. 44—59*). Противоположного мнения держится Буржери и, на наш взгляд, более убедительно (*A. Voigey. Sénèque prosateur. Paris, 1922, p. 85 sq.*). К. Мартá тоже совершенно определенно заявляет, что «Сенека хвалит все те качества, которых нет в нем самом, и осуждает все те недостатки, какие в нем есть» (см. указ. соч., стр. 99).

<sup>25</sup> О стиле Сенеки см. специальное, указанное выше, исследование Буржери, а также статью Кастильони (*L. Castiglioni. Studi intorno a Seneca prosatore e filosofo. — «Rivista di Filologia classica», 3, 1924, p. 367—379*), который, впрочем, постоянно ссылается на Буржери.

<sup>26</sup> См.: Квинтилиан, «Об образовании оратора», VIII, 3, 30; Гораций, «Наука поэзии», 56—62.

«Никогда я не ощущал так сильно, как сегодня, какова бедность, какова скудость нашего словаря» (58, 1—7). Отвечая на вопрос Луцилия, что такое софизм и как его перевести на латинский язык, Сенека не находит этому слову (σοφισμα) эквивалента в латинском языке и ссылается на употребленное еще Цицероном *cavillatio* (111, 37).

Сенека разделяет любовь своего века к поэзии, стремление энтузиастов-новаторов к стилю возвышенному. Поэтические средства выражения в это время все заметнее проникают в прозу. Сенека также счел необходимым включить в систему художественного языка своих писем самые разнообразные элементы поэтической образности. Он отстаивает свое право подражать поэтам (59, 5). Комментируя сравнение могущества стиха с могуществом трубы, сделанное Клеанфом, он говорит, что изречения выслушиваются менее внимательно и действуют менее эффективно, когда они высказываются в прозе, нежели тогда, когда мысль выражена в стихотворной форме (108, 10). Сенека усиленно использует такие, сопутствующие поэзии, риторические средства речи, как персонификация, повторы, метафоры. Письма изобилуют сравнениями и примерами, богаты цитатами из поэтических произведений, которыми Сенека подкрепляет свои доводы. Особенно часто цитируются Вергилий и Овидий. Встречаются слова и выражения из поэтического языка Лукреция, Горация, Катулла<sup>27</sup>. В письме 80, 7—8 Сенека приводит отрывки из не дошедшей до нас трагедии Акция «Атрей», выполняющие в качестве сравнения функцию иллюстрирования мысли об иллюзорности счастья богачей.

Все это направлено к основной цели: повысить эмоциональную выразительность прозы, усилить воздействие писем на читателя.

Сравнениями Сенека пользуется с большой охотой и не только ради украшения, но, главным образом, для закрепления соответствующей мысли. Сравнения то навеяны литературными образами, то взяты из самой жизни. Легко вплетаются в текст писем сравнения-цитаты из Вергилия: уходящие в прошлые годы детства, юности, зрелости сравниваются с городами и землями, скрывающимися с глаз мореплавателя за горизонтом (70, 2); обещания бессмертия Луцилию уподобляются подобным же обещаниям Вергилия своим героям (21, 5); настроение пишущего сходно с настроением одного из героев «Энеиды», ищущего возможность испытать свои силы (64, 4).

Иногда сравнение носит характер шутки. Обращаясь, например, к Луцилию со своим обычным подношением (изречениями из Эпикура), Сенека сравнивает его с парфянскими царями, «которых нельзя приветствовать без даров, так же как с Луцилием нельзя прощаться без подарка» (17, 2). Сравнение-шутка у Сенеки не

<sup>27</sup> Места цитируемых авторов указаны в индексе к изданию: F. Haase. *L. Annaei Senecae opera*, v. III: *Ad Lucilium epistularum moralium libri*. Lipsiae, 1895.

единичный прием, а одно из обычных средств выразительности. Иной раз шутка удачно заключает письмо — например, в письме 30, 18, где Сенека, не без остроумия, выражает опасение, что его затянувшееся письмо может показаться Луцилию хуже самой смерти, о которой он столь долго рассуждал в этом письме.

В другом письме Сенека, высказывая соображение о том, что истинная радость скрыта внутри человека, в лучшей части его души, остальные же, приходящие извне, радости мимолетны и поверхностны, приводит удачное сравнение: «Залежи дешевых металлов находятся на поверхности: дороги же те металлы, жила которых скрыта в глубине...» (23, 5).

В письме 39, 4 сравнение, выраженное с помощью анафоры, иллюстрирует и усиливает мысль о вреде, приносимом избытком: «Так чрезмерный урожай валит колосья, так ветви ломаются от чрезмерной тяжести, так чрезмерное плодородие почвы не способствует вызреванию». Естественно вытекает отсюда заключение Сенеки о том, что лучше умеренность, чем избыток: «Необходимое измеряется целесообразностью» (§ 6).

Иногда сравнение носит характер афоризма: «Менее постыдно не отдать долг, чем обмануть добрые надежды» (36, 5).

Интересно сравнение творческого труда писателей с работой пчел. Подобно пчелам писатели все заимствованное путем чтения различных авторов распределяют по отделам, а затем с помощью разума сливают собранное из разных мест воедино, — так, чтобы ясно было, откуда что взято, но вместе с тем было и очевидно, что это все же не то (84, 3 и 5). «Так и в нашем теле, без нашего ведома, действует сама природа: пища, которую мы приняли, обременительна, пока сохраняет присущие ей качества и находится в твердом виде в желудке; когда же она изменится под влиянием желудочных соков, она обратится в мускулы и кровь» (§ 6). Сенека сравнивает духовную пищу с пищей телесной, считая, что и она не должна оставаться неусвоенной, — в противном случае она будет только обременять память, не обогащая ума. «Согласимся вполне убежденно с чужими мнениями и тем самым сделаем их своими, и из многих отрывков создадим нечто единое, подобно тому, как из различных слагаемых путем сложения в результате получается одно число. Так же должен поступать и наш разум: пусть он скроет все, чем он воспользовался, и выставляет напоказ лишь то, что сам создал. Если же в тебе и отразится сходство с тем писателем, восхищение которым было особенно сильно, то я предпочитаю, чтобы это было сходство сына с отцом, но не портрет: портрет — вещь мертвая» (§ 7—8).

Сенека, таким образом, высказывается за подражание, но не слепое, а творческое, которое должно вскармливать ум, обогащать и укреплять его.

Уже по одному только последнему примеру из письма 84 можно видеть, с какой охотой прибегал Сенека к сравнениям: их целая



серия, и именно на них строится все рассуждение о творческой работе писателей.

С немалой охотой пользуется Сенека другим, тоже любимым поэтами и философами, художественным средством языка — персонификацией, посредством которой он как бы превращает абстрактное понятие в конкретное. Сенека персонифицирует доблести и пороки, радости и несчастья человека, а также явления природы (например, *paupertati domum aperire* — «открыть двери нищете» в письме 23, 4; *dolor* <...> *interquiescit* — «боль передыхает» в письме 78, 9 и др.). Это делается для оживления рассказа или же для придания философским идеям впечатления величия и конкретной образности (*alimentum ignis* — «пища огня» в письме 14, 5 и др.).

Весьма характерно для стиля Сенеки повторение какого-то слова или выражения по нескольку раз, чаще всего в форме анафоры. Эффектно заканчивается анафорой, например, письмо 103: *Licet sapere sine pompa, sine invidia* («Можно быть мудрым без показного величия, без зависти со стороны других»). Иногда анафора употребляется вместе с другими стилистическими фигурами, например с эпифорой (92, 22); встречается анафора в хиастическом построении (11, 7): анафора с эллипсом глагола *esse* (9, 17). Сенека — мастер сжатого стиля, короткой фразы. Как раз такие фигуры синтаксиса, как эллипс, способствовали лапидарности стиля. Различные формы опущения элементов разнообразили стиль писем и придавали им характер непринужденности. Это был особый литературный прием, исходящий из поисков средств, создающих впечатление безыскусственности и непринужденности речи. Этой же цели служили и различные вводные слова, неожиданные, прерывающие ход рассуждений, реплики и вопросы собеседника, как бы участвующего в беседе.

Особенно заметным свойством писем Сенеки является неоднократное повторение одной и той же мысли в различном выражении. Обновленная форма усиливала воздействие мысли на ум и чувства читателя. Повторением мысли Сенека стремился также придать фразе внешнюю небрежность, создать впечатление непринужденной живой беседы. Но сама эта искусственная непринужденность требовала тщательной отделки. Конечно, Сенека знал наставления Цицерона по этому вопросу, которым он и следовал<sup>28</sup>. Подобные формы свойственны эпистолярному жанру с его своеобразным, нарочито небрежным стилем, имитирующим действительное письмо, для которого небрежность в отношении грамматических и синтаксических правил построения фразы вполне естественна.

Большое значение Сенека придавал концовке фразы, стремился сделать ее эффектной. В финальных фразах писем часто встречаются афоризмы, параллелизмы (62, 12; 47, 3 и др.).

<sup>28</sup> См.: Цицерон, «Оратор», 23, 78: *etiam negligentia est diligens* («даже беззаботность требует заботы»).

Во всем изобилии представлены в письмах такие фигуры речи, как антитеза — сопоставление противоположных слов, в которых заключен контраст мысли: *quies inquieta est* («покой беспокоен» — 56, 8), *immortale mortalibus* («бессмертное доступное смертным» — 98, 9) и др.; умело использованы и другие стилистические фигуры речи и мысли там, где по смыслу требовалась яркость и выразительность<sup>29</sup>.

Есть в письмах Сенеки и остроты, и игра слов, и шутки. Встречаются описания, проникнутые живым чувством юмора: например, в рассказе о морском путешествии Сенеки в ПUTEОЛЫ, во время которого с ним случился приступ морской болезни и он вынужден был вплавь добираться до берега (53, 1—4). В таком же духе написано письмо, в котором рассказывается о том, какие по соседству с жилищем Сенеки шумные бани. Все это письмо построено на сентенциях, сравнениях, орнаментировано поэтическими цитатами, риторическими вопросами, антитезами и другими выразительными средствами, характерными для Сенеки. Можно привести из него отрывок, чтобы получить некоторое представление о писательской манере Сенеки-эпистологафа:

«Я погиб бы, если бы для человека, углубленного в занятия, тишина была бы в самом деле так необходима, как это кажется. Я живу как раз возле бани и в настоящую минуту вокруг меня раздаются всевозможные звуки. Представь себе звуки всякого рода, из которых каждый способен заставить возненавидеть самый орган слуха. Тут и шум от занятий гимнастикой, и звуки швыряния тяжелого свинцового шара, и кряхтение тех, кто работает или, вернее, изображает из себя работников; мне слышно, как они тяжело дышат, задерживают дыхание и выпускают затем хриплые, тяжелые вздохи. Мне слышно хлопанье жирной руки по плечу, умощенному маслом, причем по роду звука я могу различить, как ударяют, раскрытой или согнутой ладонью, до меня доносится треск мяча, ударяющего в поставленные, как цель, столбы. Порой раздаются визг и крики пойманного вора. Прибавь к этому тех, кому нравятся звуки собственного голоса, раздающиеся в бане, наконец, тех, которые прыгают в бассейн, с шумом и плеском разбрызгивая воду. Кроме этих людей, у которых, по крайней мере, хоть естественные голоса, представь себе еще визгливый и тонкий голос цирюльника, который, желая обратить на себя внимание, пронзительно кричит и не умолкает до тех пор, пока кто-нибудь не поручит ему выдергивать волосы, и тогда он заставляет кричать за себя другого. Затем различные крики продавцов фруктов, мясников, мяса и других разносчиков, предлагающих свои товары, выкрикивая названия их на различные голоса. «О, скажешь мне ты, ты или из железа, или глух, если рассудок твой не помутился

<sup>29</sup> См.: *Castiglioni*. Указ. соч., стр. 369 и далее, где собрано много примеров, характеризующих стиль Сенеки, а также: *В. Ахелсоп*. *Neue Senecastudien*. Lund, 1936.

среди столь разнообразных и неблагозвучных криков, тогда как нашего Хрисиппа довели до смерти одни только непрерывные приветствия». Клянусь, меня этот шум беспокоит не больше, чем журчание текущей воды, хотя, как известно, один народ перенес свой город на другое место только потому, что не мог переносить шума, производимого течением Нила» (1—3).

Эта живописная бытовая картинка (продолжение которой еще следует в § 4—5) служит как бы введением к рассуждению о том, что внешние звуки не беспокоят человека, если в его душе нет тревоги и совесть его чиста.

«Что пользы в молчании всего окружающего, если в душе бушуют страсти?

Тихая ночь приносит с собою спокойствие миру<sup>30</sup>. Это неправда. Спокойствие достигается только рассудком. Ночь не облегчает тревоги, не устраняет ее, а только меняет род беспокойства. Часы бессонницы так же беспокойны, как и дневные. Только то спокойствие настоящее, которое обусловлено совестью. Посмотри на человека, для сна которого необходима тишина большого дома. Чтобы ни единый звук не достигал его слуха, вся толпа рабов смолкает, пока он спит, и ходит вокруг него на цыпочках; и все-таки он мечется и туда, и сюда, засыпая больной, слабым, чутким сном. Он жалуется, что слышал звуки, которых на самом деле не слышал. Что за причина этого, по-твоему? Дух его беспокоен. Надо его успокоить, укротить его мятежность. Нельзя назвать человека спокойным только оттого, что тело его лежит. Иногда и самый покой может быть беспокойным» (§ 6—8).

Далее следуют неизбежные моральные наставления и сентенции, изложенные Сенекой в целой серии различных сравнений:

«Всякий раз, как овладевает нами тягостное чувство вялости, следует стараться приняться за дело, или заняться искусствами. Опытные полководцы, замечая, что солдаты плохо повинуются им, давали им какую-либо работу и предпринимали походы. Таким образом, у солдат не оставалось времени на пустые мысли. Ведь известно, что пороки праздности искореняются трудом. Мы часто видим, что общественные деятели удаляются от дел, почувствовав отвращение к занятиям и досаду на свои неудачи; но в уединении, в которое забросит их уныние и усталость, снова разгорается честолюбие. И это потому, что оно и раньше не исчезало, но было лишь притуплено и подавлено неблагоприятным положением дел. То же я скажу и о невоздержанности, которая иногда как будто и ослабевает, но потом снова волнует человека, ведущего уже умеренную жизнь, и среди полного благоразумия воскресают оставленные, но не осужденные страсти, и при том с тем большей силой, чем более их скрывали. Ибо все пороки ослабевают, когда обнаружатся; так, когда болезнь выступает наружу, проявляясь во всей

<sup>30</sup> Цитата из Варрона Атацического (*Argon.*, 3 fr. 1 — Fr. poet. rom. ed. A. Baehrens, p. 333, 7 s.).

своей силе, это значит, что выздоровление близко. Так же точно и скупость, и честолюбие, и другие душевные пороки тем опаснее, чем более душа, зараженная ими, похожа с виду на здоровую» (§ 6—8).

Приведя в качестве иллюстрации рассуждения о спокойной совести стихи из «Энеиды» Вергилия и комментируя их, развивая тем самым свою мысль, Сенека делает вывод:

«Считай, что ты достиг многого, если тебя не будет смущать никакой шум, не будут волновать никакие голоса, слышатся ли в них лстивые слова, или угрозы, или просто пустые звуки» (§ 14).

Но тут же, вдруг, вопреки всем выводам, неожиданно для читателя, и не без юмора, звучат заключительные слова Сенеки: «Но, сознаюсь, из этого еще не следует, чтобы не было удобнее избегать шума. Поэтому и я уеду из этого места. Я хотел только испытать себя. Какая необходимость дольше терзать свой слух, когда еще Одиссей для своих спутников нашел такое простое средство даже против сирен? Будь здоров» (§ 14—15).

Сенеке многие исследователи отказывают в чувстве юмора. Конечно, он не обладает им в такой степени, как, например, Цицерон и Плиний Младший, но все же в письмах нет-нет, да и проскользнет шуточное сравнение, забавная деталь рассказа или описания, насмешка.

К числу наиболее примечательных особенностей писем Сенеки следует отнести их схожесть с беседой двух или нескольких лиц. Рассказ в письме часто идет в форме диалога или полудиалога. Высказываемые Сенекой доводы постоянно сопровождаются мнимыми сомнениями или возражениями каких-то абстрактных противников этих доводов. Часто рассуждение прерывается воображаемыми репликами или вопросами адресата. Внезапно прерванное каким-то замечанием, вопросом, якобы со стороны, течение рассказа или рассуждения как нельзя лучше способствует видимости разговорной речи. Кроме того, все эти предположительные возражения («но, возразят нам...», «кто-нибудь скажет...» и т. д.) позволяли Сенеке развешивать затронутую тему во всей ее возможной для письма полноте (например, тему о разуме как главном источнике блага в письмах 74, 22 и 31). Изложив возражения мнимых противников, Сенека дает затем свой собственный вариант рассуждения на избранную тему: «Я изложу сначала то, что обычно возражают на это наши [имеются в виду стоики], а затем добавлю свои соображения».

Развитию темы способствовали и риторические вопросы самого Сенеки и последующие ответы на них позитивного или же негативного характера. Они как бы вводят тему или заключают ее. Иной раз все письмо построено на риторических вопросах (например, рассуждение в письме 31 о необходимости труда, о величии души: *quid ergo est bonum?*, *quid votis opus est?*, *quid malum est?* — «что

такое благо?», «к чему обеты?», «что есть зло?»), а также на предполагаемых возражениях и вопросах Луцилия, на которые Сенека якобы и отвечает, развивая, таким вполне естественным образом, заранее обдуманную тему письма. Короткие риторические вопросы постоянно прерывают речь Сенеки: «видишь ли?», «знаешь ли?», «так что же?», «как этого достигнуть?» и др. С помощью фиктивных предположительных вопросов и возражений построены письма 17; 78; 84 и мн. др.

Часто Сенека довольствуется лишь вводной фразой: «Ты хочешь знать...» или «Ты спрашиваешь...» и дальше развивает свою тему уже без участия фиктивного собеседника.

А иногда письмо представляет собой настоящий живой диалог. В рассказе о посещении Сенекой своей загородной виллы (12) содержится такая беседа его с управляющим имением и с его сыном, которого Сенека знал в детстве и, встретив, не узнал старика. Это, конечно, фиктивный диалог, служащий ему отправной точкой для рассуждения о старости.

«Куда я ни обращусь, всюду вижу признаки моей старости. Приехал я в мою загородную виллу и остался недоволен тем, что поддержание ее дорого стоило. На мои жалобы управляющий возразил, что он в этом не виноват, что он, со своей стороны, принимал все меры, но что сама вилла стара. А вилла построена на моих глазах. Чем, в самом деле, стал я, если рассыпаются камни одних лет со мною? Рассердясь на управляющего, я стал искать случая, чтобы придрататься к чему-нибудь. «Сразу видно, — сказал я, — что за этими платанами не смотрят. Они почти без листьев, какие искалеченные и узловатые ветви, какие черные и шероховатые стволы! Ничего этого не было бы, если бы их окапывали и поливали». Тут управляющий стал клясться, что он все это делал, не жалел на это никаких трудов, но что деревья уже довольно стары. А между тем я сам их посадил и видел их первые листья. Обернувшись к дверям дома, я воскликнул: «А это что за дряхлый старик? Недаром он стоит в дверях: его пора выгнать вон. Где ты выискал такого? И что тебе за охота таскать чужих мертвецов?» Но старик этот сказал мне: «Неужели ты не узнал меня? Ведь я Фелицион, которому ты дарил статуэтки богов. Я сын твоего управляющего Филозита, твой любимец.» — «Он с ума сошел, — вскричал я, — ведь моим любимцем был мальчик? Иначе и быть не могло, а у этого повывалились все зубы». Итак, посещению загородной виллы я обязан тем, что старость предстала предо мною всюду, куда бы я ни обращался» (§ 1—3).

Дальше, в этом же письме, следует диалог с Луцилием (§ 6, 10, 11). Все письмо выполнено в художественной манере. В нем, кроме диалогов, есть рассказ, описание, иллюстративные цитаты, философские афоризмы-заключения. В ткань рассказа искусно и легко вплетаются интересные сравнения. Так, например, говоря о том, что старость имеет свои преимущества и свои приятные стороны,

Сенека сравнивает ее с наслаждением, доставляемым последними в сезоне яблоками, последней чашей вина, уходящими днями детства. И здесь же, не без остроумия, добавляет: «по крайней мере, наслаждения вполне может заменить то, что у нас нет потребности в них» (§ 5).

Не менее живо представлен мнимый диалог в письме 7, 4—5 между действующими в рассказе лицами, зрителями гладиаторских боев, и противником подобных зрелищ — Сенекой.

Частое употребление фиктивного диалога, вводимого в рассказ одним словом *inquis* или *inquit*, могло быть заимствовано из диатрибы (морально-политической беседы).

Некоторые из писем выполняют функцию ответного письма Сенеки Луцилию. Письмо 118, например, начинается словами: «Ты требуешь, чтобы я писал тебе письма чаще...» Так же начинается письмо 45, где Сенека, пользуясь удобным моментом, сравнивает свои письма с письмами Цицерона. Письма 59 и 74 начинаются с похвалы полученным от Луцилия письмам, а в письме 67,2 Сенека говорит: «Когда я получаю твои письма, мне кажется, что я с тобой, и тогда, под этим впечатлением, я как будто не пишу тебе, но разговариваю». Подобным же ощущением присутствия Луцилия и живой беседы с ним проникнуто письмо 55 и др. Порой в письмах звучит извинение в промедлении с ответом (106 и др.). Таким образом, письма Сенеки создают впечатление живой беседы между друзьями, к чему, собственно, и стремился их автор.

Общему впечатлению живой и действительной связи с корреспондентом содействовали также многочисленные ссылки в письмах на сказанное ранее (10, 1; 20, 13; 76, 7 и др.).

В стиле Сенеки есть ряд недостатков, которые он признавал и сам. Говоря о недостатках в стиле великих писателей (114, 12), он, по-видимому, не считал себя исключением. И хотя Сенека высказывает сожаление об общем упадке чистоты языка в его время, сам он тоже не всегда ясен. Порой он кажется несколько однообразным и даже навязчивым в своем стремлении привлечь внимание читателя к определенной мысли. А иной раз вызывает недоумение неуместность отступлений, неравномерность, прерывистость и непоследовательность его рассуждений. Тема часто лишь затрагивается, но дальнейшего развития не получает. Встречаются, например, такие фразы: «Я возвращаюсь к своему замыслу...», или вдруг: «Я перехожу к другому вопросу...», тогда как вопрос не только не исчерпан, но даже и не развернут. Однако, если учитывать требования эпистографического жанра, допускающего прерывистость, небрежность и непоследовательность в рассуждениях и композиции, все эти недостатки в какой-то мере оправданы.

Стиль Сенеки во все времена вызывал много толков: восхищенных или, напротив, проникнутых антипатией.

Среди почитателей его мы находим немало писателей и поэтов. Так, например, Тацит в «Анналах» охарактеризовал стиль

Сенеки как стиль, который блещет украшениями, острый и изящный. Он отметил любовь Сенеки к сентенциям, коротким параллельным предложениям, антитезам и бессоюзиям; стиль его, по мнению Тацита, лишь симулирует простоту, а по существу Сенека пишет в высшей степени изысканно и отточенно, остроумно и вдохновенно. Упомянув о литературной репутации Сенеки, Тацит говорит, что его талант соответствовал его времени<sup>31</sup>.

«Речистым» называет Сенеку Марциал (эпиграммы, VII, 45, 1, ср. I, 62, 7; IV, 40, 5), упоминает о нем Стаций («Сильвы», II, 7, 30) и Ювенал (X, 16; V, 108—109).

Из «Диалога об ораторах» Тацита мы узнаем о литературной борьбе времени правления Флавиев и Траяна между поклонниками Цицерона и любителями «нового стиля» красноречия, представленного Сенекой.

Против недостатков стиля Сенеки выступал Квинтилиан. Суждение последнего о Сенеке отчетливо выражено в десятой книге его трактата «Об образовании оратора» (гл. 1, § 125—131). Обычно на этом суждении обосновывается вся последующая критика Сенеки.

Оно в достаточной мере объективно. А между тем Квинтилиан питал к Сенеке антипатию, в которой, возможно, сыграла роль разность отношений этих двух писателей к философии: Сенека расценивал философию как высшее проявление человеческой деятельности, Квинтилиан же лучшим образованием признавал образование риторическое. И хотя и тот и другой сетуют на порчу красноречия в их время, но понимают ее по-разному: для Квинтилиана это отступление от Цицероновских норм, для Сенеки — умеренное новаторство или чрезмерный архаизм, осуждаемые им в письме 114.

Вот это высказывание Квинтилиана о Сенеке:

«Я особо выделяю Сенеку как владеющего всеми видами ораторского искусства и делаю это потому, что широко распространено ложное мнение обо мне, будто я жестоко осуждаю его и ненавижу. Произошло это потому, что я действительно постарался вернуть красноречие от испорченной рубленой манеры к более строгим формам...» Говоря далее об особенном влиянии Сенеки на молодежь, которая восхищалась как раз его недостатками, Квинтилиан отмечает и достоинства Сенеки: его многосторонний ум и огромные знания. «В философии он был не очень силен, но умел изумительно бичевать пороки. У него много прекрасных изречений, многое следует прочесть для улучшения своих нравов; но манера его речи изобилует недостатками, и они тем более опасны, что в высшей степени привлекательны. Много в нем, как я уже сказал, следует одобрить, многим даже можно восхищаться, но следует тщательно производить отбор; жаль, что он не сделал этого

<sup>31</sup> Тацит о Сенеке—с.м.: «Анналы», XIII, 3, 2; XIII, 14; XIV, 11, 52, 56 и др.

сам! Он был достоин уважения, но он желал лучшего, чем то, что ему удалось сделать»<sup>32</sup>.

Разделяет вкус своего наставника Квинтилиана и его предубеждение в отношении Сенеки и Плиний Младший, который цитирует философа лишь между прочим, упоминая о его легкомысленном стихотворении («Письма к друзьям», V, 3, 5). А ведь не исключено, что Плиний испытывал известное влияние Сенеки в отношении стиля. Этим двух авторов, в частности, сближает любовь к сентенциям, склонность к поэтизации прозы. Схожи их высказывания о гуманном отношении к рабам<sup>33</sup>. При этом гуманизм обоих имеет одни и те же социальные корни: стремление не ожесточать рабов вызвано тайным страхом рабовладельцев перед рабами.

Некоторые исследователи<sup>34</sup> находят точки соприкосновения Сенеки с Луканом, Тацитом, Ювеналом, Флором. Обосновывая свое заключение некоторым сходством стилей этих авторов или особенностями их словаря, они делают вывод о влиянии Сенеки на этих авторов. Но стилистические сближения<sup>35</sup> и литературные влияния — вещи разные, и здесь возможны ошибочные утверждения.

Рассмотрение проблем воздействия Сенеки на творчество писателей его времени, а также последующих поколений выходит за пределы темы данной статьи. Определение форм воздействия требует специального сравнительного изучения индивидуальных особенностей стиля писателей и литературных направлений, к которым эти писатели принадлежали.

Ограничимся несколькими словами.

По-видимому, влияние Сенеки испытали многие писатели I в.; особенно значительным, как указывает Квинтилиан, оно было среди молодежи. Но уже ко второму веку влияние его стало заметно ослабевать. Если еще Светоний упоминает о Сенеке как об авторе популярном и авторитетном<sup>36</sup>, то уже Авл Геллий и Фронто не признают авторитета Сенеки совсем. Геллий, например, в своем предисловии к «Аттическим ночам» название «Нравственные письма» упоминает среди массы других претенциозных вычурных названий, соответствующих характеру содержания этих сочинений. Так же, как и Квинтилиан, Геллий высказывается о Сенеке как об опасном примере для молодежи. Он приводит два мнения критиков о Сенеке: одни, находя недостатки в стиле философа, положительно отзываються о высоких моральных целях, руководящих

<sup>32</sup> «Об образовании оратора», X, 1, 125—131.

<sup>33</sup> Ср. у Сенеки письмо 47, у Плиния письма I, 4; II, 17, 28; VII, 32 и др.

<sup>34</sup> О влиянии Сенеки см.: Воургеу. Указ. соч., стр. 150—186.

<sup>35</sup> Выдержки и цитаты из текстов древних и позднейших авторов, содержащих аналогии с отдельными мыслями Сенеки, места намеренных подражаний ему, а также случайных совпадений приведены в качестве литературных сравнений в примечаниях к изданию: J. Baillyard. *Oeuvres complètes de Sénèque le philosophe*. Paris, 1879.

<sup>36</sup> «Герон», 52.



им, другие, обвиняя Сенеку в том, что он не унаследовал из произведений древних ни обаяния, ни достоинства, осуждают банальность языка и бессодержательность его мыслей.

Возможно, здесь речь идет о критике Сенеки Квинтилианом и Фронтоном. Геллий солидаризируется с этой критикой. Он называет ученость Сенеки «плебейской» (а это, с точки зрения Геллия, оценка достаточно отрицательная) и возмущается критическими замечаниями Сенеки в адрес Цицерона и Вергилия по поводу их восхищения Энием и подражания ему в употреблении архаических слов<sup>37</sup>.

Фронтон в письме к Марку Аврелию предостерегает последнего от красноречия, в которое проник «лихорадочный» стиль Сенеки<sup>38</sup>, и пародирует некоторые вольные выражения его.

Критика эта, может быть, не во всем объективна: ведь Квинтилиан проповедовал теорию стиля, резко отличную от писательской манеры Сенеки, а Геллий и Фронтон, совершенно очевидно, в своей критике исходили из пристрастия к архаизму. Однако она показательна в том смысле, что выявляет отношение представителей двух литературных направлений — классицистического и архаического (фактически продолжавшего его линию) — к новатору стиля Сенеке.

К IV в. влияние Сенеки ослабело настолько, что, например, Макробий, говоря о мастерах красноречия (Цицероне, Плинии Младшем, Фронтоне, Саллюстии) и характеризуя их, Сенеку не упоминает. Воспроизведя в «Сатурналиях» (V, 1, 7) 47 письмо Сенеки, он даже не называет имени его автора.

В средние века авторитет Сенеки возрос. Его мораль, отражавшую возвышенные стоические положения, заимствовали христианские проповедники. Письма Сенеки оказали влияние на послания, приписываемые апостолу Павлу, и на Тертуллиана (II—III в. н. э.).

Его читали Абельяр, Бэкон, Данте, Петрарка. Интересовались им и изучали его гуманисты эпохи Возрождения: Эразм, Монтень, Липсий. Высоко ценил моральную философию Сенеки Дидро, посвятивший ему и его письмам специальное исследование.

«Нравственные письма к Луцилию» представляют значительный интерес и для современного читателя в качестве своеобразного, полулитературного, полуфилософского сочинения эпистолярного жанра I в. н. э. В письмах в полной мере проявился талант Сенеки — писателя, стилиста и философа, искателя новых литературных форм, новых творческих приемов, подчиненных цели морального воспитания общества, незаурядный талант бытописателя, показавшего в живых и образных картинах реальные черты римской действительности времени империи.

<sup>37</sup> «Античные ночи», XII, 2, 10—11.

<sup>38</sup> Изд. Nabes, 155.

## ПИСЬМА ПЛИНИЯ МЛАДШЕГО К ДРУЗЬЯМ



Время жизни и деятельности Плиния Младшего приходится на тот период (62—113 г. н. э.), когда во всех областях общественной жизни римской империи все заметнее стали проявляться первые признаки упадка, вызванного кризисом всей социальной системы римского рабовладельческого общества.

Экономический кризис империи отразился и на литературе этого периода, т. е. второй половины I в. н. э. Политическая обстановка, оторвавшая писателей от активной общественной деятельности, неуклонно вела их к индивидуализму, замыкала в узком кругу бытовых интересов, устремляла в область философии, содействовала увлечению словесными формами и игрою стиля. Широкое распространение получил литературный дилетантизм, особенно отчетливо свидетельствующий о постепенном угасании большой литературы. Повальное стихотворчество и рецитации, превратившиеся теперь в арену споров о формах и стиле литературных произведений, нередко служили чисто потребительским интересам: стяжанию писателями легкой славы или, того хуже, приобретению материальной выгоды. Здесь уже находили себе место и подкуп слушателей, и различные формы литературных заимствований, процветали лесть и заискивание перед вельможами. Разумеется, рецитации имели и свою положительную сторону, будучи одним из средств развития литературной критики, а следовательно, в какой-то мере и самой литературы, и фактически предоставляли единственную возможность для широкого обмена литературным опытом. Литературные состязания происходили очень часто, как свидетельствуют писатели, современники Плиния: Ювенал, Стаций, Марциал, да и сам Плиний, принимавший в них деятельное участие и расценивавший публичные выступления, вопреки мнению своих современников, как важную форму литературной критики и полезную школу для начинающих писателей (V, 3; VII, 17 и др.).

Развитию массового дилетантизма способствовало и то, что литература, уже со времени Августа, находилась под воздействием правящих кругов, в частности императоров, которые, используя ее как средство пропаганды, требовали, чтобы она принимала желательное для них направление; в противном случае писатели легко могли стать жертвами императорского произвола. Для творчества писателей наиболее безопасное направление определялось риторическим образованием. В школах риторов культивировались в целях тренировки красноречия декламации на искусственные, надуманные темы, далекие от реальной действительности и часто вовсе бессмысленные<sup>1</sup>. Это воспитывало у писателей пристрастие к чисто внешним стилевым эффектам. Интерес к формальной стороне произведений развивался, таким образом, в ущерб его содержанию. В этом смысле система школьного риторического образования оказывала на все литературное творчество I в. пагубное влияние. Однако главная вина в обеднении содержания литературных произведений в угоду внешней форме ложится на социально-политическую систему римской империи, предоставившую риторике господствующую роль в образовании и фактически взявшую ее на свое идеологическое вооружение.

Новой эпохе свойствен и новый стилистический идеал — возврат к прошлому в смысле всемерного подражания классическим литературным образцам и формам. В литературе этого времени господствующим было эпигонское направление. На образцах писателей и поэтов классического периода молодое поколение воспитывалось уже в школах. Подражание мастерам прошлого выражалось в заимствовании формы, содержания, поэтических приемов, художественных образов из их произведений. Замечается возрождение эпоса, создается много эпических поэм на исторические и мифологические сюжеты: «Пуника» Силия Италика, «Аргонавтика» Валерия Флакка, «Фиваида» и «Ахиллеида» Стация. Творчество этих писателей не внесло ничего принципиально нового в разработку жанра, не создало никакого нового направления в литературе. Надо, однако, заметить, что тот же Стаций, последний из эпических поэтов, своими стихотворениями на случай («Сильвами») снова привлек внимание читателей к малым формам произведений, интерес к которым возник еще во времена Катутла и сохранялся в золотом веке. Еще тогда были выработаны малые формы в поэзии (оды, буколика, элегии), теперь же они как бы вновь утверждались творчеством ряда писателей (в поэзии особенно Марциалом, в прозе Плинием Младшим).

Таким образом, наряду с эпигонством продолжала развиваться и другая, отличающая это время, черта: поиски писателями каких-

---

<sup>1</sup> См., напр., письмо II, 3, где Плиний рассказывает о греческом философе Иссе, виртуозные импровизации которого на любую подсказанную ему тему вызывали всеобщий восторг слушателей.

то иных, новых путей в литературе, ярких и выразительных форм художественного творчества, созвучных времени и отражающих его настроения.

Живительные новаторские тенденции затронули творчество многих писателей I в. н. э.: Федра, Петрония, Марциала, Сенеки Младшего. Выработка новых форм творчества сопровождалась неизбежной борьбой их со старыми и вызывала ожесточенные споры в литературной среде. Новые, и особенно малые, формы (будь то басня, сатира, эпиграмма или письмо), соответствующие жизненной направленности их содержания, упрочивали свое положение в литературе и утверждали в ней элементы реализма в противовес наскучившим безжизненным и многословным, риторически изощренным формам.

Литературная полемика этого периода по различным вопросам поэтического творчества, художественной прозы и ораторского искусства нашла свое живое и конкретное отражение в эпиграммах Марциала, сатире Петрония, в письмах Плиния Младшего.

В риторике этого времени по-прежнему сосуществовало два стилистических течения: азианизм и аттицизм. О спорах представителей их писал в своем трактате «Об образовании оратора» учитель Плиния Квинтилиан, придерживавшийся в споре средней линии, как и Цицерон, воспитанный на традициях Родосской школы. В вопросе борьбы двух направлений Плиний также примыкал к цицероновской традиции, высказываясь против крайних аттицистов, неспособных, по его мнению, развивать воображение и совершенствовать речь. В письме к Миницию, приверженцу строгого сухого стиля, он говорит о какой-то своей книге, написанной с применением разных стилей: «Всякий раз, подозревая, что какое-нибудь место покажется тебе слишком напыщенным, потому что оно звучно и возвышенно, я считал не лишним, чтобы тебе не мучиться, сейчас же добавлять другое, более сжатое и сухое, вернее, более низменное и худшее, а по вашему суждению, более правильное» (VII, 12, 4)<sup>2</sup>.

Но если, с одной стороны, Плиний под влиянием Квинтилиана наследовал культ Цицерона, то, с другой, он воспринял вкус и к азианскому красноречию, привитый ему другим его учителем, известным оратором Никитой Сацердотом, представителем противоположного Квинтилиану направления. В полемике между азианистами (или модернистами) и аттицистами Плиний, таким образом, не занял какой-либо одной определенной позиции, а предпочел, по-видимому, компромиссную среднюю линию. Об этой двойственности Плиния красноречиво говорят все его письма, отразившие различные литературные влияния: написанные ясным, хорошим

<sup>2</sup> См.: Письма Плиния Младшего. М.—Л., 1950. Перевод М. Сергеева и А. Доватура. В дальнейшем цитаты из писем Плиния даются в этом переводе, в некоторых случаях с небольшими стилистическими изменениями.

языком, они отнюдь не лишены элементов модного стиля. Наряду с краткостью и простотой речи Плиний ценит блеск и силу изложения, обилие риторических фигур и стиливую изобретательность (VII, 9). Сам того не сознавая, Плиний отдавал, таким образом, известную дань времени, отличавшемуся неустойчивостью вкусов. Он был его характерным представителем. В многочисленных письмах Плиния к друзьям всесторонне раскрывается бытовая и духовная жизнь Рима на рубеже I и II вв. н. э. По своему содержанию и характеру это чрезвычайно разнообразные письма, содержащие ценные сведения о римской жизни, касающиеся самых различных ее сторон и дающие богатый материал для характеристики привилегированных слоев римского общества, их быта, их интеллектуальных запросов.

Письма представляют собой немаловажный источник и для ознакомления с социально-экономической историей I—II вв. Плиний сам был видным сенатором, был близок ко двору императора Траяна, одно время управлял провинцией Вифинией. Его письма напоминают собой дневник впечатлений, своеобразную форму фиксации событий и настроений времени. Они дают любопытные фактические сведения, открывают интересные детали античного быта. В них всесторонне раскрывается жизнь современников Плиния. В письмах есть и рецензии на произведения писателей, и различные размышления морально-этического характера, и высказывания по вопросам стилистики и литературы. И хотя его письма не отличаются глубиной заложенных в них мыслей, они наглядно отражают постепенный спад широкой общественно-политической жизни в Риме, свидетельствуя о начавшемся угасании литературы, об измельчании литературной тематики и о тенденциозности писателей.

Так же как и его современники — учитель Квинтилиан и друг Тацит, — Плиний сознавал, что литературные интересы его времени заметно суживаются, что проявляется в посредственности литературной продукции. Он ощущал начинающийся упадок красноречия, хотя и не связывал все это с общим ослаблением политической и общественной жизни Рима. В I, 5, 12 он говорит о своем недовольстве современным красноречием, в I, 13, 1—2 жалуется на равнодушие слушателей к литературным собраниям: «Слушатели собираются, правда, лениво <...> не остаются до конца, а уходят раньше, одни, скрываясь и тайком, другие открыто и свободно». «Теперь самый праздный человек, которого давным-давно пригласили, а потом неоднократно напоминали о приглашении, или не приходит вовсе, или, если придет, то жалуется на потерянный день...» (там же, § 4). В письме к Реституту Плиний дает яркую картину поведения слушателей на рецитациях: «Они были похожи на глухонемых, ни разу не раскрыли рта, не шевельнули рукой, даже не встали, хотя бы оттого, что устали сидеть» (VI, 17, 3).

Такая реакция слушателей говорит лишь о том, что тематика литературных чтений в этот период истощилась и уже не вызывала, как некогда, в пору своего зарождения, энтузиазма аудитории. Сам Плиний с сожалением замечает, что случаи обмениваться мнением о государственных делах стали выпадать все реже и реже (III, 20, 10). Он здраво оценивает интеллектуальную слабость и пассивность большинства римлян в политической жизни; в частности, при обсуждении дел в сенате, «где голоса считают, а не взвешивают <...> где столько неравного в самом равенстве: здравый смысл не у всех одинаков, а права одинаковы» (II, 12, 5).

В другом месте Плиний осуждает недостойные приемы и ухищрения судебных ораторов, не пренебрегающих даже подкупом слушателей (II, 14).

Время требовательно подсказывало новые формы творчества художников слова. Следуя веяниям века, в смысле тяготения его к литературе новых, ярких и выразительных форм, Плиний всячески стремился создать такой тип художественного произведения, который бы не только вызвал, но и удержал интерес читателей. Пробовал он свои силы в поэзии, писал трагедию (VII, 4, 2) и много стихов, которые он называет «поэтическими шалостями» (IV, 14, 1), составлял речи; были у него мысли о создании исторического сочинения. «Лучше сделать что-нибудь одно замечательно, чем многое кое-как, но если ты не можешь сделать что-нибудь одно замечательно, то лучше сделать многое, хотя бы и кое-как. Имея это в виду, я пробую себя в разных областях занятий, не доверяясь полностью ни одной», — говорит он в письме к Рустику (IX, 29, 1). В конце концов Плиний все же остановился, по-видимому, на мысли создать что-то одно целое, а именно сборник писем, не уступающих по своим художественным качествам другим произведениям малой формы подобного рода.

Формой писем для выражения своих взглядов и замыслов пользовались до Плиния и другие писатели предшествующего ему времени. Так, нам известны, например, в поэзии: посвятительные стихотворения Катутла, обращенные к друзьям (правда, эти стихотворные обращения в известной степени формальны), «Понтийские послания» Овидия и его «Героиды» (любовные письма мифологических героинь своим мужьям), наконец, большие философско-литературные «Послания» Горация к Августу и Пизонам. В прозе мы знаем письма Цицерона к друзьям, письма Саллюстия к Цезарю и моральные письма к Луцилию Сенеки Младшего. Однако из них настоящими письмами, облеченными в литературную форму, можно считать только письма Сенеки.

Если во времена Цицерона и Саллюстия эпистолография соприкасалась главным образом с политической публицистикой, то с изменением общественного режима она стала терять свое политическое значение и примыкала теперь большей частью к школьным риторическим упражнениям.

На творчество Плиния, естественно, не могли не оказать влияния все эти традиции и все имеющиеся в предшествующей литературе образцы эпистолярного жанра. Он, конечно, хорошо изучил искусство эпистографии Греции и Рима и тем не менее пытался создать свой особый тип эпистолярного произведения.

Форма письма предоставляла автору широчайшие возможности для использования художественных средств речи, и Плиний в полной мере воспользовался этими возможностями. Он писал свои письма, вооруженный риторическими рецептами и различными способами украшения речи, воспринятыми и от Квинтилиана и от Сенеки, однако сумел избежать крайностей, присущих стиливым приемам этих авторов. Плиний действительно стал создателем нового жанра художественного произведения, может быть и не во всем оригинального, поскольку он впитывал в себя опыт предшествующей эпистографии<sup>3</sup>, но во всяком случае значительно обогащенного новыми приемами художественного творчества и отвечающего интересам современного общества.

И хотя Плиний, вне всякого сомнения, был знаком и с правилами эпистографии и с самими эпистолярными произведениями, его письма отнюдь не были подражательными. Ему удалось уловить тенденцию своего времени ко всемерному развитию новых видов литературных произведений и создать особую форму прозаического художественного письма, которое и по содержанию и по форме близко напоминает литературу малых форм в поэзии: эпиграмму, лирическое стихотворение, элегию и т. д. Такое письмо вполне отвечало запросам читающей публики и самих литераторов и было своеобразной прозаической параллелью к малым формам поэзии. Форма письма соответствовала настроению времени, общему характеру литературных интересов общества, устремленных теперь преимущественно в область индивидуальных переживаний, природы, быта. Спад интересов к общественно-политической жизни определял и ограничивал общую тематику произведений малой формы. Коренные социально-политические темы отодвинулись на задний план, вопросы широкого общественного значения, если и отражались в таких литературных произведениях, то лишь косвенным образом, через призму частной жизни, бытовых отношений. В связи с этим у писателей возникала потребность в новых изобразительных средствах, усиливался интерес к показу частных. Бытовые зарисовки, характеристика образа, фиксирование

<sup>3</sup> Письмо еще до Плиния имело в качестве особого жанра свои стиливые нормы и часто форма письма также служила писателю только литературным приемом. Напр., Деметрий рассуждал о необходимых достоинствах литературного письма, считая, что оно должно быть кратким и ясным, фигуры речи должны применяться в нем соответственно содержанию, его следует украшать пословицами, забавными выражениями (§ 223—235). Размышления об искусстве письма есть и у Цицерона в его письмах к близким (II, 4; IV, 13), и у Квинтилиана в его трактате (IX, 4, 19), и у Сенеки в его письмах к Луцилию (75, 100, 114 и др.).

деталей — эти элементы реалистического показа жизни — приобрели особую выразительность и живость в форме письма. В письме сосредоточивались и остроумие автора, запечатлевался его характер и образ мыслей, отражалась окружающая его жизнь во всем ее многообразии. В нем находили свое место и описания, и бытовые миниатюры, и критические замечания о литературе, и изъяснения чувств, и анекдоты, и новеллы. Письма, наконец, давали Плинию возможность показать свое стилевое своеобразие во всем его блеске и полноте. Бесспорно, у Плиния была особая склонность к литературе подобного рода. Форма и характер письма, включающего в себя момент случайного, индивидуального пережитого, предоставляли Плинию удобную возможность показать себя в самых различных жизненных ситуациях. Он и готовил свои письма, лелея надежду на известность и литературное бессмертие, стремясь увековечить в них свою жизнь, свои дела, свое литературное творчество. Естественно, слишком большая забота об этом не могла не сказаться на объективности материала в письмах. Поэтому к высказываниям Плиния о самом себе исследователи подходят с некоторой, вполне оправданной, осторожностью. Плиний представлен в письмах и оратором, и писателем, и хорошим хозяином, и верным другом. Для читателя все это представляет ценность, главным образом, с точки зрения ознакомления с этическими воззрениями, интеллектуальными интересами и эстетическими вкусами высшего общества времени императора Траяна.

Все письма Плиния делятся на две основные части, а именно: его частную корреспонденцию, включающую в себя 9 книг писем его к друзьям, представителям римских аристократических кругов (без ответов корреспондентов), и официальную, т. е. письма его к Траяну, выделенные в особую, десятую, книгу сборника и напечатанные вместе с ответными письмами императора. Эти деловые письма построены по обычному шаблону официального делового письма, форма их весьма традиционна<sup>4</sup>. Основания для отделения художественных писем от деловых заключаются, по-видимому, в формальных признаках, по которым Плиний признавал их годными к публикации. Он издавал только те из них, которые были написаны им *paucis magis cura* («несколько более тщательно» — I, 1, 1), так же как поступали позднее Симмах и Сидоний. Очевидно, по этой же причине ни одно из деловых писем времени его наместничества не включено в основной сборник. Конечно, они были, и не могли не быть, но не включены по тем соображениям, что, по мнению Плиния, были скучны и совсем лишены литературного интереса. «Я разрываюсь на своей работе, одинаково и большой и тягостной: заседаю в суде, отвечаю на жалобы, составляю

<sup>4</sup> Ср. официальную переписку Аврелия Симмаха, так же как у Плиния, изданную отдельно от его художественных писем. У Аполлинария Сидония есть упоминание о том, что переписка Плиния с Траяном издавалась отдельно от его писем к друзьям (*Epistolae*, IX, 1)



протоколы, пишу множество эпистол, не имеющих ничего общего с художественной эпистолографией» (*scribo inlitteratissimas litteras* — I, 10, 9). В письме к своему другу Сабину, требующему от Плиния многочисленных и длинных писем, Плиний, оправдываясь, пишет, что разрывался между разными скучными делами, «которые одновременно и отвлекают душевные силы и ослабляют их. Кроме того, не было и материала для того, чтобы много писать. Положение у меня ведь не то же, что у Марка Туллия, следовать примеру которого ты меня зовешь. У него имелся богатейший талант, и таланту этому соответствовали разнообразные и великие события, тогда происходившие. В каких узких пределах заключен я, ты это сам видишь, даже когда я молчу об этом; не посылать же тебе школьных писем, или, если можно так выразиться, писем-теней?» (IX, 2, 1—3).

Отсюда видно, что Плиний придавал немалое значение содержательности писем, их живой связи с общественной жизнью.

Официальная переписка Плиния с Траяном состоит из 121 письма. Из них 70 писем Плиния и 51 ответ Траяна. Время написания этих писем относится к 105—112 гг.; изданы они были, по всей вероятности, уже после смерти Плиния.

Переписка содержит в себе множество материалов для характеристики жизни провинции Вифинии, где в 111—112 гг. (или 112—113 гг.) Плиний занимал должность императорского легата. Она касается самых разнообразных вопросов управления провинцией: административно-политических, судебных, финансовых, градостроительства, много в ней автобиографических сведений, различных приветствий, поздравлений, просьб, обращенных к Траяну<sup>5</sup>.

Письма к Траяну резко отличаются в стилевом и тематическом отношении от писем к друзьям; не подвергшись никакой литературной обработке, они, как и подобает деловым письмам, коротки, точны, лишены какой бы то ни было художественности. Зато в качестве исторического документа они представляют собой, бесспорно, значительную ценность.

Для нас в данном случае эта часть писем составляет лишь относительный интерес, в то время как письма к друзьям представляются интересными с разных точек зрения и главным образом с точки зрения выяснения их литературного значения в качестве образцов эпистолярного жанра и их жанровых особенностей.

Общее количество писем к друзьям, распределенное Плинием в девяти книгах одного сборника, — 247.

Все письма в нем подлинные, но литературно обработанные и многие из них даже специально составленные с мыслью об их опубликовании. Об этом со всей очевидностью свидетельствует тщательная отделка их стиля, а также предельная законченность со-

<sup>5</sup> Подробный анализ содержания переписки Плиния с Траяном дан в книге В. С. Соколова «Плиний Младший» (М., 1956, стр. 281—332).

держания. Миниатюрные, изящные послания в прозе были рассчитаны на широкую читающую публику и на потомство.

Подготовленные к изданию письма составляют особый род литературных произведений. Они уже непосредственно относятся к категории литературного письма, которое отличается от обычной переписки тем, что автор их, задавшись целью обнародовать письма, отшлифовывал их внешнюю форму, придавал им характер художественного сочинения.

В письме, открывающем собрание писем, Плиний сообщает Септицию Клару о своем плане опубликования имеющихся у него старых писем, написанных им, как он говорит, более тщательно (I, 1). Он намеревался, таким образом, показать читателям свой незаурядный талант писателя-стилиста.

Приглядевшись внимательнее к письмам, нетрудно заметить, что художественная форма для Плиния — фактор немаловажный, оттесняющий, в иных случаях, содержание на второй план.

Однако было бы преждевременным заключать, что письма служат исключительно культу формы, и отрицать всякую политическую тенденциозность, окрашивающую творчество Плиния. Забота о литературной форме и отделке писем органически сочеталась у Плиния со стремлением придать содержанию каждого письма определенную целевую направленность и законченность. Именно это делает его письма особым художественным жанром и, что очень важно, жанром реалистического направления, хотя и довольно условного, на наш взгляд. Ведь содержание писем было взято исключительно из реальной жизни и поводами к письмам служили самые разнообразные жизненные ситуации, а художественные образы, созданные Плинием, имели под собой реальную почву.

Опубликование писем к друзьям относится примерно к 97—108 гг. Происходило оно группами или как-то еще — точно не установлено<sup>6</sup>. Ни в одном из писем не помечены календарные даты его написания, не обозначены места отправления. Сохранились письма полностью.

Какого-либо определенного, тематического или стилевого, характера письма Плиния не носят. Напротив, в зависимости от содержания, они написаны то в стиле риторической изысканности, то в стиле легкой беседы с друзьями. То они литературные, то философские, то исторические, то юридические по содержанию, а то и просто шуточные или бытовые.

Плиний обращается в своих письмах к близким друзьям, многие из которых, как и он сам, принадлежали к интеллектуальной верхушке римского общества. Общее число его корреспондентов 98, из них к 43 обращено всего лишь по одному письму. Наи-

<sup>6</sup> Специально вопросам хронологии писем Плиния занимался Т. Моммзен. См. его сочинение. «Zur Lebensgeschichte Plinius des Jüngeren». — «Hermes» (1869), Hf. 3, S. 31 ff. В датировке писем мнения исследователей расходятся.

большее количество писем адресовано Тациту (11 писем), Фабату и Максиму (по 9 писем), Воконию Руфу (8 писем), Канинию и Арриану (по 7 писем), Светонию (6 писем).

Содержание писем настолько многообразно, что перечислить хотя бы основную тематику их не представляется возможным в пределах этой статьи. К тому же подробное изложение и анализ содержания писем проделан В. С. Соколовым в его книге о Плинии<sup>7</sup>. О тематической пестроте содержания сборника может свидетельствовать любая, взятая наугад, книга писем. Здесь читатель найдет и рассказы о выступлении Плиния в качестве адвоката в судах, и характеристики литературных деятелей, и всевозможные описания, и обращения к друзьям с поздравлениями, приглашениями, соболезнованиями, просьбами, рекомендациями, советами.

Расположены письма в сборнике исключительно по принципу непрерывного чередования содержания и тона. При этом вся гамма тонов, которыми располагает Плиний, применяется им в строгом соответствии с содержанием письма. Порядок расположения писем настолько искусен, что у исследователей Плиния невольно возникает вопрос: все ли письма действительно были отосланы их адресатам и не является ли указание адресата иной раз лишь литературной формой художественного произведения особого рода?

Значительное место в письмах занимают литературные темы. Свыше 40 писем, распределенных по всем книгам сборника, посвящены вопросам современной литературы, риторики, литературной критики, не считая писем, касающихся рецитаций. Много говорит Плиний о себе самом, о своем таланте, о своей деятельности судебного оратора и служебных делах в сенате; однако, чтобы не казаться навязчивым, он распределяет все эти высказывания по всем девяти книгам. Есть в письмах и биографические очерки, такие, например, как характеристика Плиния Старшего (III, 5); Силия Италика (III, 7); сведения о жизни Светония (I, 18; I, 13; III, 8; VI, 1 и др.). По письмам Плиния можно познакомиться с отдельными сторонами частной и политической жизни Рима его времени, с настроениями литературных кругов, с множеством интересных людей, его современников. Письма дают живописные картины окружающей Плиния действительности и целую серию портретных зарисовок (Тацита, Фабата, Плиния Кальпурния и многих других)<sup>8</sup>. Плиний мастерски изображает не только отдельных людей, но и целые массовые сцены. При этом он использует прием драматизации в форме диалога, как, например, в I, 5; в I, 12; в VIII, 6 и 10; IX, 13 и др. Все это дает некоторое основание квалифицировать искусство Плиния как реалистическое —

<sup>7</sup> См. указ. соч., стр. 170—244.

<sup>8</sup> Анализ художественных образов см. в книге В. С. Соколова (стр. 144—162).

разумеется, не в современном значении этого понятия, — правдиво отражающее жизнь.

Письма Плиния, однако, не исторические документы, как, например, письма Цицерона. Они лишены той безыскусственной простоты, которой отличаются письма знаменитого оратора. Темы для писем у Плиния подобраны специально, они искусственны в большей своей части. Подавляющее большинство писем не связано между собой сюжетом и обращено к разным лицам. Нет в его письмах простоты обычного, частного письма и характерных для этого письма недомолвок, намеков; ответов на присланные ему письма тоже мало. И даже в функции ответного письма письмо Плиния включает в себя как обязательную деталь повторение вопроса, якобы содержащегося в письме к нему. Приводя предполагаемые вопросы или возражения своих адресатов, Плиний тут же отвечает на них, пользуясь приемом диалога. Например, в III, 9, 27: «Ты скажешь: «Не стоило труда! К чему мне такое длинное письмо?» — Не спрашивай тогда, что делается в Риме» (ср. II, 3, 9; II, 10, 5; IV, 29, 3; V, 8, 7 и др.).

Нигде не высказывается Плиний об ответах своих корреспондентов, не проявляет заботы о сохранении их писем. В некоторых письмах он, правда, просит ответить ему (II, 12, 7; IV, 11, 16 и др.), но это может быть иной раз лишь литературной имитацией действительной переписки.

Нет необходимости сравнивать самобытную красоту подлинных писем Цицерона и искусственную художественность писем Плиния. Трудно подыскать общий критерий, который можно было бы применить к обоим авторам. Конечно, нельзя отрицать того, что Плиний испытал влияние Цицерона, но его письма не похожи на цicerоновские. Если преобладающая часть писем Цицерона написана им без намерения издать их, то письма Плиния намеренно отбирались им для публикации и потому подвергались тщательной литературной обработке. Письма Цицерона это подлинная корреспонденция, запечатляющая какой-то действительный момент, настроение, раздумье. Письма Плиния большей частью, по-видимому, задуманы раньше, чем написаны. У Цицерона немало мест, затруднительных для понимания непосвященного читателя: есть недомолвки, намеки, поскольку его письма предназначались лишь для одного адресата. Письма же Плиния написаны, напротив, без всякого опасения, свойственного обычным письмам, что они будут прочитаны третьими лицами; они именно и написаны с тем намерением, чтобы их читали эти третьи лица. Словом, Плиний не просто человек, беседующий о том, о сем с другим человеком, а преимущественно автор литературного произведения, облеченного в форму письма, в котором читателю все ясно, потому что письмо именно на него и рассчитано.

Здесь налицо идеализированная беседа, весьма различная по тону: шутивная или серьезная, насмешливая или изящная, имею-

щая одну цель: заслужить одобрение читателя, развлечь его (*josari* или *ludere*)<sup>9</sup>. Общее между Цицероном и Плинием только то, что оба представляют в своих письмах картину жизни Рима: один — республиканского, другой — империи времени Траяна. Но, если письма Цицерона имеют огромную историческую ценность, как документы, отражающие политическую жизнь Рима, письма Плиния в познавательном отношении менее ценны, так как не обладают достаточной надежностью в качестве исторических свидетельств, хотя и они отражают жизнь Рима первого столетия в художественных образах через показ частной жизни его современников. Для читателя же его письма представляют большую ценность как оригинальный образец художественного произведения эпистолярного жанра в Риме на рубеже I—II вв. н. э. Есть разница между Цицероном и Плинием и в стилистическом оформлении писем. Письма Плиния дают отличный от цicerоновского языковой образ и свидетельствуют о его самобытности.

Если уж говорить о каких-то сближениях, то эпистолярное наследие Плиния ближе всего подходит к одам Горация, эпиграммам Марциала, «Сильвам» Стация. Между произведениями названных авторов и письмами Плиния обнаруживаются многочисленные точки соприкосновения. И несмотря на то, что по жанру все эти произведения отличаются одно от другого, все они, как и письма Плиния, запечатлевают отдельные жизненные моменты и явления, какие-то жизненные ситуации и настроения.

Взять хотя бы те же «Сильвы» Стация, современника Плиния; эти стихотворения на случай, так же как и письма Плиния, адресованы определенному лицу, отчасти они даже сопровождаются прозаическими посвящениями. Они представляют собой то эпиграмму, то утешение, то похвалу, то рекомендацию, то описание<sup>10</sup>, а то и забавную историю. Письма Плиния также напоминают собой то короткую новеллу (VI, 24), то притчу (IX, 12), то анекдот (II, 20; III, 15; IV, 22; VI, 15), порой письмо представляет собой лирическое описание природы, а то и просто краткую рецензию на литературное произведение, или чисто фактическое сообщение. Ситуацию письма Плиний нередко использует лишь как предлог для высказывания каких-то своих соображений, дум, чувств и т. д. В этом смысле прозаическое послание как бы соответствует интимной лирике. Содержание письма в таких случаях почти целиком отделяется от исходного его момента, иначе сказать, его повода, который как бы отодвигается на второй план. Иногда при чтении того или иного письма у читателя создается впечатление, что содержание письма слишком слабо связано с лицом, к которому оно обращено. В этих письмах обращение Плиния к адре-

<sup>9</sup> Ср. Квинтилиан, «Об образовании оратора», в гл. *De risu* (VI, 3, 17) о назначении *urbanitas, venustas, dicacitas, focus*.

<sup>10</sup> Ср. напр., описание вилл в «Сильвах» (I, 3; II, 2) с описаниями загородных вилл знатных римлян у Плиния.

сату носит в известной степени условный характер и выполняет, по-видимому, лишь функцию литературного приема.

Как уже отмечалось, Плиний подбирал ранее написанные им письма и составлял новые с мыслью об их издании. Предназначенное же для широкой публикации и соответственным образом подготовленное к этому письму утрачивало свой собственный, глубоко личный, присущий частному посланию, характер и приобретало, напротив, характер искусственности, перерастая, таким образом, в настоящее литературное произведение. Именно таким стало письмо у Плиния. Подлинное, но получившее литературную обработку согласно определенным теоретическим правилам, оно вылилось в специфический, вполне самостоятельный род художественного произведения в прозе.

В письме к Септицию Клару Плиний говорит о том, что собрал для выпуска в свет имеющиеся у него старые письма. Можно не сомневаться, что в основе собрания писем лежат те из них, которые Плиний писал вначале без намерения их издавать и лишь позже, как бы уступая уговорам друга, решил подобрать письма, литературно обработать их и опубликовать.

По-видимому, в процессе подготовки писем к публикации и возник у Плиния интерес к письму как особому типу литературного произведения. Перерабатывая письма, он придавал им тем самым особую форму, снабдив их множеством деталей, собственных уже не письму как таковому, а художественному сочинению.

Каждое письмо, как правило, посвящено какому-то одному, тематически законченному сюжету, который лишь в отдельных случаях повторяется или развивается в следующих письмах (например, в VIII, 6 и VIII, 10 — описание извержения Везувия или во II, 5 и IX, 26 — о стиле художественного произведения).

Несомненно, что написание писем Плиний подчинял известным нормам с тем, чтобы они представили собой определенную форму литературного искусства. И здесь не могло не сказаться влияние на него риторических школ, в которых преподавалась теория эпистографии, считавшейся вспомогательной, иллюстративной частью литературы, имеющей целью лишь разнообразие речи. Эти отклонения от основной темы произведения, своего рода литературные отступления, Плиний превратил в совершенно самостоятельные разновидности эпистолярного жанра. О влиянии риторических рецептов письма на письма Плиния говорят даже чисто внешние их данные; преобладающее количество писем сравнительно небольшого объема, в одну или половину страницы в среднем. Плиний постоянно имеет в виду это первое требование традиционной теории эпистографии о соблюдении разумной меры письма. Затем следующее требование: письмо не должно было выявлять искусственности, тщательности его обработки; напротив, оно должно было удовлетворять требованиям простоты, быть близким к разговорной речи.

Для каждого вида письма, было ли то описание, похвала, рассказ или рассуждение, у Плиния, по-видимому, был заранее продуманный план его расположения в общем сборнике писем, по которому он и подготавливал свое собрание писем к изданию отдельными книгами в несколько приемов.

Письма в сборнике расположены не в хронологическом порядке и ни в какой мере не претендуют на строгую последовательность затронутых в них событий. Плиний сам говорит об этом в письме к Септицию: «Я подобрал их (письма), не думая о хронологическом порядке (я не собирался ведь писать историю), а как они подвернулись под руку» и дальше: «Теперь я буду собирать письма, которые до сих пор лежали заброшенными, и не стану уничтожать те, которые, быть может, напишу» (I, 1, 1—2; ср. VI, 16, 32). И хотя Плиний обращает внимание читателя на то, что не думал о порядке расположения писем, собрание производит впечатление составленного с большой заботой и продуманностью. Письма искусно распределены в нем согласно общему композиционному плану Плиния.

Свой сборник Плиний готовил как нечто цельное, вполне самостоятельное по своей художественной законченности произведение, в то же время стремясь сохранить в письмах вид простого, непринужденного обращения к адресату. Руководящим принципом построения всего сборника писем, как и составляющих его книг, было у Плиния непрерывное разнообразие их содержания (*varietas*), так же как у Сенеки Младшего в письмах к Луцилию и позднее у Симмаха, но письма Плиния не носят дидактического характера, как письма Сенеки, — они задуманы как легкое чтение для широкой публики. Пестрое разнообразие для времени господства дилетантизма было первым требованием художественной литературы, имеющей целью развлечение читателей. Письма расположены в сборнике почти исключительно по принципу варьирования их содержания таким образом, что рядом оказываются письма тематически совершенно чуждые друг другу. В итоге сборник представляет собой пеструю смесь, где перемежаются остроумные наблюдения, сатирические зарисовки, лирические этюды, деловые замечания и т. д. Письма литературные помещены вперемежку с письмами семейного, бытового характера, письма о судебных делах с письмами исторического характера; рекомендации, благодарности находят свое место рядом с письмами-шутками и т. п. По мнению Плиния, разнообразие предотвращало опасность наскучить читателю, а речь, пусть даже самая длинная, может понравиться как самая короткая, когда «ее все время подновляют и обилие фактов, и остроумное распределение их, и множество историй, и разнообразие слога» (VI, 33, 8). В письме к Патерну Плиний говорит о каких-то своих стихотворениях, написанных то сжатым, то возвышенным стилем: «Самым разнообразием этим я стараюсь достичь того, чтобы одно понравилось одним, другое дру-

гим, а кое-что может быть и всем» (IV, 14, 3). Разнообразие проявляется, таким образом, не во внутреннем содержании отдельно взятого письма, в котором, напротив, речь идет обычно о каком-то одном предмете или явлении, а именно в совокупности всех книг собрания в смысле образования сюжетов из богатого ассортимента исходных моментов или поводов для написания письма. От какого-то частного случая, настроения Плиний идет к определенному заключению, или наоборот: после определенного размышления или заключения Плиний говорит о причине, побудившей его написать об этом (например, VIII, 22 и др.).

По форме каждое письмо обращено к определенному лицу, по сути дела адресат этот в большинстве случаев является условным обозначением широкой публики, к которой и обращается Плиний. Такая условная форма общения с адресатом позволяла Плинию высказывать самые разные соображения общего характера в естественном, легком изложении. Так, например, в IX, 7 Плиний обращается к Роману: «Ты пишешь, что строишься». Это дает ему возможность, кроме создания видимости ответа на письмо Романа, как бы кстати, поэтически описать свои усадьбы у Ларийского озера. И делает он это с исключительным мастерством настоящего художника слова. А во II, 17 подробное описание Лаурентийского поместья заканчивается коротким, в одну строчку, приглашением друга Галлия посетить эти места. Связь с адресатом у Плиния весьма относительна и выражается, обычно, одной-двумя фразами в начале или в конце письма, хотя она-то и является поводом письма и его неперенным фактором. Характеристики, даваемые Плинием писателям, чаще всего связаны с упоминанием об их болезни, смерти, а также с рекомендациями, просьбами. Литературные вопросы возникают преимущественно в связи с возвращением просмотренных книг. Различным размышлениям дают толчок какие-то единичные факты и ситуации, явления природы «... что мешает рассуждать о теоретических вопросах, хотя бы причина письма и была другая», — говорит Плиний в письме VII, 6, 8. Советы писателям заняться той или иной темой дают Плинию основание для рассказа, связанного с этой темой, и предложения прославить его в поэзии (например, рассказ о прирученном дельфине в IX, 33). В отдельных письмах повод их подчеркивается и какими-то внешними обстоятельствами, содержание же письма связывается с адресатом какой-то небольшой ссылкой.

Например, в письме к Арриану (II, 12, 6—7) Плиний пишет: «Я исполнил обещание, данное в прошлом письме, которое, судя по времени, ты, думаю, уже получил: я передал его быстрому и аккуратному письмоносни, разве его что-нибудь задержало в дороге. Теперь твоя очередь отплатить мне сначала за первое, а потом и за это письмо...»

Все это создает впечатление действительной живой корреспонденции.



Конечно, многие письма действительно были отосланы адресатам в своем первоначальном виде и, разумеется, не всегда формальные признаки подлинного письма являются лишь литературной формой, предлогом для высказывания мыслей и чувств автора. Сначала эти письма писались именно как простые частные письма, однако в предложенной читателю редакции, т. е. в том виде, в каком они опубликованы и дошли до настоящего времени, они являются письмами, специально подготовленными для собрания. Тщательно стилистически отделанные, они представляют собой прототип открытого письма, характеризующегося стертостью личных выражений или их обобщением и ставшего в своей центральной части литературным.

Письмо Плиния, сохранив в качестве художественного обрамления сочинения внешний вид обычного письма, вылилось фактически в форму легкой беседы, очерка, размышления или шутки; иногда оно напоминает хронике городской жизни. Исследователь писем Плиния Кукула<sup>11</sup> сравнивает его письмо, и не без основания, с беллетристической частью современной газеты. Действительно, некоторые письма по конкретности жизненных фактов, лежащих в их основе, напоминают собой своеобразный бюллетень новостей, фельетоны на различные темы из римской жизни. В таких письмах, в начале или в конце, прямо говорится об этом. Например, письмо IV, 11 начинается словами: «Ты слышал, что Валерий Лициниан сделался учителем в Сицилии?.. это свежая новость». Далее следует сам рассказ, а в заключение письма — просьба Плиния к адресату сообщать ему об интересных происшествиях (ср. III, 14, 6; VIII, 19, 11, где новости подаются в конце письма). В письме к Кальвизию (II, 20) Плиний рассказывает несколько занимательных историй, сопровождая рассказ шуточным обращением к адресату: «Приготовь асс<sup>12</sup> и послушай замечательную историю, вернее историй...», и дальше, между рассказами: «Хватит ли с тебя двух историй или, по школьному правилу, ты потребуешь и третьей? И она готова». Течение рассказа прерывается обращением к адресату и в III, 9, 27—28, после чего рассказ продолжается. Иногда и сам рассказ вставляется в рассуждение, как в I, 20, где рассказ о встрече с Регулом и разговор с ним вставлен в рассуждение о приемах ораторского искусства и передан в форме живого диалога. В фиктивных диалогах, в подражание обычной речи, Плиний широко пользуется парентезой, прерывая одну мысль другой мыслью, как бы комментирующей первую (II, 14, 10; IV, 13, 3 и др.). Иногда эти добавления носят язвительный характер и сообщают речи ту особую фамильярность, которая свойственна стилю обычного письма, например, в V, 7, 2 о завещании Сатурнина: «Для меня воля покойного (боюсь, как законники примут то,

<sup>11</sup> R. C. K u k u l a. *Briefe des jüngeren Plinius*. Leipzig, 1904, Einleitung, S. 34.

<sup>12</sup> *Мелкая монета, обычное вознаграждение уличных рассказчиков.*

что я собираюсь сказать) важнее закона...» (ср. V, 6, 42; VII, 6, 8 и др.).

Итак, у Плиния грани между действительным и художественным письмом стерты. И сборник его писем представляет собой особый род подлинных, но литературно обработанных в целях широкой публикации писем. Читатель даже затруднится четко различить, где Плиний брал за основу действительные письма и превращал их в художественные сочинения, а где письма были лишь литературной формой художественного сочинения.

Заслуга Плиния в том и состоит, что он создал художественное письмо в прозе. Создание такого письма в значительной степени облегчалось общественными отношениями и условиями современной жизни, поощрялось риторскими школами и вкусами широкой публики.

До Плиния жанр художественного послания неоднократно встречался в поэзии. Поэтическое художественное письмо было как бы предшественником прозаического художественного письма. И, конечно, в письмах Плиния отразились влияния литературных предшественников; в частности, например, те же послания Горация, хотя и обращенные к определенному лицу, также были предназначены для читающей публики, которой поэт хотел изложить свои мысли по вопросам литературы, морали, философии и т. д. Личный интерес его посланий был лишь исходной точкой для рассуждения на те или иные темы. Связь автора с адресатом в этом случае оставалась чисто внешней. То же мы видим в письмах Плиния: в роли Пизона у него выступают чуть ли не все его многочисленные адресаты. Вместе с тем письма Плиния очень отличаются от типа послания, развитого Горацием. Своеобразие их заключается в том, что они в силу своего ограниченного размера не развертывают избранную их составителем тему во всю ее ширину, а, напротив, касаются ее лишь вскользь и как бы мимоходом. Например, вопросы литературы и литературной критики сосредоточены Горацием в трех посланиях второй книги (причем 3-е послание к Пизонам фактически превратилось в настоящий трактат о поэтическом искусстве); у Плиния же весь литературный материал рассредоточен по девяти книгам небольшими частями в тщательно продуманном, в смысле композиционного построения всего сборника, плане.

По пестроте содержания и по художественности образов письма Плиния близко напоминают оды Горация, также обращенные к друзьям и ограниченные отдельными сюжетами. Если песни Горация называют письмами в стихах, то письма Плиния песней в ритмической прозе<sup>13</sup>.

Прозаическое письмо близко к поэтическому по своему внутреннему содержанию, выражающему индивидуальные чувства, мысли, впечатления писателя в форме обращения к другому лицу. Оно

<sup>13</sup> См.: К и к и а. Указ. соч., стр. 35.

близко к поэтическому, помимо того, и своей поэтической окраской: ритмическая проза писем Плиния богато иллюстрирована различными поэтическими деталями, среди которых поэтические обороты речи, игра слов, цитаты и т. д.

Однако письма Плиния и оды Горация очень различны по значительности их содержания. Если у Горация затронуты большей частью события общественной жизни — у Плиния больше всего тем, связанных с его собственной жизнью и жизнью людей его круга, хотя и у него немало писем, касающихся Домициана и его приближенных.

Вываченные, казалось бы, из самой гущи жизни темы представляют для Плиния интерес главным образом как сюжет, разнообразящий содержание всего собрания писем. Писатель легко переходит от одной темы к другой, обычно не углубляя ее, а затрагивая лишь поверхностно.

В каждом письме Плиний сохраняет единство плана — одно из первых условий художественности, — достигая разнообразия содержания, необходимого для эпистолярного жанра, не в отдельно взятом письме, а в искусном группировании всех писем. В этом его своеобразие. Ограничив содержание каждого письма какой-то одной темой, тщательно отполировав его стиль, Плиний соединил в одно стройное, гармонически связанное пестротой собрание эти вполне законченные по содержанию и изящные по стилю прозаические миниатюры. Такая художественная миниатюра в прозе по единодушному признанию исследователей Плиния не уступает по своим стилистическим качествам лучшим произведениям его времени. Единообразие содержания каждого письма у Плиния — всего лишь художественный прием, хотя открыто он об этом и не говорит, обуславливая это единообразие различными обстоятельствами, которые якобы и были истинной его причиной. Например, рассказывая Роману о смерти и похоронах Руфа Вергиния, Плиний заканчивает письмо следующими словами: «Хотел написать тебе много другого, но душа моя поглощена только этими мыслями» (II, 1, 12, ср. VIII, 23, 9).

Каждое из этих маленьких художественных посланий в прозе сохраняет внешнюю форму действительного письма: концовок («Будь здоров») и обращений («Плиний [следует имя адресата] привет»).

Следуя учению Квинтилиана, Плиний пытался преобразовать в самостоятельную форму письма все четыре группы отступлений от темы («восхваление людей и мест, описание стран, изложение некоторых подвигов, веселые истории»<sup>14</sup>), применяя их в качестве средства, разнообразящего речь. Наглядные примеры этих видов представлены в письмах: I, 10 и IX, 7 (для восхваления людей и мест), I, 8 (для изложения подвигов), VII, 27 и IX, 33 (для за-

<sup>14</sup> Квинтилиан, «Об образовании оратора», IV, 3, 12.

бавных историй). Предпочтительным средством, позволяющим избежать монотонности речи, считалась «экфраза» (описание). И Плиний искусно им пользуется: «Описания мест <...> позволено сделать не только исторически, но, пожалуй, и поэтически», — говорит он в письме к Луперку (II, 5, 5). Характерным примером для *descriptio regionum* могут служить IX, 7; II, 17; IV, 30; V, 6.

Плиний подчинял своему искусству эпистолографии множество новых сюжетов на всевозможные литературные, этические, юридические, исторические темы, не только установленных теорией и традицией, а выбранных им самим и почерпнутых преимущественно из действительной жизни.

Специально о теории письма Плиний нигде не высказывается, если не считать легких намеков на отдельные элементы этой теории, раскиданные в разных письмах. В VII, 9, например, он советует Фуску тщательно заниматься письмами, ибо «сжатой и точной речи учат письма», а в IV, 5, 4 пишет Юлию Спарсу, что следует быть кратким, где это возможно, считаясь, однако, с содержанием. Он оправдывает свое длинное письмо к Минициану таким образом: «Ты скажешь: «Не стоило труда! К чему мне такое длинное письмо?» Не спрашивай тогда постоянно, что делается в Риме. И притом помни, что не длинно письмо, обнимающее столько дней, столько заседаний, наконец, столько подсудимых и дел» (III, 9, 27).

Та же мысль о размере письма и методе работы писателя выражена в письме к Домицию Аполлинарию (V, 6, 42): «... я считаю первой обязанностью писателя прочесть собственное заглавие, неоднократно спросить себя, о чем он собирается писать, и твердо помнить, что если он не отступит от своей темы, то длиннот у него не будет, и что длиннот окажется в избытке, если он станет притягивать нечто теме чуждое». Самое лучшее, по мнению Плиния, соблюдать в речи разумную меру. «Но меры не соблюдает и тот, кто говорит и меньше, чем нужно, и больше; кто слишком сокращает себя и слишком распространяется. Поэтому ты одинаково часто слышишь как «не в меру и через край», так и «сухо и слабо». Об одном говорится, что он зашел за пределы своего предмета, о другом — что он их не достиг» (I, 20, 20—21).

Что касается тона письма, то он, как полагает Плиний, должен быть спокойным и умеренным, свободным от всякого негодования.

В письме могут и должны быть использованы поэтические средства выражения. С большой похвалой, например, отзывается Плиний о письме Вокония Романа: «Письма он пишет так, что кажется, будто сами музы заговорили по-латыни» (II, 13, 7).

Письма должны быть не только хорошо отделаны с точки зрения их внешней формы, но они должны быть и содержательны. Плиний убежден в этом: «Доколе же эти пошлости: «Что поделяешь? Хорошо ли поживаешь?» Пусть наши письма не будут

низменны и мелочны, пусть не ограничиваются частными делами» (III, 20, 11, ср. IX, 2, 3).

И все же Плиний — прежде всего тонкий изысканный стилист, признающий себя в вопросах стиля поклонником древних и считающий честью состязаться со славными ораторами прошлого (VII, 9, 3—4), в частности с Демосфеном и Цицероном (IX, 26 и IV, 8, 5).

Почитая старых мастеров слова, Плиний, однако, отдает должное и современным писателям. О своих литературных вкусах он говорит в письме к Канинию: «Я принадлежу к тем, кто восхищается древними, но тем не менее не презираю, как некоторые, современных талантов» (VI, 21, 1). Оценки современных литературных деятелей часто сопровождаются у Плиния сравнениями с древними: Пассиен Павл соперничает с древними Проперцием и Горацием (IX, 22, 1—2; VI, 15, 1); Аррий Антонин сравнивается с Каллимахом и Геродом (IV, 15, 1). Произведение Помпея Сатурнина Плиний сравнивает с сочинениями Катутла и Кальва, Плавта и Теренция (I, 16, 8).

Все письма на литературные темы (а их свыше 50) в соответствии с общим композиционным принципом, предполагающим методичное чередование различных по содержанию писем, распределены по всем девяти книгам собрания. По-видимому, Плинию казалось, что это позволит ему избежать схожести и однообразия в похвалах и оценках писателей. Следует отметить, что в многочисленных критических замечаниях о литературных деятелях Плиний касается почти исключительно формальных особенностей их сочинений, оставляя без внимания реальную сторону их творчества<sup>15</sup>.

В каждую книгу включено примерно 3—7 писем на литературные темы; правда, в последней 14 писем. Почти все письма адресованы разным лицам, если не считать Тацита, Луперка, Каниния, к которым обращено по 2—3 письма, касающихся литературных вопросов. И вставлены они между письмами, никакого отношения к литературе не имеющими.

Жанр письма, как впрочем и всякий другой жанр, подчиняясь своим специфическим стилевым законам, обуславливает новую художественную форму. Стиль подобного рода произведений предполагает какое-то индивидуальное настроение или переживание, какой-то единичный факт или момент, случайное явление. Плиний в своих письмах касается многих вопросов, которые могут заинтересовать читателей. Многие из них имеют лишь художественный интерес, а реальный интерес их поглощен временем и, таким образом, для нас утрачен (имеются в виду краткие деловые записки,

<sup>15</sup> Специально литературной критике Плиния посвящена статья М. Е. Грабарь-Пассек в сборнике «Очерки по истории римской литературной критики» (М., 1963). См. также ст. А. Гильмен «Pline et la société littéraire de son temps». REL, 6, 1928, p. 136—180.

поручительства и др.: II, 9; III, 18; IV, 4; V, 18; VI, 9; VII, 13 и др.).

Подавляющее большинство сюжетов писем касается действительных событий и происшествий. Это факты из жизни, то веселые, то грустные, иногда они ближе к анекдоту или фельетону, а иногда к новелле. Конечно, есть и вымышленные сюжеты. Но своеобразную окраску письмам Плиния придают именно те письма, которые правдиво отражают жизнь в художественных образах.

Плиний мастерски владеет различными приемами художественного творчества. Самые, казалось бы, обыденные мысли он умеет украсить тонкими изысканными словами, крылатыми выражениями, поэтическими цитатами из Вергилия, Гомера и других классических писателей.

В VII, 9, 8 Плиний дает Фуску совет о методе литературных занятий. Следует, по его мнению, разнообразить эти занятия, обновляя тем самым ум: «Я хочу, чтобы ты иногда брался за что-нибудь историческое; хочу, чтобы ты тщательно занимался письмами. Часто ведь в речи встречается необходимость в описаниях не только исторических, но даже почти в поэтических». Плиний рекомендует иногда даже освежиться коротким и остроумным стихотворением, «которое вносит подобающее разнообразие во всевозможные занятия и заботы» (§ 9).

На первый взгляд стиль писем Плиния производит впечатление простоты и искренности. Кажется, что пишет он, как говорит, допуская в языке письма и шутки и поговорочные выражения. В письме к Арриану Плиний пишет: «Самым прекрасным и вечным считаю я, как в жизни, так и в занятиях, соединение строгости с веселостью: первая не должна переходить в мрачность, вторая в разгул. По этой причине я разнообразяю серьезную работу забавами и шутками» (VIII, 21, 1—2).

Разнообразить речь в письмах и таким образом удерживать внимание читателя помогали также вопросы, о чем уже говорилось выше (IV, 29, 3; V, 8, 7; VI, 2, 1; IX, 17, 2; VII, 3; VIII, 14 и мн. др.).

Плиний не пренебрегал даже обычной разговорной речью большинства римлян<sup>16</sup>. Для современного читателя несомненно интересно то, что в письмах Плиния дан образец разговорной латыни серебряного века. Разговорная речь, как правило, вложена в уста лиц, фигурирующих в письме, например, в I, 5; I, 9; II, 6 и др.

Если говорить в целом о языке писем Плиния, то можно сказать, что он представляет собой любопытное смешение элементов легкой бытовой беседы и отшлифованного риторического стиля.

Плиний, создатель профессиональной художественной эпистографии, в отличие от Цицерона, полагающего, что для писем

<sup>16</sup> Ср. Цицерон, *Письма к близким*, XV, 21, 4.

употребительна только обычная и даже плебейская речь<sup>17</sup>, считает письмо особым искусством, стиль которого предполагает определенные нормы и как первую из них сжатость и чистоту (*pressus sermo purusque* — VI, 9, 8).

Надо сказать, при чтении писем Плиния возникает ощущение какой-то несогласованности между его теорией и практикой. Можно подумать, что он был мало заинтересован в практическом осуществлении своих теоретических принципов, если позволительно назвать принципами его разрозненные замечания, касающиеся теории письма, и, видимо, поэтому они не могли оказать решающего влияния на стиль его писем. Тем не менее, если сравнить его письма одни с другими, нетрудно сделать вывод, что наивысшее стилистическое искусство и литературное мастерство эпистолографа заключено именно в самых коротких письмах. А их в сборнике немало, особенно в IX книге (14 писем). Здесь проявляются основные достоинства писем — лаконизм и емкость, т. е. наполнение мыслью каждой строки. При этом в краткости нет скомканности и неясностей.

По своей чистоте стиль Плиния напоминает стиль писателей эпохи Августа, он хорошо отточен, поэтически окрашен, отличается изяществом и предельной ясностью, не оставляющей читателю сомнений в понимании смысла выражений, мысли автора. Непонятное или употребленное не в общепринятом значении слово комментируется Плинием, с целью пояснения, более известным синонимом.

Стремясь заслужить одобрение читателей и развлечь их, Плиний более всего заботится о слоге письма, о том, как искуснее выразить то, что он задумал. Слог его грациозен и легок. Исследователи в один голос утверждают высокое искусство Плиния говорить о разных предметах соответствующим языком и тоном. Целая гамма тонов представлена в письмах, множество оттенков отличает их одно от другого. Письма, в зависимости от сюжета, то игривые, то лирически взволнованные, то иронические, то драматические, то они негодующие, а то и спокойно повествовательные.

Выбор выразительных средств языка также определяется самой темой письма и его характером. И мы с полным основанием можем говорить здесь о таком достоинстве писем Плиния, как слияние их содержания и формы. Для истинного художника это фактор первостепенной важности.

При характеристике стиля Плиния нельзя скидывать со счетов и его тяготения к модному азиатскому красноречию, обусловленному временем, элементы которого обнаруживаются в письмах то там, то здесь.

Об этой раздвоенности Плиния в вопросах стиля свидетельст-

<sup>17</sup> Там же, IX, 21, 2: *sermo plebeius*. Цицерон имеет в виду здесь, очевидно, подлинные письма.

вуют его же собственные высказывания. Например, в письме к последовательному аттикисту Луперку Плиний защищает свой пышный стиль, отстаивает приемы образной речи. Плиний склонен думать, что иногда «следует отпускать поводья красноречию и не стесняться полет таланта узкими пределами» (IX, 26, 7). Однако надо строго различать *eloquentia* и *loquentia*, говорит Плиний, поясняя словами Юлия Кандида, что красноречие дано только некоторым, а многоречье множеству людей (V, 20, 5).

Кажется, что украшенному стилю Плиний отдавал преимущество перед простой и сжатой речью; во всяком случае во многих его замечаниях и правилах, касающихся теории красноречия, рассеянных по разным письмам, это ощущается довольно отчетливо (ср., например, I, 20, 22: «Я предпочитаю <...> речь, похожую на снежную вьюгу, т. е. обильно струящуюся и пространную...», «...не укороченная, урезанная речь, а широкая, великолепная и возвышенная гремит, сверкает и приводит в смятение» (§ 19). Он ценит порядок изложения и фигуры речи: «Замечательная изобретательность и великолепный язык бывают иногда и у невежд; ладно скомпоновать, разнообразить речь фигурами дано только людям образованным» (III, 13, 3) и тем не менее считает нужным добавить тут же, что нельзя злоупотреблять и возвышенностью стиля: «Как в картине свет бывает особенно ярк именно от тени, так и речи следует быть то простой, то возвышенной» (§ 4).

Не следует забывать, что Плиний был учеником Никиты Сацердота, сторонника азианского стиля, так же как и Квинтилиана (см. VI, 6, 3); разделяя вкус Квинтилиана к Цицерону и предубеждение его по отношению к Сенеке, Плиний, тем не менее, в некотором смысле ближе к Сенеке, чем к оратору.

По-видимому, Плиний не занял строго принципиальной позиции в вопросе о стиле художественного произведения — он был склонен к компромиссному решению, настаивающему на разнообразии стиля: с одной стороны, он ярый защитник пышного, цветистого стиля, с другой, — строгого и простого: «...я горячо желаю, чтобы когда-нибудь пришел день (если бы он уже пришел!), когда эта ласковая сладостность речи уступит, как законной хозяйке, место строгой суровости» (III, 18, 10).

Однако стилистическое разнообразие в письмах Плиния не свидетельствует об отсутствии в них единства и глубины художественной мысли. Напротив, оно означает какой-то новый, присущий одному Плинию, стиль и воспринимается читателем не как недостаток, а как характерная черта его творчества, один из его художественных приемов, соответствующий основному композиционному замыслу, — всемерно разнообразить содержание писем. А различным сюжетам свойственны и различные стили.

Таким образом, Плиний утверждает принцип гармонического сочетания формы и содержания.



В жанре, избранном Плинием, сочетание различных стилей как бы оправдывается самой спецификой письма, требующей разнообразных форм выражения. Письмо, содержащее рассказ, пишется одним стилем и тоном, письмо-описание другим, ну а, скажем, шуточное письмо требует тона, отличного от первых двух.

Среди писем встречается много маленьких рассказов. Например, о дельфине, любившем играть с каким-то мальчиком-пловцом (IX, 33). Рассказ отличается большим художественным вкусом. Он тщательно отделан стилистически, украшен различными риторическими фигурами, соответствующими его сюжету. В результате перед читателем возникает живая, грациозная картинка, хотя и не претендующая на правдивость. Плиний, предлагая эту тему поэтическому таланту Каниния, сам признает ее похожей на выдумку. «Хотя <...> что поэту до достоверности?» — говорит он (§ 1).

Такого же типа рассказ о привидениях (VII, 27).

Иначе составлен рассказ в письмах к Тациту (VI, 16 и VI, 20) об извержении вулкана Везувия, уничтожившем в 79 г. Помпею и Геркуланум, о смерти Плиния Старшего, дяди нашего Плиния, о приключениях самого автора и его матери в эти страшные дни стихийного бедствия. В рассказе читателя прежде всего поражает и привлекает в одно и то же время реалистичность описания извержения и драматичность его. Описание катастрофы изобилует живописными подробностями: здесь и землетрясение, и бушующее море, и падающие раскаленные камни, и дождь из пепла, и огонь пожаров, и всеобщая паника. Здесь же рассказ о гибели Плиния Старшего. Картина, как бы запечатлевшая грозные явления природы, подана без излишних риторических украшений, с большой художественной силой и реалистичностью.

Письма на текущие темы написаны в форме простой беседы, имитирующей живой разговорный язык. В таких диалогах часто используются эллипс, оксиморон, асиндетон, парентеза.

Истинным украшением писем Плиния служат шутки и остроты, органически сливающиеся с их основным тоном и содержанием.

В легком игривом тоне написаны письма к Октавию Руфу (I, 7) и Септицию Клару, которого Плиний шуточно бранит за то, что тот не явился на званый ужин (I, 15). В шуточной форме выражены упреки Тациту в VIII, 7, 2, а в V, 10, 2 Светонию, которого Плиний корит за медлительность и неторопливость в издании книг: «Поэтому или не откладывай больше, или берегись, как бы те самые книги, которые мои гендекасиллабы не могут извлечь лаской, не исторгли у тебя бранью хромые ямбы». В ряде случаев шутка подчеркивается умелым применением стилистической фигуры, — игрой слов, вопросом, сравнением, антитезой. Яркая антитеза вплетена, например, в легкий, шуточный тон, в котором Плиний говорит о своем «доходе» с лаврентийского поместья: «Там у меня ничего нет, кроме крыши и сада и песков сразу

за ними. И все же только там есть доход: там я очень много пишу и возделываю не поле (которого там нет), а занятиями собственный ум, и уже могу показать тебе здесь, как показывают по другим местам полный амбар, — полный ящик рукописей» (IV, 6, 2). В письме к Патерну (IV, 14, 8) Плиний, защищаясь от упрека в том, что он пишет не совсем пристойные стихи, которые сам называет «поэтическими шалостями», ссылаясь на авторитет Катутлла, говорит, играя словами: «К чему, однако, это многословие? Оправдывать и рекомендовать пустячки длинным предисловием и все пустое дело» (*Nam longa praefatione vel excusare vel commendare ineptias ineptissimum est*).

Защищая в шутивной форме свой разнородный стиль от порицаний приверженца строгого стиля Миниция, Плиний заключает: «Это я говорю, чтобы среди своих занятий ты мог порою посмеяться» (VII, 12, 5).

В некоторых письмах встречаются и элементы сатиры. Правда, они немногочисленны. Например, в письмах о Регуле, в которых Плиний разоблачает Регула, осуждая и высмеивая его низкий характер интригана, его угодничество и занискивание, его показную скорбь о смерти сына (I, 5; II, 20; IV, 2; IV, 7; VI, 2); ср. также письма с негодованием и насмешками в адрес Палланта (VII, 29; VIII, 6).

Но сатирические приемы не были свойственны писателю — представителю высшего рабовладельческого общества. Зато Плинию удалось создать целую галерею положительных художественных образов, живых и ярких, взятых из окружающей жизни. Среди них мы видим таких исторических и литературных деятелей, как Тацит, Плиний Старший, Силий Италик, Светоний и др.

Подкупает в письмах Плиния их мягкость, искренность и неподдельные чувства печали, скорби, вызванные болезнью или смертью близких ему людей (VI, 21; V, 16; VII, 19; VIII, 23 и др.).

Искренность и мягкость чувств подчеркивается соответствующим характером стиля этих писем, в них часто встречаются слова с уменьшительной частицей (*deminutiva*): *libellus*, *versiculus* и т. д., а в письмах, выражающих дружеские чувства Плиния, его восхищение природой, много поэтических оборотов, метафор, персонификаций. В похвалах, соболезнованиях, выражениях радости, а также в шутках часты восклицания (V, 16, 3—4; I, 15; IV, 19, 3 и др.).

Однако свои чувства Плиний не всегда выражает непосредственным образом, но часто игрой своего воображения, когда кажется, что он не просто разговаривает со своим адресатом, но как бы играет мастерством в обладании художественной формой.

Мастерски владея разнообразными приемами словесного выражения, Плиний с умением и гибкостью настоящего художника применяет их соответственно задуманному сюжету письма, стиливыми

усилиями обеспечивая нужную выразительность в каждом конкретном случае. Он настаивает, таким образом, на необходимости координирования содержания и формы художественного произведения. В VIII, 4, 3, одобряя намерение Каниния описать в стихах дакийскую войну, Плиний обращает его внимание на величайшую трудность «подобрать для всего этого соответственные слова».

В письмах представлены чуть ли не все правила риторического искусства, разработанные теоретиками и развитые самим Плинием в процессе приспособления их к эпистолярному жанру. Его письма и коротки и ясны, они умеренно и умело украшены стилистическими фигурами и тропами и остроумными сентенциями. Высокое искусство их стилистического построения сочетается с изяществом, непринужденностью и чистотой языка<sup>18</sup>.

Музыкальная и ритмичная проза Плиния нашла себе многих подражателей среди эпистолографов последующих времен. В метрической прозе писали письма Фронтон и Симмах, Сидоний Аполлинарий и Эннодий. Большое влияние оказал Плиний и на эпистолографов средневековья. В эпоху Возрождения и гуманизма письма также не были забыты. И до сих пор Плиний признается образцовым мастером эпистолярного жанра и находит своих почитателей. Он имеет все основания называться создателем высоко артистичного и в высшей степени зрелого художественного произведения эпистолярного жанра.

Письма Плиния к друзьям, будучи не только яркими художественными миниатюрами новой литературной формы, но в то же время и действительными письмами, отражающими различные стороны и события жизни римлян I в. н. э., представляют собой значительную ценность, как в литературном, так и в познавательном смысле.

---

<sup>18</sup> О стиле Плиния см. специальные работы: J. P. Lagergren. *De vita et elocutione C. Plinii Caecilii Secundi*. Upsala, 1872; J. Pliščezgánska. *De elocutione pliniana in Epistularum libris novem conspicua*. Lublin, 1959.

## ПИСЬМА ФРОНТОНА



До начала прошлого века о Фронтоне было известно лишь из произведений его современников и позднейших писателей (Авла Геллия, Евмения, Минуция Феликса, Клавдиана Мамертина, Сидония Аполлинария, св. Иеронима, Кассиодора и др.). Все они упоминают его имя с величайшим уважением. Фронтон считался тогда выдающимся оратором и теоретиком ораторского искусства<sup>1</sup>, основоположником школы в риторике, названной его именем<sup>2</sup>, главой модного литературного направления архаистов<sup>3</sup>. Он был знаменит также как наставник и друг Марка Аврелия, относившегося к нему с любовью и уважением<sup>4</sup>.

Находка начала прошлого века впервые позволила современным ученым непосредственно познакомиться с произведениями Фронтона. В 1815 г. кардинал Анжело Май, тогда служащий Амброзианской библиотеки в Милане, нашел палимпсест, содержащий часть переписки Фронтона с Марком Аврелием. Через несколько лет, работая уже в Ватиканской библиотеке в Риме, Май нашел вторую часть того же палимпсеста с письмами Фронтона. Ученые полагают, что найденный список относится к VI—VII вв. н. э. Переписка дошла до нас в неполном виде (вся она должна была состоять примерно из 680 листов, тогда как ее амброзианская часть содержит 282, а ватиканская всего 106 листов). Текст рукописи сильно испорчен. Критикой текста рукописи и приведением ее в удобопонятный вид занимались виднейшие ученые (Нибур, Буттман, Хайндорф, Клуссман, Гаупт,

---

<sup>1</sup> Евмений ставил его в один ряд с Цицероном и называл «не второй, но другой славой римского красноречия» (Панегирик Констанцию, 14).

<sup>2</sup> Сидоний Аполлинарий в «Письмах» (I, 1) говорит о «фронтонианцах» (*frontoniani*).

<sup>3</sup> Современник Фронтона Авл Геллий изображает его знатоком старой римской литературы, ведущим ученые беседы в кругу образованных почитателей.

<sup>4</sup> Капитолин сообщает, что Марк Аврелий любил Фронтона больше всех других учителей и почтил его статуей в сенате («Жизнеописание Марка»).

Хаулер, Набер, Эллис и др.)<sup>5</sup>. Результатом этих трудов явились лучшие издания Фронтона — издание Набера<sup>6</sup> и издание Гейнса<sup>7</sup> с переводом Фронтона на английский язык. Гейнс, специально занимавшийся хронологией писем Фронтона, сделал попытку построить свое издание по хронологическому принципу.

Надо сказать, что находка Май, вызвав сначала естественный интерес, разочаровала исследователей. Она заставила их усомниться в тех достоинствах Фронтона-оратора и Фронтона-писателя, которыми так щедро наделяли ритор его античные почитатели. Письма получили в критике самую отрицательную оценку за бессодержательность и манерный стиль, а Фронтон был заклеймен как лишенный вкуса, неумный и бездарный, наивно-тщеславный и раболепный ритор. Однако, как бы ни был бездарен придворный ритор Марк Корнелий Фронтон, как бы ни были бедны мыслями его письма, было бы несправедливо отрицать тот интерес, который такие письма могут иметь для историков литературы.

Действительно, переписка Фронтона, являясь подлинной его перепиской с реальными людьми, — прежде всего документ эпохи. Она проливает свет на жизнь правящей верхушки римского общества II в. н. э., на личность императора Марка Аврелия, знаменитого «философа на троне». Она служит единственным источником биографических сведений о Фронтоне, который, как бы низко ни ценили его современные исследователи, был центральной фигурой в литературе и ораторском искусстве своего времени. Кроме того, переписка доносит до нас — и в этом, пожалуй, главная ее ценность — литературные веяния той эпохи.

Вот те немногочисленные биографические данные о Фронтоне, источником которых послужила его переписка. Как и большинство писателей в этот период преобладания провинциалов в римской литературе, он родился вдали от Рима — в африканском городе Цирте между 100 и 113 гг. В разное время жил в Александрии и Афинах, но основную часть своей жизни провел в Риме. Уже при Адриане (годы правления: 117—138) он прославился как адвокат и учитель красноречия. Высокая репутация Фронтона и его слава ратора способствовали тому, что преемник Адриана Антонин Пий (137—160 гг.) вскоре после своего вступления на престол и усыновления Марка Аврелия (138 г.) назначил его воспитателем своих наследников — Луция Вера и Марка Аврелия. Уже будучи придворным учителем латинской риторики, он становится в 143 г. на два месяца консулом-суффектом. Через несколько лет после этого ему достается в наместничество про-

<sup>5</sup> *Об истории работы над текстом рукописи см. введение к кн.: M. Dorothy Brock. Studies in Fronto and his age. Cambridge, 1911.*

<sup>6</sup> *M. Cornelii Frontonis et Aurelii imperatoris epistulae, rec. S. A. Naber. Lipsiae, 1867.*

<sup>7</sup> *The correspondence of Marcus Cornelius Fronto. Edited C. R. Haines [in двух томах]. London, 1919.*

винция Азия, но тяжелая болезнь помешала ему занять эту должность. Отойдя от политики, он целиком посвящает себя риторике и литературе, пользуясь неизменным почетом и уважением как со стороны Антония Пия, так и со стороны сменившего его Марка Аврелия (160—180 гг.), своего любимого ученика. Дату смерти Фронтонна, так же как и дату его рождения, можно назвать лишь приблизительно. Во всяком случае, он умер после 166 г., так как переписка обрывается примерно на этом годе. Моммзен относит его смерть к 180 г., полагая, что Фронтон умер в одно время с Марком Аврелием.

Переписка включает в себя: пять книг писем Фронтонна к Марку Аврелию — цезарю (т. е. еще наследнику престола), две книги писем к Марку Аврелию — императору, две книги писем к брату и соправителю Марка — Луцию Веру, фрагменты из риторических посланий «О красноречии» и «О речах», книгу писем к императору-отцу Антонину Пию, две книги писем к друзьям, панегирик Веру под названием «Principia historiae», декламации «Похвала дыму и пыли», «Похвала небрежности», послание «О парфянской войне», четыре письма «Об Альсийских каникулах», два письма «О потере внука», риторическое упражнение «Арион», письма на греческом языке и фрагменты из речи за карфагенян. Точно неизвестно, кто опубликовал письма Фронтонна. Однако можно сказать почти наверняка, что это сделал не сам Фронтон, как думал Моммзен<sup>8</sup>. Сам Фронтон расположил бы их в более определенном порядке. Моммзен считал, что они расположены, в основном, по хронологическому принципу. Однако, по мнению Гейнса<sup>9</sup>, это можно допустить лишь с большими оговорками. Некоторые бесспорно ранние письма помещены в конце книги, переписка с Пием стоит после переписки с его преемниками. Однако вообще отрицать какие-то попытки систематизации нельзя. Например, письма периода консульства собраны вместе и помещены в начале. Письма о процессе Герода помещены вместе и в их естественном порядке. В отдельных книгах письма идут в хронологическом порядке, но новая книга не продолжает предыдущую хронологически, а начинает новый, независимый от предыдущей по времени, ряд писем. Сложно определить и хронологию большинства писем<sup>10</sup>. В этом случае подспорьем может служить упоминание в письме какого-либо известного факта, речи Марка и т. п., но в письмах Фронтонна, изобилующих отвлеченными риторическими излияниями и стилистическими советами, таких упоминаний немного. Точно можно датировать лишь письма, относящиеся к периоду консульства, и письма, где назван возраст Марка, — «К Марку Цезарю», I, 8 и IV, 13. Женитьба и рождение детей

<sup>8</sup> Th. Mommsen. *Die Chronologie der Briefe Frontos*. — «Hermes», 8 (1874).

<sup>9</sup> См. введение к упомянутому в примечании 7 изданию Гейнса.

<sup>10</sup> О хронологии писем Фронтонна см. упомянутую статью Моммзена и статью Гейнса «On the chronology of the Fronto Correspondance». — «Classical Quarterly», 4, апрель (1914).

Марка помогают датировать также письма V книги. Письма к друзьям, упоминающие занимаемые ими должности, могут быть датированы по нашим сведениям о ходе политической карьеры того или иного адресата. Так или иначе Гейнс полагает, что все письма написаны между 139 и 166 гг. Тот же Гейнс высказывает предположение, что собрать и издать письма Фронтонна мог только его друг и зять Ауфидий Викторин. Действительно, Викторин как наследник Фронтонна и человек, занимающий высокое положение в империи, вполне мог это сделать. К тому же это было, безусловно, в его интересах — увековечить память о своем знаменитом родственнике и выставить напоказ его дружбу с семьей императора. Это должно было отвечать и желаниям самого Фронтонна, который наверняка хотел, но, может быть, не успел этого сделать.

Письма Фронтонна лишь в очень малой степени отражают жизнь Рима тех лет в ее исторической, политической и даже бытовой сфере. Сравнительно в большей мере они проливают свет на ее литературные веяния, что, конечно, в значительной степени определяется общественным положением и интересами самого Фронтонна — придворного ратора и главы модного литературного направления. Очень мало писем написано по действительно деловому поводу. Большая их часть полна советов и поучений по разным мелким частностям риторики и стилистики. Все они обильно сдобрены лестью по отношению к царственным ученикам; правда, адресаты Фронтонна в свою очередь не скупятся на комплименты ратору.

Самые обычные сообщения о погоде, здоровье и тому подобных вещах облачены в пышные риторические одеяния, заключены в высокопарные фразы. В литературном отношении письма Фронтонна, как правильно было замечено<sup>11</sup>, хотя и не представляют собой произведений искусства, адресованных вымышленному адресату, наподобие писем Плиния, но они написаны и не беглым пером; это письма тщательно отделанные, адресованные учителем-стилистом своим ученикам, которым он должен привить любовь к стилю. Начало переписки относят обычно к 139 г., т. е. к тому времени, когда Фронтон стал учителем Марка Аврелия и Луция Вера.

Основная часть из дошедших до нас писем и посланий Фронтонна адресована Марку Аврелию. Помимо пяти книг «К Марку Цезарю» и двух книг «К Марку императору», ему адресованы риторические послания «О красноречии» и «О речах», послания «Об Альсийских каникулах», «О парфянской войне», декламации «Похвала дыму и пыли», «Похвала небрежности», письма «О потере внука».

Тон переписки между ревностным учителем и благодарным учеником свидетельствует о близких и дружеских отношениях

<sup>11</sup> R. Marache. *Mots nouveaux et mots archaïques chez Fronton et Aulu-Celle*. Paris, 1957. См. «Введение»

между ними. С течением времени эти отношения претерпели известную эволюцию. Фронтон силился внушить своему ученику такую же страстную любовь к риторике, какую испытывал сам. Но Марка гораздо больше привлекала философия. Как полагают, примерно с 147 г. он порывает с риторикой и целиком отдается философии. Приблизительно в это же время Антонин Пий стал активно привлекать его и к управлению государством. Переписка ученика с учителем становится менее интенсивной. Фронтон не в силах скрыть своей печали по поводу разрыва Марка с риторикой. Правда, он еще пытается доказать ему превосходство риторики над философией и ее полезность для правителя государства («О красноречии», и «О речах»). Однако письма Фронтона становятся все грустнее, появляется все больше жалоб на нездоровье; Марк, со своей стороны, жалуется на занятость. Тем не менее между ними сохраняются теплые отношения. Марк участвует в справляемых о здоровье своего бывшего учителя, просит руководить его чтением, жалуется на заботы и усталость («К Марку императору», VI, 1; 4). Фронтон с восторгом и немедленно, несмотря на болезнь, отвечает на его просьбы («К Марку императору», II, 2; 5), не забывая сопроводить свой ответ непременно порцией лести.

Чисто воспитательный характер имеют послания Фронтона «О красноречии» (*de eloquentia*) и «О речах» (*de orationibus*), письма «Об Альсийских каникулах», «Похвала дыму и пыли», «Похвала небрежности».

Послания «О красноречии» и «О речах» сохранились лишь в виде фрагментов, лишенных заглавия. Условные заголовки дал им Нибур. Маи полагал, что они были написаны, когда Марк Цезарь был еще наследником престола, но позднейшие ученые пришли к выводу, что их адресат уже был императором. Содержание фрагментов «О красноречии» говорит о том, что Фронтон всю свою жизнь не оставляя надежды внушить своему ученику любовь к риторике, доказать ее полезность и преимущество перед философией. В трактате «О речах» он просит Марка не пренебрегать риторикой, быть внимательным к стилю и не делать мешанины из подражания архаическому стилю Катона Старшего и подражания «новому» стилю Сенеки. Эти подражания, считает Фронтон, испортили бывший когда-то образцом цicerоновский стиль, отчего он стал искусственным и нечистым. Фронтон рекомендует Марку обратиться к старым писателям.

В 162 г., по хронологии Гейнса, Марк проводил свой отдых в Альсии, на этрусском побережье. В третьем, самом значительном из четырех писем этой серии, Фронтон, ссылаясь на природу и примеры предков, рекомендует своему ученику во время отдыха всячески закалять свой дух и тело. Советуя Марку побольше спать, он присовокупляет к письму нечто вроде декламации на тему «Похвала сну».



Он специально посылает Марку декламации, или риторические упражнения вроде «Похвалы дыму и пыли» и «Похвалы небрежности». Называя их «пустячками» (*pugalia*), Фронто, по всей видимости, с удовольствием занимается сочинением подобной чепухи, считая это занятие полезным для выработки хорошего стиля. «Похвалы» он посылает Марку с замечаниями о том, как трактовать подобные сюжеты, призывая и его заняться тем же. Ученик тоже не прочь иногда продемонстрировать свои риторические способности и показать учителю, что его советы не пропадают даром. Некоторые письма Марка напоминают риторические упражнения в заданном стиле, как, например, письмо II, 12 из цикла «К Марку Цезарю». Марк рассказывает Фронтому о происшедшем с ним забавном случае. Рассказ воспроизводит сценку из его повседневной жизни. Обращает на себя внимание стиль рассказа: язык сухой и сжатый, ритм фразы прерывистый. Некоторые исследователи называют этот стиль музыкальным термином «стакато».

«... Ты спрашиваешь, — пишет Марк, — что это за история? Когда мой отец возвратился из виноградников, я, как обычно, сел на лошадь и выехал на дорогу. Проехав немного вперед, я встретил там, на дороге, большое стадо овец, сбившихся в кучу, как обычно на узком месте, при них четыре собаки, два пастуха, и больше ничего. Один из пастухов, увидев всадников, сказал другому: «Ты видишь этих всадников? Это самые отъявленные разбойники!» Услышав это, я прищипорил коня и въехал прямо в середину стада. Испуганные овцы шарахнулись в разные стороны и, блея, разбежались, кто куда. Пастух метнул в нас свой посох, он угодил во всадника, который скакал за мной. Мы обратились в бегство. Вот, таким образом, тот, кто боялся лишиться овец, потерял свой посох. Ты думаешь, это выдумка? Чистая правда...»<sup>12</sup>

Стиль этого письма выгодно отличается от обычного, обильно украшенного риторикой, стиля писем Марка и Фронтонна.

Учитель и ученик часто обмениваются в письмах впечатлениями об ораторе или декламаторе, которого им довелось недавно услышать. Впечатление обычно преподносится в весьма замысловатой форме. Вот как пишет Фронтому Марк Аврелий об известном в то время риторе Полевоне («К Марку Цезарю», II, 5):

«... Он кажется мне похожим на очень опытного трудолюбивого земледельца, который занял только под посев пшеницы и виноградники большое поле, где наверняка и урожай прекраснейший, и доход богатейший. Но нигде на этом поле не видно ни помпейской смоковницы, ни арицийских овощей, ни тарентской розы, нет здесь ни прелестной рощи, ни густого леса, ни тенистого платана: все это больше для пользы, чем для удовольствия, все это мы готовы хвалить, но любить не расположены...»

<sup>12</sup> Цитаты из Фронтонна даются в переводе автора статьи.

Даже в сообщениях о погоде, которые встречаются в переписке, тоже чувствуется стремление к стилистической изысканности («К Марку Цезарю», II, 6):

«Небо Неаполя, — пишет Марк Аврелий, — вполне благоприятно, но сильно изменчиво. В короткий промежуток времени оно становится то холоднее, то теплее, то суровее. Так, первая половина ночи — теплая, как в Лавренте, потом, когда поют петухи, уже прохладно, как в Ланувии; в раннюю пору рассвета и до восхода солнца холодно, как в Альгиде; позднее и до полудня небо солнечное, как в Тускуле; затем — знойный, как в ПUTEОЛАХ, полдень; но, когда солнце отправляется купаться в Океан, небо, наконец, становится кротким, таким, как в Тибуре. Так продолжается вечер и начало ночи, до тех пор, пока, как говорит Марк Порций, «глубокая ночь не устремится к концу».

Много писем состоит из сплошных взаимных похвал (например, «К Марку Цезарю», I, 7 и II, 3). В первом из названных писем Фронтон восторгается по поводу того, что Марк Цезарь прочел его речь своему приемному отцу Антонину Пию: «... моя заурядная, чтобы не сказать, невзрачная речь, — восклицает Фронтон, — прославлена самым ученым и красноречивым из всех Цезарей! Никогда еще сцена не выглядела более благородно! Марк Цезарь — актер; Тит-император — зритель! Возможно ли, чтобы кто-нибудь из смертных мог достичь большего, — кроме, разве, того, кто окажется на небе в тот момент, когда там, по словам поэтов, музы поют, а отец Юпитер слушает...»

Во втором письме Марк Аврелий хвалит благодарственную речь императору, произнесенную Фронтоном в сенате в бытность его консулом. Марк утверждает, что «... легче было бы подражать Фидию, или Апеллесу, или, наконец, самому Демосфену или самому Катону, чем этому, столь совершенному и изысканному произведению. Я никогда не читал ничего более утонченного, более античного, более пышного, более латинского. О, как счастлив ты, одаренный таким красноречием! О, как счастлив я, имеющий такого учителя».

Разумеется, не вся переписка между учителем и учеником состоит из подобных риторических восторгов, хотя они и составляют значительную ее часть. В письмах иногда затрагиваются и более важные, жизненные темы. Представляет интерес одно письмо к Марку Цезарю (I, 8), где ритор дает своему ученику, наследнику престола, наглядный урок демагогии. Письмо написано вскоре после того, как Фронтон произнес в сенате благодарственную речь Антонину Пию, т. е. вскоре после августовских ид 143 г. Ритор упоен успехом своей речи и попутно, с высоты сознания собственной опытности, дает царственному ученику совет, как вести себя в собрании.

Реакция слушателей на отдельные места из речи, о которой говорит Фронтон в своем письме, свидетельствует о том, что и

в это время относительного внутреннего мира в сенате не было единодушия между сословиями.

«Ты, может быть, знаешь уже от нашего Ауфидия, — пишет Фронтон, — сколько одобрительных возгласов вызвала моя речь и каким хором похвалы были встречены слова «в те дни каждое изображение украшали патрицианские знаки отличия». Но когда я, сравнивая знатное сословие с незнатным, сказал, что это может делать только тот, кто считает, «что огонь костра подобен пламени алтаря, так как они одинаково светят», — то в ответ на это некоторые неодобрительно загудели.

К чему я тебе это рассказал? Чтобы ты, мой господин, когда будешь выступать в собрании людей, был подготовлен и знал, чем можно угодить их слуху: конечно, не везде и не во всех отношениях, но все-таки иногда и в значительной степени. Когда ты будешь делать это, напоминай себе, что ты делаешь подобное тому, что делаете вы, когда, по требованию народа, награждаете и отпускаете на волю гладиатора, который особенно проворно лишает жизни животных; ведь даже преступников и негодяев вы прощаете по требованию народа. Стало быть, повсюду народ господствует и берет верх. Стало быть, ты должен так поступать и так говорить, чтобы быть угодным народу».

Здесь же Фронтон рисует свой идеал оратора: «Услаждать слушателей, не нарушая правил красноречия — это и есть наивысшее достижение и трудно достигаемая вершина искусства оратора; но нужно, чтобы та лесть, которой он намеревается ласкать слух народа, не была бы слишком бесстыдной: пусть лучше грешит рыхлостью композиция и структура речи, чем мысль — распушенностью».

В другом письме («К Марку Цезарю», III, 1) он специально говорит о том, каково должно быть красноречие правителя. По его мнению, оно «должно быть подобно зову походной трубы, а не звукам флейты; в нем меньше звонкости, но больше весомости».

Из писем Фронтона к Марку Аврелию, относящихся к периоду консульства или с упоминанием консульства Фронтона, видно, что ритор был не чужд политического честолюбия («К Марку Цезарю», I, 8; II, 1, 3; III, 2—5). Став в 143 г. консулом, он очень рьяно относится к своим обязанностям. Во времена императоров консул обладал очень небольшой, главным образом судебной, властью. Это была скорее своего рода почетная должность: консул председательствовал в сенате, заведовал играми в цирке и другими празднествами. Фронтон был консулом всего два месяца — июль—август 143 г.; к тому же он считался консулом-суффектом, т. е. временно замещающим, и поэтому получил меньше почестей, чем обычно получал консул. Тем не менее консулат доставил ему много радости. В письмах неоднократно упоминается о его благодарственной речи императору, которая, по его словам и отзывам Марка Аврелия, имела шумный успех,

о цирковых играх, которые он должен был устроить в честь императора, и т. п. Из писем 8 и 9 к Антонину Пию явствует, что в свое время Фронтон получил и проконсулат в Азии, которого он долго ждал, но, к его величайшему сожалению, болезнь помешала ему исполнить свои обязанности.

Будучи придворным учителем риторики, он как судебный оратор-адвокат принимал участие в судебных процессах. Одним из самых громких был процесс известного ратора и софиста Герода Аттика, состоявшийся в Риме между 140 и 143 гг. н. э. («К Марку Цезарю», III, 2—5). Герод Аттик, представитель богатой и влиятельной афинской знати, породнившийся с римской аристократией благодаря женитьбе на родственнице Антонина Пия, обвинялся в различных преступлениях: в нарушении воли отца, в избивании свободных граждан, в убийстве одного из них и т. п. Главным обвинителем выступал афинянин Демострат, оратор из противной Героду партии. Его имя встречается в письмах Фронтона. Фронтон тоже готовился излить свое благородное возмущение в страстной речи. Марк, вступившийся за Герода, отговорил его от этого. Еще не очень убежденный, что он должен отказаться от разоблачительной речи против такого негодяя, каким, судя по всему, был Герод, но уже согласный склонить голову перед волей императора. Фронтон пишет: «... Что я не должен говорить помимо дела ничего такого, что могло бы повредить Героду, в этом я не сомневаюсь; но факты, действительные факты самого дела, — они ведь совершенно ужасны! Как мне с этим обращаться — вот в чем я сомневаюсь и о чем прошу совета. Мне придется говорить о свободных людях, избитых и ограбленных, из которых один был даже убит. Мне придется говорить о нечестивом сыне, забывшем отцовские просьбы. Жестокость и алчность должны быть осуждены, и виновником этих преступлений придется назвать некоего Герода. Поэтому если ты, самый лучший и любимый мой господин, полагаешь, что преступления, на которые опирается дело, дают мне право изо всех сил прижать и раздавить противника, — дай знать мне свое решение. Если же ты, напротив, полагаешь, что я должен ему в чем-то уступить, то я без колебаний последую твоему совету».

Судя по всему, Герод, благодаря вмешательству Марка Аврелия, был тогда оправдан. Фронтон же, по воле императора, сменил свое возмущение против, вероятно, далеко не безвинного Герода на дружеские чувства к нему («К Марку Цезарю», I, 6, 7; «К Марку императору», II, 8), еще раз продемонстрировав свое раболепие перед императором.

Среди писем Фронтона Марку Аврелию встречаются и письма, приоткрывающие завесу над личной жизнью Фронтона с ее истинными переживаниями. Таковы, например, два письма, объединенные заглавием «о потере внука» (*de nepote amisso*). Марк в своем письме выражает сочувствие по поводу смерти внука Фронтона.

В ответе Фронтон звучит искреннее человеческое горе, жалоба на судьбу за ее несправедливость.

«За всю мою жизнь, — пишет Фронтон, — судьба причинила мне много подобных огорчений. В самом деле, не говоря уже о других моих несчастьях, я потерял пятерых моих детей, и притом самым печальным образом — ибо каждого из пятерых я лишился в такой момент, когда он был моим единственным ребенком. Чередование моих утрат было таково, что каждый ребенок рождался у меня, уже осиротевшего. И я терял детей, не имея утешения, и производил их среди недавнего траура...»

Стало быть, вовсе не был так уж счастлив в жизни ритор, служебная карьера которого сложилась необыкновенно удачно и большая часть писем которого полна безмерных восторгов по разным поводам.

Из писем к приемному брату и соправителю Марка Аврелия Луцию Веру сохранились лишь те, которые относят к тому времени, когда Вер уже стал императором. Гейнс считает, что в существующей переписке писем к Веру раньше 161 г. нет. С Луцием Вером Фронтон был менее близок, чем с Марком, который иногда служил благожелательным посредником в их отношениях. Однако Фронтон с готовностью придворного так же услужливо откликается на просьбы Луция, как и на просьбы Марка («Письма к Марку императору», II, 7; 8).

Луцию Веру адресовано послание под названием «Principia historiae». По содержанию это послание представляет собой нечто вроде введения в историю парфянской войны. Известно, что Луций Вер был командующий римским войском в этой войне, которая протекала очень неудачно для римлян. По своей сути и по форме «Principia historiae» — это панегирик Веру.

У Фронтон есть и еще одно послание на историческую тему под названием «О парфянской войне» (*de bello parthico*), адресованное Марку Аврелию. Это заботливо отделанное риторическое утешение, послание в ответ на письмо Марка о поражении римских войск в парфянской войне. Вообще, надо сказать, что так называемые исторические послания Фронтон можно лишь условно назвать историческими, так как они имеют лишь косвенное отношение к истории. И в том, и в другом случае исторический факт служит лишь толчком или поводом к очередным риторическим восхвалениям или утешениям.

Вообще письма Фронтон — неблагоприятный материал для историка. Если Фронтон и упоминает какой-то факт, интересный для истории, то он рассказывает не о самом факте, а о своих, связанных с ним, переживаниях.

Письма Фронтон к Антонину Пию, императору и приемному отцу Марка Аврелия — это письма к благодетелю, полные подобоострастной признательности за все те блага, которые выпали на долю ритора благодаря его положению придворного.

Так, например, в письме 5, поздравляя Антонина Пия с годовщиной его восшествия на престол, Фронто пишет о том, что день восшествия Антонина Пия на престол — это день рождения его, Фронтон, благосостояния и почета. Это признание, подсказанное льстью, имеет под собой реальное основание. Фронто был известен в Риме как ритор и адвокат и раньше, но настоящий почет и богатство пришли к нему именно благодаря его приближению к императорскому двору. В одном из писем к Марку Цезарю (II, 1) Фронто под видом чистосердечного признания сравнивает свое отношение к Антонию Пию со своим отношением к Адриану. По его словам, Адриана он больше хотел умиловить, чем действительно любил; Антонина Пия же он любит, «как солнце, как день, как жизнь, как воздух». Если отвлечься от льстивой сути этого письма, надо сказать, что по форме оно довольно интересно и написано с несвойственной Фронто легкостью. Упомянув здесь о благодарственной речи Антонию Пию, которую Фронто собирается произнести в сенате, он объясняет, что пишет эту речь не торопясь, так как очень старается. Замечая, что для Адриана он старался гораздо меньше, он приводит любопытное сравнение: «... Как тот беглый раб-скороход, который будто бы сказал: «Для господина я бежал шестьдесят миль, а для себя пробежал бы все сто, лишь бы вырваться», — так и я, когда хвалил Адриана, бежал для господина, а сегодня я бегу для себя. Эту речь я пишу для себя — и я бы сказал по-своему. И для своего удобства я делаю это медленно, спокойно, постепенно». Ответы Пия отличаются приветливостью и благожелательностью к преданному до подобострастия ритору.

Письма Фронтон к друзьям отличаются особенным однообразием, так как большая их часть — письма рекомендательные. Среди адресатов Фронтон — люди в империи известные и значительные: проконсул Азии Лоллиан Авит, легат и проконсул Африки при Пие Эгрилий Пларин, видный полководец Авидий Касций, популярный декламатор Антоний Аквила, ритор Герод Аттик и т. д. Ответных писем в сборнике нет. Несколько писем из этой серии «к друзьям» адресованы другу и зятю Фронтон Ауфидию Викторину. Из них можно отметить согретое теплым чувством письмо I, 12, где Фронто с любовью и юмором рассказывает о живущем у него внуке.

Вряд ли можно думать, как считают некоторые исследователи<sup>13</sup>, что Фронто противопоставил свои письма «К друзьям» цицероновским письмам «К близким». При самом большом самообольщении Фронтон, при всем его честолюбивом стремлении превзойти великого оратора, Фронто не мог не сознавать, что такое противопоставление слишком невыгодно для его писем. Сам

<sup>13</sup> H. Peter. *Der Brief in der römischen Literatur*. Leipzig, 1901, S. 130.

Фронтон очень ценил письма Цицерона и даже ставил их выше других его сочинений («К Марку императору», II, 5).

В собрании писем Фронтона есть несколько писем на греческом языке. Двухязычие писателей — характерная черта античной литературы эпохи империи. Среди этих греческих писем — письма к известному историку Аппиану.

Аппиан — друг и современник Фронтона, автор «Римской истории», от которой сохранились разделы о пунических войнах, о войнах с Митридатом и о гражданских войнах до смерти Секста Помпея. Помимо греческих писем Аппиан фигурирует еще в одном письме Фронтона, адресат которого точно неизвестен, так как в рукописи оно не имеет заглавия. По мнению Маи, оно адресовано Антонину Пию, по мнению Нибура, — Марку Аврелию или Луцию Веру. Последнего мнения придерживается и Гейнс, который относит это письмо к 157—161 гг., когда правителями были уже Марк Аврелий и Луций Вер. Речь идет о должности прокуратора в Египте, на которую одновременно претендует Аппиан и какой-то грек. Вступаясь за друга, Фронтон подчеркивает моральное превосходство Аппиана перед соперником и тот факт, что Аппиан ждет уже два года. Призывая к справедливости, Фронтон говорит, что соперник Аппиана тоже должен ждать два года, а если через два года он сочтет себя уже слишком старым для этого, то пусть тогда откажется от нее, как сделал это он, Фронтон, отказавшись по болезни от проконсулата, которого тоже долго ждал.

В греческих письмах Аппиана и Фронтона («Письма на греческом языке», 4 и 5) говорится о двух рабах, которых Аппиан посылал в подарок своему другу Фронтому и которых тот отказался принять. Аппиан снова посылает ему рабов, сопроводив их письмом и убеждая друга не отказываться. В ответ на сравнительно небольшое письмо Аппиана Фронтон, как обычно, обрадовавшись случаю лишней раз показать свои риторические возможности, пишет ему длинное послание, которое выглядит как риторическое упражнение на тему о том, нужно ли принимать подарки. Рассуждения носят софистический характер. Вот отрывок из этого письма: «Спорным вопросом у нас, как я полагаю, — пишет Фронтон, — был вопрос: нужно ли принимать от своих друзей большие и ценные подарки. Настоятельно советуя делать это, ты привел в пример города, которые принимают друг от друга большие подарки. Итак, ты берешь на себя решение этого спорного вопроса. Я, утверждая, что частные лица не должны принимать друг от друга больших подарков, то же самое отношу и к городам, — [т. е. что] и городам, дескать, не следовало бы их принимать; ты же, напротив, решив, что принимать подарки — это долг городов, доказываешь, что это также долг и частных лиц. Но, может быть, ты согласишься, что нельзя решать спорный вопрос спорными доводами. Ведь если ты мне говоришь, что многие города принимают богатые подарки, то я могу сказать тебе, что мно-

гие из частных лиц также принимают подобные подарки. Но мы спрашиваем другое — справедливо ли и правильно ли они поступают, и эти частные лица, и эти города? Поэтому ты правильно сделаешь, оставив нерешенным в этом вопросе то, что касается городов. Ты ведь, я думаю, хорошо знаешь, что многие из самых знаменитых и имеющих хорошее управление городов часто не принимали дорогих подарков. Например, город римлян много раз отказывался от подарков, которые ему присылали». Как можно видеть, Фронтон был искушен и в формальной логике софистов.

Как уже было сказано, письма Фронтона дают возможность судить об его литературных вкусах и симпатиях. В них много восторженных упоминаний имен старых римских писателей: Энния и Невия, Акция и Пакувия, Луцилия и Лаберия, Катона и Гракхов («К Марку Цезарю», I, 7; IV, 3; фрагмент к Веру и т. п.). Он явно предпочитает их Цицерону, Цезарю и Горацию и видит в них пример для подражания. В своих письмах Фронтон неоднократно и с уважением говорит о Цицероне, отдавая ему должное как великому оратору. Он восхищается богатством его словаря, считает, что нет ничего лучше писем Цицерона («К Марку Цезарю», III, 14; IV, 3; фрагмент к Веру; «К Марку императору», II, 5, и т. п.), но, например, упрекает его в том, что он мало употреблял «неожиданных» и «непредвиденных» слов. Фронтон не скрывает, что архист Саллюстий нравится ему больше («К Марку Цезарю», IV, 3): «... Очень немногие из древних писателей отваживались на этот усердный и рискованный труд — тщательные поиски слов. С давних пор из всех ораторов этим отличался только один Марк Порций, да его прилежный последователь Гай Саллюстий...» Цицерон же, по мнению Фронтона, «был далек от тщательных поисков слов, то ли по величию души, то ли потому, что избегал труда, то ли от уверенности в том, что даже без особых поисков у него всегда будут наготове такие слова, какие другим едва ли попадутся, даже если они их и искали». Во всяком случае, заключает Фронтон, «во всех его речах ты найдешь только очень немного неожиданных и непредвиденных слов, которые выискиваются не иначе, как с помощью усердия, заботы, бодрствования и памяти, хранящей много стихов древних поэтов. А неожиданным и непредвиденным я называю такое слово, которое обнаруживается вопреки ожиданию и мнению слушателя или читателя: так, что если ты его удалишь и прикажешь читателю самому найти какое-нибудь слово, то он либо никакого не найдет, либо найдет другое, которое уже не так хорошо выражает нужную мысль».

Известно, что Цицерон, особенно в речах, рассчитанных на широкую публику, намеренно избегал малоупотребительных слов, так как всегда стремился к тому, чтобы речь его была легко и полно воспринята слушателями — от этого зависел успех дела, по которому он выступал. Фронтон же, с высоты своей «риторики ради риторики», напротив, желает поразить слушателей «неожиданными»



и «непредвиденными» словами, видя в этом проявление похвального умения и особый риторический шик.

Однако, справедливости ради, надо отметить, что письмо показывает умение Фронтона внимательно и чутко относиться к слову.

В фрагменте «К Веру», где Фронтон защищает право художника на свой стиль, некоторые исследователи (например, Д. Брокк) справедливо усматривают полемику Фронтона, стремившегося поколебать застывшие со времени Цицерона каноны римского красноречия, с приверженцами старой цicerоновской традиции. Протест Фронтона против цicerоновской традиции был, быть может, вполне закономерен, так как другое время требовало и других форм. Но поскольку риторика давно уже утратила связь с жизнью, то требования Фронтона, идущие от его литературных, модных тогда, симпатий и вкусов, свелись к формальной изощренности, основанной на подражании древним.

Главные пункты в риторической теории Фронтона — это выбор слов и их расположение. К этой теме он неоднократно возвращается в письмах. Вся вторая часть упомянутого выше фрагмента посвящена выбору слов. Фронтон полемизирует здесь с Марком Аврелием, который полагал, что следует намеренно избегать красноречия и тщательной отделки речи.

К выбору слов, как уже можно было видеть, Фронтон призывает относиться с особой заботой и старанием и искать слова у старых авторов: Катона, Энния, Плавта. Сам он любил слова «истинно латинские» и «давно установившиеся». В вопросе о расположении слов он выступает за естественную их расстановку, осуждая инверсии. В одном из писем к Марку Цезарю (III, 16), где Фронтон рассуждает о трех родах красноречия, ясно сказалось его пристрастие к показательному роду красноречия и высокому стилю, где все должно быть очень тщательно отделано. Сам Фронтон, по мнению Клавдия Мамертина, был особенно хорош именно в показательном роде, а по мнению Макробия, — в простом, судебном. В судебных речах он рекомендует иногда нарочитую грубость и небрежность. Характерно, что Фронтон, уделяя огромное внимание форме, все-таки теоретически считает, что грубость формы лучше, чем отсутствие мысли. На практике же в его письмах и трактатах обращает на себя внимание именно бедность мысли.

Среди особенностей его стиля можно отметить неумеренное употребление сравнений, не всегда уместное употребление афоризмов старых римских писателей и тяжеловатый юмор.

Деятельность Марка Корнелия Фронтона знаменует собой глубокое идейное и художественное обнищание литературы «золотого века» империи, состоящей в услужении у власти и видевшей свою задачу в ее восхвалении и в стремлении к художественной изощренности. Однако, несмотря на ограниченность содержания и дефекты стиля писем Фронтона, они не могут не представлять для нас интереса как характерный памятник своей эпохи.

## ПИСЬМА В РИМСКОЙ КОМЕДИИ



Одним из самых обычных и даже излюбленных драматургических приемов новой европейской комедии служит прием «письма». Он есть и у Бомарше в «Севильском цирюльнике», и у Гоголя в «Ревизоре», и в «Последней жертве» у Островского. Даже среди персонажей драмы — «благородных отцов», «резонеров», «любowników» и прочих ампула имеются и такие, которые появляются на сцене как «податели письма», являющиеся отдаленными потомками античных «вестников»; и хотя их роль более чем скромна, куда скромнее роли балерины «у воды», эти письмоношцы, принадлежащие обычно к «лицам без речей», нередко претендуют на звание настоящих актеров, как это остроумно подмечено Андерсеном в его сказке «Директор кукольного театра».

Видно, «письмо» отнюдь не случайность в строении драмы, а один из тех приемов, какие дают возможность автору не только живее развить действие, но в некоторых случаях сделать письмо даже основной двигательной силой всей пьесы. Это прекрасно видно в «Ревизоре», где письмо городничему завязывает всю комедию, а письмо Хлестакова Тряпичкину развязывает ее.

Прием «письма» далеко не новый, а восходит, как и многие другие драматургические приемы, к глубокой древности. В античной драме он использован Еврипидом в трагедии «Ифигения в Тавриде» и Плавтом в нескольких его комедиях. Вряд ли можно сомневаться в том, что этот прием был использован и в греческих комедиях, но доказать это невозможно, потому что в тех комедиях, какие до нас дошли, писем не встречается; но вот в комедиях Плавта прием «письма» играет уже существенную роль. Прием этот использован Плавтом в комедиях «Бакхиды», «Куркулион», «Перс» и «Псевдол». Кроме того, есть изложение письма в комедии «Грубиян» (ст. 397—400) и упоминание о письме в той же комедии (ст. 412) и в комедии «Три монеты» (ст. 774—819 и 896 сл.).

В комедии «Псевдол» письмо молодой гетеры Феникии ее любовнику Калидору служит и завязкой всей комедии и вместе с тем играет роль пролога. Раб Псевдол спрашивает своего моло-

дого хозяина, чем он так огорчен и почему он все время плачет над письмом, которое постоянно носит с собой, и берется помочь его горю. Калидор протягивает Псевдолу письмо Феникии, а тот, прежде чем начать читать, вдруг спрашивает: «Что же это такое? Да тут, верно, буквы хотят зачинать детей: одна на другую прыгает. Кроме Сибиллы, никому и не разобрать, что здесь написано!». «Зачем так грубо говоришь ты о прелестных буквах, о прелестном письме, написанном прелестной рукой?» — восклицает Калидор, на что Псевдол снова возражает буффонадой: «Да разве у куриц бывают руки? Ведь это-то написала курица». «Надоел ты мне, — говорит Калидор, — читай или отдай письмо!». Еще несколько реплик, и Псевдол читает письмо, прерываемое восклицаниями Калидора и насмешками Псевдола. Вот это письмо (реплики опущены)<sup>1</sup>:

- 41 Феникия шлет Калидору милому  
 В письме на вошанных табличках свой привет,  
 Желая блага и ему и от него,  
 И плачет и тоскует всей душой своей.
- 52 Меня хозяин продал македонскому  
 Воителю за двадцать мин, голубчик мой,  
 В далекий край. Перед отъездом отдал он  
 Пятнадцать, остается только пять всего.  
 Уехал он и перстнем отпечаток свой  
 На воске сделал: кто печать такую же  
 Хозяину представит, с тем должны меня  
 К нему послать. И день уже назначен им  
 Для этого — ближайший Дионисов день.
- 64 Прощай ты, наша страсть — вся сласть любовная,  
 Игра и шутки, поцелуй сладкие,  
 И тесные любовные объятия,  
 И нежных губок нежные кусания,  
 Прощай, грудей упругих прижимание!  
 Нет больше наслаждений этих нам с тобой,  
 Пришел распад, разлука, одиночество,  
 Друг в друге если не найдем спасения.  
 Дать знать тебе стараюсь, что узнала я.  
 Увижу я, насколько любишь ты меня,  
 Насколько притворяешься. Теперь прощай.

Это единственное любовное письмо в комедиях Плавта. Оно вполне соответствует третьей сцене первого действия комедии «Куркулион», в которой та же завязка, что и в комедии «Псевдол»: молодому человеку надо во что бы то ни стало выкупить свою любовницу у ее хозяина-ленона, но сразу видно, что любов-

<sup>1</sup> Тексты Плавта даны в переводе Артюшкова, кроме письма из «Куркулиона», приведенного в переводе Петровского и Шервинского.

ницы в этих двух комедиях совершенно разные; в комедии «Псевдол» это — настоящая гетера, только предпочитающая молодого Калидора грубому македонскому воину, а в комедии «Куркулион» это — свободнорожденная девушка, лишь по несчастной случайности оказавшаяся во власти ленона и, как видно, искренне любящая своего поклонника. И в то время как Феникия остается во всей комедии лицом «без речей», Планесия в «Куркулионе» принимает живое участие и в первом и в последнем акте комедии. Эта существенная разница между молодыми женщинами и подчеркнута Плавтом приемом «письма» от гетеры, участия в действии не принимающей, и личным обращением к Федрому Планесии, а также приемом ее «узнания» в развязке пьесы.

В комедии «Псевдол» есть еще одно письмо, при помощи которого гетера Феникия достается Калидору. Это письмо воина Полимахероплагиды ленону Баллиону, которое Псевдол ухитрился получить для передачи владельцу Феникии:

- 998 Посланье воин Полимахероплагид  
Шлет Баллиону-своднику, скрепленное  
Печатью, как меж нас двоих условлено,  
С моим изображеньем. . .
- 1009 Гарпаг к тебе, слуга мой, отправляется
- 1011 С письмом. Получишь деньги от него и с ним  
Шли женщину. Не стоит посылать тебе  
Поклон: его достоин только стоящий.  
Тебя считал бы стоящим — тебе б послал.

Этому письму соответствует письмо мягеля Ликону в «Куркулионе» с той, однако, разницей, что оно поддельное, хотя и скрепленное печатью с выкраденного Куркулионом перстня Терапонтигона-Платагидора:

- 429 Приятелю Ликону в Эпидавре шлет  
Терапонтигон-Платагидор нижайший свой  
Поклон. . .  
Прошу тому, кто явится с табличками  
К тебе, — отдать здесь купленную девушку,  
При каковой ты сделке был посредником;  
И золото и платье, как условлено:  
Владельцу — деньги, девушку — подателю.

Оба эти письма прерываются репликами; но в «Куркулионе» только одна незначительная реплика «в сторону» на естественной паузе, а в «Псевдоле» все реплики жулика Симии (выдающего себя за посланца Полимахероплагиды) и Баллиона относятся непосредственно к письму и его подателю, которым Баллион не очень-то доверяет и удивляется тому, что письмо написано не по форме, т. е. без начального приветствия.

Образцовое деловое письмо с соблюдением всех правил вежливости имеется в комедии «Перс». Тут и начальное приветствие —

Salutem dicit Toxilo Timarchides  
et familiae omni. Si valetis, gaudeo,

и успокоительное сообщение о собственном здоровье — Ego valeo gecte, и конечное vale. Это подложное письмо даже чересчур, пожалуй, вежливо, принимая во внимание то, что рабу пишет его собственный господин; но ведь Токсилу надо, чтобы ленон чувствовал, с каким уважением относится к своим слугам их хозяин, и чтобы Дордал легче поддался на обман. Чтение этого письма прерывается несколькими репликами Дордала и Токсила, объясняющего ленону, какие выгоды сулит ему покупка девушки из Аравии:

- 501 Токсилу посылает Тимархид привет  
И всем домашним. Если вы здоровы, рад.  
Я жив-здоров, веду дела и с прибылью  
Вернусь домой не раньше восьми месяцев.  
Задерживает дело здесь одно меня.  
Хрисополис в Аравии взят персами,  
Богатый старый город, и великая  
Добыча там распродается вся с торгов.  
Вот это и мешает мне попасть домой.  
Содействие, и дружбу, и заботливость  
Подателю письма прошу оказывать.  
Все исполняй, чего ни пожелает он.  
Он у себя почетно принимал меня. . .
- 520 Красы необычайной и свободная,  
Уведена из самых недр Аравии.  
У нас на месте потрудись продать ее.  
Кто купит, риск той купли на себя берет,  
Ты в собственность не обещаю, никто не даст.  
А плату пусть получит он, уж ты устрой,  
Наличными деньгами. В этом удружи.  
И с гостем дружен будь, как друг, прошу. Прощай.

Все письма в комедиях «Псевдол», «Куркулион» и «Перс» (за исключением любовного письма в «Псевдоле») ведут к обману ленона. Другое дело в комедии «Бакхиды», где ленона нет: обе Бакхиды — гетеры самостоятельные. Но основная завязка в этой комедии та же, что и в остальных трех пьесах: надо добыть денег для выкупа гетеры. И вот одураченным оказывается отец молодого Мнесилоха, которому раб Хрисал ловко сочиняет два письма противоположного содержания, благодаря которым отец Мнесилоха попадает в хитро расставленные ему сети. Первое письмо:

- 734 Мнесилох привет отцу шлет своему. . .  
От Хрисала брань все слышу, что тебя обманывать

- 739 Я не стал, отец, и деньги отдал все сполна тебе.  
 ... А теперь, отец, с ним будь поосторожнее:  
 Хитрость он готовит, чтобы деньги у тебя стянуть,  
 Хвалится, что непременно стащит...  
 ... Обещает мне те деньги, чтоб отдать  
 Женщинам, проесть в трущобах, прокутить их дочиста.  
 Будь же осторожней, чтобы он не обманул тебя.
- 746 Но, отец, прошу я, помни, что тобой обещано.  
 Бить не бей, а связанного дома охранять вели.

Диктовка этого письма Хрисалом все время перемежается репликами Хрисала, Мнесилоха и другого молодого человека, приятеля Мнесилоха. Второе письмо:

- 997 Отец! Хрисалу выдай двести золотом —  
 Живым меня иначе не видать тебе.
- 1007 Мне стыдно показаться на глаза тебе,  
 Отец, про мой позор уж ты осведомлен,  
 Про связь с женою воина приезжего.
- 1013 Поступок глупый, сам я сознаю, отец,  
 Однако не оставь меня и глупого.  
 Дух страстный и глаза неукротимые  
 Внушили мне то делать, от чего мне стыд.
- 1019 А что Хрисал меня словами бранными  
 Журил и, наставляя, исправлял меня,  
 За это благодарен будь, отец, ему.
- 1025 Теперь, отец, могу ли я просить тебя:  
 Дай двести золотых мне...  
 Я клятву дал формальную до вечера  
 Сегодня ж, до ухода этой женщины,  
 Отдать ей деньги: клятву не нарушим же!  
 Избавь меня скорее от нее, отец.  
 Неужто жалко двести золотых отдать?
- 1035 Коль буду жив — сумею и шестьсот вернуть!  
 Прощай и сделай.

Это второе письмо написано совсем по-иному, чем первое; оно живо передает волнение и беспокойство молодого Мнесилоха, что подчеркивается еще: 1) отсутствием начальной формулы остальных писем у Плавта — от кого и кому написано письмо — ср. «Phoenicium Calidoro amatori suo ... salutem impertit» — «Miles lenoni Balioni epistulam conscriptam mittit Polymachaeroplages» (*Pseudolus*); «Miles Lyconi in Epidauro hospiti suo Therapontigonus Platagidorus plurimam salutem dicit» (*Curculio*); «Salutem dicit Toxilo Timarchides» (*Persa*); «Mnesilochus salutem dicit suo patri» (*Bacchides*, первое письмо); 2) отсутствием начального пожелания здоровья (*salutem*) в начале письма; 3) отсутствием и конечного «vale»

(наиболее полная формула концовки есть в комедии «Перс»: «Si valetis gaudeo. Ego valeo»).

Из обзора писем в комедиях Плавта видно, что в его время (к началу II в. до н. э.) уже настолько твердо выработались формулы писем, что нарушение их вызывает по меньшей мере недоумение у получателя письма. Письмо воина в «Псевдоле» и второе письмо Мнесилоха в «Бакхидах» ясно это показывают. Но в «Псевдоле» отсутствие начального приветствия сделано воином сознательно, для оскорбления ленона, которого он считает недостойным приветствия; а во втором письме в «Бакхидах» отсутствие этого приветствия должно подчеркнуть волнение Мнесилоха, которому не до соблюдения формул. Таким образом, пропуск формулы приветствия не случаен: в «Псевдоле» Плавт подчеркивает этим пропуском грубость и заносчивость воина, а в «Бакхидах» дает возможность Хрисалу разыграть из себя честного и бескорыстного раба.

Что касается стихотворной формы писем у Плавта, то все они, за исключением первого письма в «Бакхидах», написаны самым близким к разговорной речи размером — ямбическим сенарием. Когда письмо входит в сцену, написанную сплошь этим размером (как письмо Феникии в «Псевдоле» и поддельное письмо воина в «Куркулионе»), то это вполне естественно, но когда оно входит в состав песенных или речитативных частей комедии, то сразу прерывает эти музыкальные ее части и либо ведет к общему переходу текста в сенарии — в тех случаях, когда чтение письма все время прерывается репликами (в «Псевдоле» и при втором письме в «Бакхидах»), либо только на короткий срок прерывает кантик, в который оно заключено (как в «Персе», где чтение письма хотя и прерывается трохаическими септенариями Дордала и Токсила, но эти септенарии вполне естественны в перерыве между двумя половинами письма и не заставляют действующих лиц прервать кантик и обратить его в сенарии дивербия).

Но вот первое письмо в «Бакхидах» идет в тех же трохаических септенариях, что и та часть кантика, в какую оно входит. Это вполне понятно: ведь это еще не письмо, читаемое получателем, а только сочинение его; оно придумывается Хрисалом и записывается под его диктовку Мнесилохом, который сам, кстати сказать, ничего, кроме начального обращения, и не придумал. В сцене сочинения письма Плавт, как тонкий драматург, не стал нарушать ход кантика, но, если бы это письмо читалось в комедии отцом Мнесилоха, оно наверное было бы написано ямбическими сенариями, как и все другие письма у Плавта.

Плавт не только дает замечательные по своей правдоподобности письма, но сообщает и подтверждаемые другими текстами римских писателей сведения и о материале, на котором писались письма, и чем их писали, и как запечатывали. Феникия в «Псев-

доле» посылает привет Калидору «per ceram et linum litterasque interpretes»<sup>2</sup>, т. е. (дословно) «посредством воска, шнура и букв-толкователей». В «Бакхидах» Хрисал говорит Пистоклеру:

В дом теперь ступай к Бакхиде, Пистоклер, носи мне...

Пистоклер

Что?

Хрисал

Воск и шнур, таблички, грифель.

(Stilum, ceram et tabellas, linum.); а после того, как письмо написано под диктовку Мнесилохом, Хрисал говорит ему (ст. 748):

Воск и шнур давай. Свяжи вот, да печать поставь скорей.

(Cedo tu ceram ac linum actutum. Age obliga, opsigna cito). О запечатывании письма печатью перстня говорит и парасит в «Куркулионе» (ст. 369):

Ты таблички припечатывай, он послужит, я — поем.

(Tu tabellas consignato, hic ministrabit, ego edam). Вручая письмо меняле Ликону, Куркулион обращает его внимание на печать, удостоверяющую подлинность этого послания (ст. 420 сл.):

Куркулион

Усердно кланяться

Велел Терапонтigon и вручить тебе

Таблички эти вот.

Ликон

Да мне ли?

Куркулион

Подлинно.

Возьми, смотри печать. Что, знаешь?

Ликон

Как не знать:

Со щитником, слона перерубающим.

См. также «Бакхиды» (ст. 984 сл.), где Хрисал, передавая второе письмо Мнесилоха отцу, говорит:

Молча написал письмо вот, запечатал, мне вручил

. . . . .

Погляди, печать. Его ли?

(Nosce signum. Estne eius?).

<sup>2</sup> По рукописному чтению, принятому Уссингом и Линдсеем. Ричль и Лео читают не *linum*, а *lignum*, основываясь на письме Авзония (Epist. 22), приводящего этот стих Плавта, и на реплике Псевдола в ст. 47 сл.: «Per ligneam salute vis argenteam remittere illi?» («На дереве шлет блага, ты же ей вернуть желаешь серебром?»). Но чтение *linum* дают рукописи Плавта, и эта lectio difficilior подкрепляется и ст. 715 и 748 комедии «Bacchides»,



Но вот подлинность письма Феникии в «Псевдоле» удостоверяется лучше всякой печати куриным почерком любовницы Калидора (ст. 23—30).

Письма в комедиях Плавта имеют исключительно важное значение для истории римской эпистолографии: это самые ранние из дошедших до нас латинских писем. Несмотря на то, что эти письма не от реальных лиц, а лишь от персонажей комедии, они, несомненно, очень близко отображают подлинные послания, известные нам лишь из более поздних памятников письменности. Формулы этих писем, о которых мы упомянули, — указание от кого и кому письмо, начальное приветствие, вопрос о здоровье получателя письма, сообщение о собственном здоровье отправителя, конечное «vale» — твердо удержались в римских письмах и стали настолько условны и необходимы, что даже чаще всего (кроме конечного «vale») писались не полностью, а только начальными буквами: S. D. — salutem dicit; S. V. B. E. V. — si vales, bene (est). Ego valeo; S. T. E. Q. V. B. E. — si tu exercitusque valetis, bene est (в письме Цицерона Гнею Помпею — Ad fam., V, 7); S. P. D. — salutem plurimam dicit, или просто S. P. и даже одно Sal. или S. с пропуском глагола. А иной раз эти стандартные формулы, наоборот, оживают, например: Si vos valetis, nos valemus («Если вы здоровы, то и я здоров» — Cic. Ad fam., XIV, 14); «vale», утратившее уже (как и наше начальное «здравствуй») значение пожелания здоровья, сопровождаются полновесным пожеланием здоровья, например: Valetudinem tuam cura diligenter. Vale. («Заботливо береги свое здоровье. Будь здорова». — В письме Цицерона к жене — Ad fam., XIV, 15) или: Tu velim tuam et Tulliae valetudinem cures. Vale. («Пожалуйста, береги здоровье свое и Туллии. Будь здорова». — Там же, XIV, 9). Особенно хорошо видно, что «vale» в сочетании с более значительным, но тоже довольно формальным заключительным пожеланием здоровья, обратилось просто в заключительную формулу письма (как и наше «будь здоров» или «прощай») — Cura, ut valeas (там же, XIV, 8 и др.).

Что же касается значения печати, которую накладывали на узел шнура, обвязывавшего письмо, то значение ее, гораздо более важное, чем почерк, который можно было подделать легче, чем печать, прекрасно видно из рассказа Тацита о Петронии, следовавшем перед смертью свой перстень, чтобы он не был использован для чьей-нибудь гибели при составлении подложного документа (Анналы, XVI, 19).

Таким образом, мы можем прийти к следующим выводам:

- 1) Ни в каких, известных нам, греческих драматических произведениях, кроме «Ифигении в Тавриде», прием письма не встречается;
- 2) Письмо Ифигении не играет той роли в развитии действия, какую оно играет в комедиях Плавта, так как письмо Ифигении только написано, но не послано;
- 3) Если основывать заключения не на предположениях, а на том, что нам известно, родона-

чальником приема письма в том виде, какой он получает в позднейшей драме, мы должны считать Плавта.

В комедиях Теренция прием письма не использован. Это можно объяснить тем, что Теренций, несомненно пользовавшийся греческими комедиями при сочинении собственных произведений, или не нашел этого приема у греческих комедиографов, или же не счел нужным его использовать.

Итак, Плавт, при наших сведениях об античной драме, остается не только родоначальником этого приема, но и единственным античным драматургом, использовавшим этот прием для развития драматического действия.

## ФИКТИВНОЕ ПИСЬМО В ПОЗДНЕЙ ГРЕЧЕСКОЙ ПРОЗЕ



Псевдоисторической эпистолярной прозе с I в. н. э. сопутствует эпистолярная беллетристика — явление, неизвестное классическому периоду. В эпоху эллинизма, а затем и во времена империи, когда изображение быта и психологии стало преобладающим элементом в искусстве вообще, а в частности в риторике и в художественной литературе, особое распространение получило умение изображать характер человека. Так называемая «этопея» (ἠθοποιία), первое упоминание которой мы находим у эллинистического ученого-эпикурейца Филодема, высоко ценилась Страбоном, Дионисием Галикарнасским, Гермогеном. Эпистолярная форма для «этопей» была наиболее удобна, о чем писал грамматик Деметрий (I в. н. э.): «Как и диалог, письмо должно содержать характерное в наибольшей мере: ведь в письме каждый человек почти создает изображение собственной души. И хотя из всякой другой речи можно узнать характер пишущего, но не так, как из письма» («О способе выражения, или Как писать письма», § 5). Как художественный принцип «этопея» объединяет весьма различные по жанровым истокам произведения беллетристической эпистолярной литературы:

1) «Письма Хиона из Гераклеи» (I в. н. э.) представляют собой продолжение и развитие новеллистических и романтических традиций эпохи эллинизма;

2) письма Алкифрона и Элиана (III в. н. э.), воспроизводя отдельные эпизоды из жизни различных социальных групп, во многом соприкасаются с «новой» комедией и мимом;

3) письма Филострата восходят к александрийской элегии и эпиграмме;

4) письма Аристенета, используя в большинстве случаев эпистолярную форму как традиционную условность, являются переходом к средневековой новелле.

Эти сохранившиеся памятники, видимо, составляли небольшую часть подобного рода литературы, о чем можно заключить по упо-

минаниям сочинений митиленского ритор Лесбонакта и софиста Мелесерма (I—II вв. н. э.). «Любовные письма, доставляющие великое наслаждение от их речи» Лесбонакта упоминаются схолиастами Лукиана, а Мелесерму в словаре Свиды приписаны 14 книг писем гетер, земледельцев, поваров, солдат.

Этот весьма популярный в свое время материал, служивший приятным и развлекательным чтением, принадлежит к немногим достижениям поздней эллинистической литературы не только в смысле новизны жанра, но и в смысле использования классического наследия, что имело особенно важное значение для эпохи «второй софистики».

## I. ПИСЬМА ХИОНА ИЗ ГЕРАКЛЕИ

Так озаглавлены семнадцать писем, приписываемых мало известному ученику и последователю Платона и объединенных единым несложным сюжетом. Знатный гераклейский юноша Хион бежал из дома, чтобы под руководством Платона изучить философию. Добравшись после некоторых приключений в пути до Афин, Хион знакомится с Платоном и проводит у него в учении пять лет. Все почерпнутое у своего знаменитого учителя юноша обращает на службу этической добродетели, практической морали и доказывает это на деле: узнав о тиранническом перевороте на родине, Хион немедленно возвращается в Гераклею и подробно обдумывает план убийства тиранна, который он излагает в прощальном письме к учителю.

В основе рассказа подлинные исторические события IV в. до н. э., достоверность их подтверждается и Геркуланским перечнем последователей Академической школы — «Хион, уничтоживший тиранна в Гераклее», и более или менее пространными экскурсами на эту тему у поздних античных авторов — Диодора, Элиана, Мемнона, Помпея Трога, которые, в свою очередь, восходят к несохранившимся сочинениям гераклейских историков Феопомпа и Нимфида.

Поэтому на первый взгляд «Письма Хиона» можно отнести к псевдоисторической эпистолярной литературе — в фиктивности их давно уже перестали сомневаться<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Кропотливые исследования содержания, лексики, стиля, выполненные в XIX и XX вв., в общем дают исчерпывающие доказательства написания «Писем Хиона» во второй половине I в. н. э. Основные доводы указанного времени написания следующие: 1) Принадлежность всех 17 писем одному автору, который, используя разнородные исторические источники, допустил (иногда, впрочем, в качестве литературных условностей) ряд анахронизмов, как, например, несогласованность времени встречи Хиона и Ксенофонта в Византии со сроком пребывания Хиона в Афинах; 2) несогласованность с историческими источниками имен из окружения Хиона (Фрасон, Бион, Архепол); 3) скудость в изображении деталей пути в Афины и времени учения в Академии — признак значительной хронологической удаленности от изображаемых событий; 4) философский синкретизм, который сказался не только в толковании некоторых понятий, но и в области терминологии — характерное явление в I в. н. э.

Проповедь практического назначения философии, столь модная в первые века нашей эры<sup>2</sup>, тиранноборство — топка греческой философской литературы на всем протяжении ее существования<sup>3</sup> и мотив моральной победы героя в конце произведения сближают «Письма Хиона» с эпистолярной продукцией сократиков и стоиков, а отчасти и с письмами Фаларида. Авантюрные мотивы — тайный отъезд Хиона из родительского дома, ожидание попутного ветра в Византии, покушение на Хиона в Афинах, подстроенное гераклейским тиранном, — напоминают отдельные эпизоды писем Фемистокла и Гиппократы. Однако тщательно продуманная композиция «Писем», мастерски выполненная анонимным ритором, искусно владеющим приемами литературной стилизации и умело использующим свои источники для достижения наибольшего художественного эффекта, указывает на качественно иную литературу, чем вышеназванные эпистолярные памятники. В данном случае основная цель повествования — уже не простое нанизывание эпизодов, где исторически значимая личность показана в различных ситуациях, а создание художественного образа идеального философа, человека безупречной морали, сочетающего в себе глубокие знания и умение применить их в общественной жизни.

Образ Хиона дан в развитии: первые его письма написаны неопытным, рвущимся навстречу неведомой жизни юношей, а последние принадлежат человеку зрелому, постигшему философию и готовому в любой момент применить ее для спасения родины. Хронологический диапазон всего повествования — пять лет — по сравнению с псевдоисторическими эпистолярными сборниками необычно велик.

Герой показан в различных аспектах: в отношениях с отцом (преимущественно), с другом, с врагом, с учителем. Все письма представлены как хранившиеся у отца (Матриса) — к нему обращено 14 писем: между 8-м и 10-м помещено как бы случайно попавшее, короткое письмо к другу Биону; предпоследнее, адресован-

---

*Кроме обширных предисловий в ранних изданиях писем Хиона (У. Т. G o b e r u s Lipsiae, 1785; Jo. C o n r. Orellius. Lipsiae, 1816; «Prolegomena ad Chionis epistolarum editionem futuram», ab. A. G. Hoffmanno Comment. Soc. phil. Lipsiae 3 (1803), p. 273), этим вопросом посвящены две диссертации: С. В u r k. De Chionis epistulis. Gießen, 1912 и J. G o e r t z. De Chionis quae feruntur epistolis. Leipzig, 1912; статья А. S a b b a t u c c i. Alcune note sulle epistole di Chione. Study ital. di filol. class (1906), p. 374—414.*

*Для Виламовица время написания «Писем» — I в. н. э. — представлялось бесспорным уже в начале XX в. (Hermes, Bd. 60, 1925, S. 280—316). Наиболее важная работа нового времени, где собраны результаты предшествующих: J. D ü r i n g. Chion of Heraclea. A novel in letters. Acta Univ. Gotoburgensis, 1951, N 5.*

<sup>2</sup> О том, что жизнь философа не должна ограничиваться праздными спорами, писал Квинтилиан («Об образовании оратора», XI, 1, 35); этой же теме посвящены сочинения Плутарха «Против Колота» и «О невозможности жить счастливо по учению Эпикура».

<sup>3</sup> Благодарную почву для этой темы создавали также тиранноборческие традиции в Милете, Эфесе, Эритрее и в других местах. «Города очень высоко ценили тиранноубийцу, — говорит Ксенофонт, — и осуществившему это дело ставили статуи в святилищах» («Гигион», 4, 5).

ное Клеарху, как указывает сам герой, есть копия с подлинного письма, и лишь последнее, прощание с Платоном, стоит особняком в этом плане, хотя значение его как необходимого заключения в рассказе очевидно.

В рассказе отчетливо выступают все обычные элементы сюжета: завязка, развитие действия, сопровождающееся отступлениями, перипетия, эпилог.

Первые три письма написаны Хионом отцу из Византия. Юноша утешает отца, огорченного его тайным и неожиданным отъездом. Письмо проникнуто чувством любви и благодарности к родителям. И уже здесь изложена цель всего повествования: «Пусть доблесть, которую я чаю обрести, будет вознаграждена тем, что я сделал своих родителей подлинно счастливыми, и они не просто черпали усладу в заботах обо мне или наслаждались безмятежным счастьем» (письмо 1)<sup>4</sup>.

Эта доблесть для Хиона — изучение и практическое применение философии. Но он боится, что философия отвлечет его от жизни, и он не сумеет в этом случае принести достаточную пользу отечеству. В ожидании благоприятного ветра Хион задерживается в Византии (письмо 2), но это оказывается к лучшему. 3-е письмо посвящено описанию большого эпизода. В город приходит Ксенофонт с греческим наемным войском, которое после гибели Кира в междоусобной войне с братом проделало огромный и беспрерывный по трудности переход по стране к морю, известный в исторической литературе под названием «Анабасис». Воины Ксенофонта, разочарованные бесплодным и утомительным путешествием, готовы разграбить город.

Хион бросается в ряды защитников Византия, но события приостанавливаются появлением Ксенофонта. Следует портретная характеристика полководца-философа, умевшего личным обаянием и словами воздействовать на целое войско: «В разгаре сражения поднялась тревога среди эллинов, и тут мы увидели, как длинно-волосый человек, очень красивый и сдержанный, прошел по их рядам, успокаивая каждого».

Хион знакомится с Ксенофонтом, и беседа с философом убеждает юношу, что занятия философией могут сделать из него не только человека мудрого и справедливого, но также человека практического, который в случае необходимости может стать доблестным воином или государственным деятелем. Ксенофонт явился для юноши примером такого человека, который, «совершенно разделяя взгляды Сократа, умеет спасти рати и города, и философия не сделала его непригодным ни к одному делу, нужному ему самому и его друзьям».

Следующее письмо отступает от основного хода рассказа и повествует о приключениях в пути. Буря на море заставляет путеше-

<sup>4</sup> «Письма Хиона» цитируются по переводу И. Феленковской в кн. «Поздняя греческая проза». М., 1961, стр. 145—158.

ственников сделать остановку в Перинте. Когда Хион и его спутники выходят на берег, они едва не становятся жертвой нападения фракийцев на эту местность.

5-е письмо, посланное из Афин, открывает цикл писем, связанных с пребыванием Хиона в Афинах, цикл, который заканчивается 13-м письмом и включает в себя перипетию (11-е и 12-е письма).

Сначала дана характеристика Платона как философа и учителя: «Муж во всех отношениях мудрый, и философию он для своих учеников не делает чуждой жизни, но равно пригодной и в практической деятельности и в созерцательном уединении».

Хион видит перед собой живой пример того активного отношения к жизни, когда человек стремится принести окружающим максимум пользы, и это уже в какой-то степени предвещает финал произведения. Предлог для 6-го письма — присланная отцом посылка. Перечисление ее содержимого (горшок вяленой рыбы, пять амфор меда, двадцать кувшинов миртового вина, три таланта серебра) свидетельствует о зажиточности и богатстве семьи Хиона. Но это — лишь предлог для автора, чтобы охарактеризовать Платона как человека, совершенно бескорыстного, «не принимающего никаких даров», и подчеркнуть отношения Хиона к материальным благам: «Не стоило плыть в Элладу с целью стать менее корыстолюбивым, если корыстолюбие будет приплывать ко мне из Понта. Ты доставишь мне больше удовольствия, если пришлешь напоминание о родине, а не богатстве».

Три следующих письма отступают от темы непосредственного общения Хиона с Платоном, но в них содержатся также весьма важные приемы для характеристики юноши. В 7-м письме дан образ недруга и антипода Хиона — бывшего казначея, а впоследствии чиновника с Лесбоса, Архепола, человека глупого, неприятного и темного, разменивавшего жизнь на мелкие и бессмысленные дела — различные сделки, чтобы нажиться. Архепол презирает философию, он враг Платона, учеников которого он также не уважает и ни во что не ставит, так как они «беседуют о доблести, а не о выгоде».

Тем более показательно обхождение с ним Хиона. Поступая по принципу: «Не следует отвергать дурного человека настолько, чтобы самому сделаться дурным», юноша, после вышеизложенной подробной характеристики Архепола, вручает ему небольшое корректное письмо (8-е), в котором просит отца дружески принять гостя.

Фраза из 8-го письма («Он мне, собственно, не друг, но я считаю для себя полезным сделаться другом тому, с кем не был дружен прежде») вводит в письма новую тему — верность Хиона друзьям, которая несколько подробнее развернута в следующем письме, обращенном к Биону.

Это короткое письмо замечательно не только своей эмоциональной стороной, как кажется на первый взгляд. В композиционном

отношении этому письму, как и двум предшествующим, последователи отводят скромную роль «умышленных отступлений».<sup>5</sup> Но упоминание Каллисфена в качестве учителя Хиона указывает, что и это письмо является необходимым звеном в ходе общего изложения. Не обратив внимания на очередное несоответствие в хронологии<sup>6</sup>, автор «Писем» воспользовался именем знаменитого ученика и родственника Аристотеля, философа перипатетической школы, который сопровождал Александра Македонского в Азию. Имя Каллисфена, таким образом, было в достаточной мере авторитетно и связано с греческими поселениями на Понте, чтобы убедить читателя, что Хион с ранней юности получил хорошую подготовку для серьезных занятий философией и что интерес к этим занятиям возник не случайно.

10-е письмо, содержание которого является продолжением 6-го, завершает тему, касающуюся непосредственно личности Платона. Хион, узнав, что философ выдает замуж старшую из четырех племянниц за хорошего, но бедного человека, Сневсиппа, добавляет к приданому талант. И здесь автор «Писем» не упускает случая вставить короткое наставление, восходящее к этическим принципам сократовской школы: «Я убеждал его так: — Я даю тебе деньги не для того, чтобы росли твои богатства, но во имя дружбы, а такие дары не следует отвергать, ибо они почетны, тогда как все прочие унижают человека». Платон принимает подарок Хиона, и юноша видит в этом для себя «приобретение, лучше которого едва ли выпадет когда-нибудь в жизни».

Следующие письма, 11-е и 12-е, составляют тесное логическое единство и служат перипетией, поворотом событий в ходе изложения. В первом из них Хион отвергает просьбу отца вернуться на родину по прошествии пятилетия, объясняя это тем, что для усвоения практической стороны философии требуется не менее десяти лет.

Во втором, узнав, что в Гераклею захватил власть тиранн, юноша меняет намерение и решает отправиться в обратный путь. Свой поспешный отъезд и перемену настроения Хион объясняет так: «Было бы бессмысленно уподобиться тем, кто в случае волнений покидает отчизну и бежит куда попало, вместо того, чтобы быть дома именно тогда, когда нужны люди, способные принести пользу».

В 13-м письме Хион рассказывает о несостоявшемся покушении на него в Афинах близ Одеона, покушении, которое подстроил Клеарх, подослав одного из своих телохранителей-фракийцев. В этом же письме автор приступает к характеристике Клеарха, как жестокого, трусливого и очень недалекого человека. Хион убеж-

<sup>5</sup> J. Düring. Указ. соч.

<sup>6</sup> Каллисфен родился в 373—371 гг., Диодор Сицилийский (IV, 1, 2) называет его современником историков Эфора и Феопомпа.



ден, что тиранн, хоть и видит в нем личного врага, не обратит внимания на его переписку с друзьями, так как презрение к философии порождает убежденность, что философ не может быть деятельным человеком. 14-е письмо написано, как и первое, из Византия. Оно завершает некий цикл в содержании: в том же городе, где когда-то Ксенофонт словами и личным примером обращал юношу на путь занятий философией, Хион формулирует свои жизненные принципы, приобретенные им за годы общения с Платоном. Тематически письмо может быть сопоставлено с 12-м. Сознание гражданина и патриота не позволяет Хиону оставаться равнодушным к бедам родины, но в данном письме это обосновано подробнее. Худшее из зол для государства, по мнению Хиона, — потеря памяти о свободе, а следовательно, и стремления к ней: «Если зло уже укоренилось, и среди людей нет даже разговоров о том, как от него избавиться, и говорят лишь о том, как легче с ним свыкнуться, вот тогда государство окончательно гибнет».

Философия, утверждает Хион, сделала из него истинно свободного человека: понятие рабства относится только к его телу, но не к душе. А следовательно, какой бы род мести ни избрал Клеарх, он не властен причинить зло своему противнику, так как душа философа во всех случаях остается свободной.

Вывод из этих рассуждений — необходимость уничтожить тиранна — составляет содержание следующего, 15-го письма. Это тем более очевидно, доказывает Хион, что тиранн не заискивает перед подданными и не прикидывается умеренным правителем, а открыто проявляет свою жестокость. В начале и в конце письма Хион говорит о своем письме к Клеарху, которым является письмо 16-е. У Хиона есть определенная цель — убедить тиранна в том, что противоречит основному положению всего произведения, для доказательства которого до сих пор автором был пущен в ход максимум средств, а именно, что философ может и должен быть человеком дела. Хион приступает к этой задаче как мудрый и опытный оратор-софист и достигает желаемого.

Всевозможными доводами убеждает он тиранна, что философ способен лишь на отвлеченное созерцание божественной сущности своей науки.

Искусно обосновав повод написания письма (ссылка на письмо отца и друзей), играя положением о трудности и легкости оправдания в случае отсутствия достаточных оснований, вводя неверную предпосылку, что справедливо подозреваемый никогда добровольно не отдастся в руки подозревающего, Хион дает выразительную характеристику идеальной жизни философа, проходящей в познании отвлеченных истин и уводящей от практической жизни. Все письмо насыщено ходячими положениями, общими для различных философских школ.

Особого внимания заслуживает в конце письма прием персонализации, представляющий собой вариацию на знаменитое место

диалога Платона «Критон» (50 А): Хион апеллирует к Богине Покоя, которая, если бы он замыслил что-нибудь против тиранна, сумела бы убеждением отвратить искушенного в философии человека от преступления: ведь это грозит философу потерей возвышенности духа и безмятежности существования.

«Мой покой не имеет ничего общего с твоими делами», — заключает письмо Хион.

И тем сильнее впечатление от контраста с первой фразой заключительного письма, которое обращено к Платону:

«За два дня до Дионисий я послал к тебе самых верных моих людей, Пилада и Филокала. Во время Дионисий я собираюсь напасть на тиранна: полагаю, я уже достаточно долго держал себя так, чтобы быть вне подозрений». Затем Хион детально излагает практическое выполнение своего плана. Он уверен в успехе. Эту уверенность он подтверждает благоприятными знамениями (внутренности животных, полет птиц) и пророческим видением: «Женщина высокого роста и божественной красоты убрала меня масличными ветвями и лентами, а немного спустя показала мне красивую могилу и сказала: «Раз ты устал, Хион, спустись в эту могилу и отдохни».

Письмо завершается сентенцией: «Тем, кто получает благодеяние, оно кажется более значительным, если сам благодетель им не пользуется». Таким образом, Хион показывает, что он оказался достойным учеником Платона.

В соответствии с общими принципами составления фиктивных писем автор «Писем Хиона» в большой мере пользовался исторической и философской литературой классического периода, отдавая, однако, предпочтение «Анабасису» Ксенофонта и «Критону» Платона. И в отношении к источникам сказывается значительное различие беллетристической и псевдоисторической эпистолярной литературы. На смену точному следованию сюжету образца, с разницей лишь в эмоциональной окраске субъективно выбранных мест, приходит творческое осмысление используемой литературы, строгий отбор вводимых эпизодов в целях максимального художественного эффекта. Наиболее показательна в этом отношении обработка значительного куска из «Анабасиса» (VII, 1, 4—31) в 3-м письме, где увещательная речь Ксенофонта к солдатам, как это совершенно очевидно, умышленно опускается для усиления впечатления.

В соответствии с описанием наружности полководца, речь его названа «удивительной» (*λόγος θαυμάσιος*); «мне не удалось хорошо ее расслышать» — эта фраза переводит внимание читателя с говорящего — Ксенофонта — на результат произнесенной речи. Подобным же образом в 16-м письме с небольшим изменением персонифицированного образа введен отрывок из «Критона». Законы у Платона в данном случае заменены образом Богини Покоя.

10-е письмо совпадает по содержанию с 13-м письмом Платона (эпизод с замужеством племянницы), а 16-е представляет собой эпистолярную апологию, прототип которой мы находим также в подлинных письмах Платона (7-е письмо — автобиография).

Что же касается языковых и стилистических заимствований из обоих писателей — то это явление не было удивительным в эпоху, когда академическая школа получила бесспорный приоритет, а преклонение перед Ксенофонтом как мастером стиля стало традицией уже со времени эллинизма.

Автор «Писем Хиона» обнаруживает знакомство с правилами и техникой эпистолярной литературы.

Почти все письма подходят под определения эпистолярных видов у Деметрия. 1-е письмо — утешительное (*παραινθητικὴ*), 2-е и 8-е — рекомендательные (*συστατικὴ*), 3, 4, 5, 10-е и 13-е — повестующие (*ἀπαγγελλτικὴ*), 6-е — благодарственное (*εὐχαριστικὴ*), 7-е — предостерегающее (*ψεκτικὴ*), 9-е — дружественное (*φιλικὴ*), 11-е — объяснительное (*αἰτιολογικὴ*), 14-е — поучающее (*ἀναθητικὴ* или *διδασκαλικὴ*), 15-е — защитительное (*ἀπολογικὴ*).

17-е письмо не подходит ни к одному из типов, указываемых греческими теоретиками-эпистографами, и Дюринг, чтобы определить его, пользуется латинской терминологией — *epistula valedictoria*<sup>7</sup>. Соблюдаются также эпистолярные правила по существу. «Следует в более кратких письмах соблюдать цикличность мысли», — говорит Либаний. «Письма Хиона» могут служить подтверждением, что знаменитый ритор IV в. н. э. для составления своего эпистолярного руководства использовал уже давно сложившиеся и оформившиеся правила. В 1, 2 и 4-м письмах такая цикличность соблюдается: в 1-м повторяется мысль об утешении, во 2-м — об осмотре города, в 4-м — о раннем заходе созвездия Козлят как о предвестнике бури.

Отнесение «Писем Хиона» ко второй половине I в. н. э. позволяет предположить, что тиранноборческая направленность произведения связана с деспотическим правлением Домициана и с действовавшей при нем оппозицией, с которой обычно связывают изданный императором эдикт против философов. Гипотеза эта тем более вероятна, что, как отмечено в исследовании Дюринга, Клеарх по характеру и поведению был как бы прототипом императора, прилагавшего к себе титул.

Так, например, излагая сочинения Помпея Трога, Юстин сообщает о гераклейском тиране следующее: «У Клеарха со злобой уживалась разнузданность, а с жестокостью — дерзость. В непрерывном потоке удач и счастливых случайностей он порою забывал, что он — человек, и называл себя сыном Юпитера. Когда он показывался в общественном месте, перед ним несли золотого орла как знак его происхождения: он надевал пурпурные одежды, котурны

<sup>7</sup> J. Düring. Указ. соч., стр. 19.

и золотой венки, словно цари в трагедиях, называя своим сыном Керавния, чтобы о богах все говорило в нем — не только ложь, но даже имена», (XVI, 4—5). Примерно то же сообщает и Мемнон.

«Письма Хиона» — единственный античный «роман в письмах» — были долго неизвестны. Первые их списки относятся к XV—XVII вв. В рукописях Платона, Аристотеля, Феофраста, хранящихся в Болонье, Берне, Флоренции, были обнаружены как отдельные письма, так и все собрание. В 1785 г. вышло первое комментированное издание «Писем Хиона», с которого и начинается последовательное изучение этого интересного памятника эпистолярной литературы<sup>8</sup>.

## II. АЛКИФРОН

Под именем Алкифрона сохранилось 123 письма, которые принято по содержанию делить на четыре группы: письма рыбаков, крестьян, паразитов, гетер. Первое издание писем содержало только 44 письма, составлявшие две книги<sup>9</sup>. В начале XVIII в. Берглер нашел в Венской и Ватиканской библиотеках рукописи, содержащие 72 письма, из которых впоследствии была составлена третья книга<sup>10</sup>. В конце XVIII в. были найдены еще два целых письма и четыре фрагмента<sup>11</sup>. Последние два письма и несколько фрагментов найдены уже в XIX в. в парижских и флорентинских рукописях<sup>12</sup>. Традиционный порядок писем, не объединяющий их тематически, был нарушен Шеперсом только в конце XIX в.<sup>13</sup> С этого времени и появляется классификация писем по содержанию, которая положена в основу большинства изданий и исследований.

Письма Алкифрона привлекали ученых в разные времена. Их изящный и разнообразный язык, а также значительное число списков дали благодарный материал для критических исследований текста. Поэтому многое из относительно обширной литературы об Алкифроне представляет собой небольшие заметки, предлагающие конкретное толкование тех или иных мест в тексте или настаивающие на определенных разночтениях<sup>14</sup>. Нередко попутно с этим узким и специфическим исследованием дается характеристика от-

<sup>8</sup> «Chionis epistolae». Praeae ad codices Medicos recensuit, castigavit, notas et indicem adjecit. J. T. Coberus. Dresdae et Lipsiae, 1875.

<sup>9</sup> «Collectio epistolarum Graecarum. Aldina». Vennusiae. 1499.

<sup>10</sup> «Alciphronis rhetoris epistulae cum latina translatione». Ed. St. Bergler. Lipsiae, 1715.

<sup>11</sup> «Alciphronis rhetoris epistulae». Ed. J. Wagner. Lipsiae, 1798 (комментированное издание).

<sup>12</sup> «Alciphronis epistolae». Ed. E. E. Seiler. Lipsiae, 1853.

<sup>13</sup> «Alciphronis epistolae». Ed. M. Schepers. Lipsiae, 1901. На основе этого же деления осуществлено и новейшее издание писем: «The letters of Alciphron, Aelian and Philostratus». With an english translation by A. R. Benner and F. H. Fobes. London, 1949.

<sup>14</sup> Напр.: W. Volkman. Studia Alciphronica. Breslau, 1886; F. H. M. Blaydes. Miscellanea critica. Halle, 1907.

дельных литературных сторон или стиля автора. Так, в небольшой статье Ф. Бюхелера находится следующее определение стиля Алкифрона: «Язык аттический и низменный, поэтический и прозаический, изысканный и тривиальный, греческий и наполовину варварский, не лишенный изящества, но достигающий в каждом случае невероятной спутанности»<sup>15</sup>. С другой стороны, большая часть литературы об Алкифроне посвящена выяснению времени жизни и личности автора. Существует ряд гипотез и целая полемика по некоторым вопросам в этой области, хотя все эти попытки заранее были обречены на неудачу. Об Алкифроне ничего не известно. Мимоходом его упоминает Аристэнет, называя современником Лукиана (I, 5, 22). Из византийских писателей Иоанн Цец называет его «ритором» (Хилиады, VIII, 895), а Евстафий — «аттицистом» (Схолии к «Илиаде», IX, 453).

Существует гипотеза о сирийском происхождении Алкифрона. Автор ее основывается на тексте писем: на описании праздника Адониса (IV, 40), упоминании сирийских кушцов (IV, 11), халибонийского вина (III, 37), эпизода с выживанием мертвого верблюда (I, 20)<sup>16</sup>. Эта гипотеза впоследствии была решительно отвергнута.

Второй вопрос, вызвавший значительные споры среди ученых, — это вопрос о соотношении и зависимости Алкифрона и Лукиана. Берглер утверждает, что Лукиан многое заимствовал от Алкифрона<sup>17</sup>, что было опровергнуто еще в конце XVIII в. Фабрицем<sup>18</sup>.

Вторая теория, об обратной зависимости Алкифрона от Лукиана, нашла себе защитников в лице Вагнера и Зейлера и держалась до середины прошлого века. И, наконец, третий вариант — об общих источниках у Алкифрона и Лукиана<sup>19</sup>.

Все эти усилия были направлены на возможно более точное установление жизни Алкифрона. Но самой обоснованной теорией явилась теория Рейха, который сопоставил Алкифрона не с Лукианом, а с Лонгом<sup>20</sup>. В настоящее время считается, что Алкифрон жил в III в. н. э., а в содержании его «писем» и в его стиле имеются точки соприкосновения и с аттической комедией (древней и новой), и с греческим романом, и с сатирой Лукиана, что легко объяснимо историческими особенностями III в. н. э. В русских исследованиях античной литературы Алкифрону посвящены небольшие заметки, дающие лишь очень приблизительное представление о его творчестве.

<sup>15</sup> F. Bücheler. *Kleine Schriften*. Bd. III. Leipzig—Berlin, 1930, S. 299—303.

<sup>16</sup> *Jahrb. f. Kl. Philol. Suppl.* 4 (1862): O. Keller. *Untersuchungen über die Geschichte d. gr. Fabel*.

<sup>17</sup> *Ad Alciphronem*, II, 2 u III, 1. Berlin, 1735.

<sup>18</sup> *Bibliotheca Graeca*. Hamburg, 1790, p. 688.

<sup>19</sup> *Об этих теориях*: O. Reisch. *De Alciphronis Longique aetate*. Diss. Königsberg, 1894.

<sup>20</sup> O. Reisch. *Указ. соч.*

Считается, что Алкифрон воссоздает картины жизни различных социальных групп IV в. н. э. Этот укрепившийся с давних времен взгляд в науке основан отчасти на именах действующих лиц писем<sup>21</sup>. Мнимые их авторы и те, к кому они обращены, названы значимыми именами, так что самое обращение в каждом письме приобретает характер заглавия.

Например:

(I, 2) Γαλήναϊος Κόρτωνι	— „Любящий штиль горбатуму“
(I, 15) Ναυσίβιος Πρυμναίω	— „Живущий на корабле кормчему“
(I, 13) Εὐαγρος Φιλοθήρῳ	— „Хороший охотник любителю лови“
(I, 21) Εὐπλοος Θαλασσέρωτι	— „Хороший пловец любящему море“
(II, 3) Ἀμνίων Φιλομόσχῳ	— „Ягненок любимцу-бычку“
(II, 8) Δρυαντίδας Χιονίῳ	— „Любящий деревья любителю снега“
(II, 14) Σιτάλκης Οἰνοπίωνι	— „Богатый хлебом пьющему вино“
(III, 5) Οἰνοπνίκτης Κοτυλοβροχ- θίσῳ	— „Винохлеб пьющему котлами“
(III, 11) Ὁρολόγιος Λαχανοθαυ- μάσῳ	— „Страж времени покровителю овощей“

Встречается и частое в новой комедии имя, прилагаемое обычно к сварливому старику, а у Алкифрона к ростовщику, — Хремет (I, XIII). Многие эпизоды писем также совпадают с комическими, особенно с новой комедией.

Первую книгу «Писем» составляют 22 письма, повествующие о жизни рыбаков. Для античной литературы и изобразительного искусства рыбак был чрезвычайно распространенным типом. Известны статуэтки рыбаков, относящиеся к эллинистическому времени, — как правило, это старые, изможденные тяжким трудом люди. Как литературный тип рыбак вошел почти во все художественные жанры. Общие положения, характеризующие жизнь рыбаков, — их зависимость от стихии, их бедность, скудная пища, плохая одежда упоминаются рядом поэтов «Палатинской Антологии», Феокритом, Плавтом и многими другими авторами<sup>22</sup>. Алкифрон использует эти положения как общую тему. 16 писем написаны от лица рыбаков к своим товарищам, главным образом, тоже рыбакам. Лишь одно письмо (IX, Эгиалей Струтиону, или «Живущий на взморье воробушку») является посланием рыбака к паразиту. Три письма написаны рыбаками к женам, одно — женой рыбака к мужу, два — письмо дочери рыбака к своей матери и ответ на него. Из всех этих писем большинство является просто посланиями и, таким образом, не связано между собой по содер-

<sup>21</sup> C. T. S o n d a y. *De nominibus apud Alciphronem proprūs. Diss. Bonn, 1905.*

<sup>22</sup> См. L. B u n s m a n n. *De piscotorum in Graecorum atque Romanorum usu. Diss. Mon. Guestalorum, 1910.*

жанию. Единство содержания можно указать только в трех случаях: обмен письмами дочери и матери (XI и XII: Главкиппа Харопе и Харопа Главкиппе) и рыбаков Эвлия и Талассерота, а также переписка двух товарищей-рыбаков, состоящая из трех писем, — Энкимон Галиктипу и Галиктип Энкимону с коротким ответом Энкимона.

И отдельные послания, и указанные группы писем представляют собой крошечные новеллы, большей частью статичного характера — картины, зарисовки быта рыбаков и людей, с которыми они связаны. Жизнь рыбаков показана Алкифроном как бы в различных ракурсах: в их отношениях с женами, товарищами по труду и с городскими товарищами.

В «Письмах рыбаков» отчетливо воспринимаются следующие тематические линии: 1) тема труда рыбаков; 2) море и земля как дающие средства к существованию; 3) жизнь и смерть; 4) богатство и бедность; 5) тема любви.

Тема труда является основной и проходит то как главная, то как второстепенная, в разнообразном ее выражении, во всех без исключения письмах. Первое письмо написано в идиллических тонах, в нем описывается штиль на море после многих дней непогоды, штиль, принесший богатый улов. Лучшая рыба тут же, на берегу, продается скупщикам, а домой относятся остатки, мелочь. Однако письмо заканчивается намеком, что единственный кормилец их — море — ненадежен, и что одна удача может смениться долгими унылыми днями: «Можно было быть сытыми не один день, и даже если бы началась буря, хватило бы на много дней».

В следующем письме раскрываются оборотные стороны жизни на море. «Днем нас жарит солнце, — пишет Галеней Киртону, — а ночью мы удаляем от себя глубину при помощи светильников и, как говорится, выливаем амфоры в пифос Данаид: настолько тяжел, нескончаем и мало полезен наш труд. Нам нечем наполнить желудок кроме крапивы и водорослей» (I, 2).

В последующих письмах эта тема выступает в непосредственной связи с темой бедности и богатства. Рыбаки находятся в самой тесной зависимости от скупщиков рыбы и хозяев. Сами они редко выходят в город на рынок, — во всяком случае Главк (I, 3) рассказывает об этом, как о значительном событии. Хозяин (δεσπότης) назван лишь один раз, и содержание этого термина неясно.

Но сравнивая тексты 1-го и 2-го писем, нетрудно заметить, что разница между этим термином и другим (ὀψώνης — скупщик рыбы) небольшая. Возможно, δεσπότης были более богатыми и создавали для рыбаков условия большей зависимости. Во 2-м письме говорится, что хозяин, «не довольствуясь получаемым из наших рук, постоянно обыскивает судно». В 9-м письме мы находим: «отдать улов за гроши и купить на эти деньги необходимое — утешение небольшое».

Интересно, что мотив отношений рыбаков с хозяевами является в данном случае единственным в античной литературе и параллелей у других авторов себе не находит<sup>23</sup>.

Насколько рыбаку трудно обновлять свои снасти и судно, какое событие для него приобретение новой сети или весел, — красноречиво свидетельствуют 7, 13 и 17-е письма.

В 7-м письме Талассий посылает своему другу Понтию, видимо, горожанину, свой улов — не только рыбу, но и керюков-моллюсков, витые раковины, которые употреблялись как сигнальные рожки. У Талассия сломались весла, но он ничем, кроме рыбы, заплатить за покупку не может и с добродушным юмором объясняет свою просьбу: «Ведь у друзей принят обмен подарками. Кто просит легко и смело, тот, несомненно, полагает, что у друзей все общее и что он сам владеет тем, что принадлежит друзьям» (I, 7).

13-е письмо — одно из лучших. Оно замечательно своим законченным сюжетом и большой внутренней динамикой. У Эвагра унесло невод, и он вынужден добывать деньги у ростовщика — жадного старика, смотрящего с ненавистью на всех, кто к нему ни обращается. Ростовщик встречает Эвагра с притворным равнодушием. Но когда приходит срок платежа, он требует сразу или проценты без единого дня отсрочки, или чели Эвагра, — грозя таким образом оставить рыбака опять без средств к существованию. Но Эвагр бежит домой, берет единственную драгоценность в доме — золотую цепочку с шеи жены, затем отправляется к мяняе и таким образом освобождается от ростовщика: «Я поклялся собственной жизнью никогда не доводить себя до того, чтобы обращаться к кому-нибудь из ростовщиков в городе, если только меня окончательно не изведет голод. Лучше спокойно умереть, чем жить в зависимости от невежественного и корыстного старика» (I, 13).

Образ ростовщика Хремета обрисован, хотя и в нескольких строках, но очень искусно и тонко: при виде Эвагра у Хремета вдруг исчезает его обычная суровость в обращении. Но Эвагр чувствует, что эта внезапная перемена не обещает ничего хорошего. И действительно, в день платежа он узнает «того, кого видел раньше сидящим у Диомейских ворот с кривой палкой в руках, всех ненавидящего флиейца Хремета» (I, 13).

Это письмо является как бы комедией в миниатюре, оно отличается от остальных законченностью действия и содержит даже элементы интриги.

17-е письмо, вместе с ответом на него, следующим письмом и вновь ответом на последнее рассказывают трагикомическую историю, как бедный рыбак Энкимон увидел на берегу брошенный невод. Живущие поблизости рыбаки сказали ему, что этот невод, принадлежавший ранее знакомому Энкимона, был брошен здесь

<sup>23</sup> *L. В и н с т а н п. Указ. соч., стр. 16.*



четыре года назад. Энкимон просит знакомого, Галиктипа, отдать ему дырявый невод, — он может еще починить его. Галиктип, рыбак, видимо, богатый, отвечает грубым отказом: «Пословица говорит, что соседский глаз зол и завистлив. Что ты заботишься о моем имуществе? Почему присваиваешь себе то, что я отложил по небрежности? Убери свои руки, а тем более — уйми ненасытную жажду, чтобы я не подарил тебе кое-чего через суд».

Противопоставление богатства и бедности проходит красной нитью через все письма рыбаков. Некоторые рыбаки разбогатели — кто от счастливой случайности (рассказ о том, как были выужены золотые дарики, лежавшие под водой, возможно, со времен битвы при Саламине — письмо 5-е), кто — войдя в дом богатей (9-е письмо), кто — отдавая свою лодку внаем для увеселительных прогулок богатой молодежи (I, 15). Богатые рыбаки обрастают высокомерно с беднотой. 5-е письмо начинается так: «Ты думаешь, что ты один богат, раз ты переманил моих батраков более высокой платой?»

Тема труда и тема богатства связаны с темой земли и моря как производительных сил природы. Рыбак завидует земледельцу. «Благосклонна земля и безопасна почва, но несговорчиво море и чревато последствиями плавание», — так начинается письмо Главка к Галатее (I, 3).

Интересно, что ответная мысль содержится в одном из первых писем земледельцев. «Так как земля ничего не давала мне взамен за мои труды, я решил отдаться морю и волнам» (Эвпетал Элатиону — II, 4).

10-е письмо Кефала Понтию целиком посвящено опасностям мореплавания: «Мы то и дело слышим, как течение унесло и выбросило на берег или поглотило одних у Малийского мыса, других близ Сицилийского пролива, третьих в Ливийском море. Но есть ни с чем не сравнимый в смысле бурь и опасности мыс Кафрей».

С другой стороны, рыбаки связаны с морем не только жесточайшей необходимостью. Органическая связь «труженика моря» с его стихией раскрыта в письме Кимета Тритониду. «Для нас, которым суждено жить около воды, земля — смерть, как для рыб, которые задыхаются в воздухе» (I, 4).

Поэтому и само море как стихия рисуется в письмах с большой одухотворенностью: это нечто живое, чувствующее, принимающее участие в судьбах людей. Картиной зимнего шторма начинаются письма рыбаков: «Море все потемнело, и пошла по нему волны горами; вода побелела от пены, так как повсюду на море волны сталкивались друг с другом, одни из них разбивались о скалы, другие рушились, вздувшись, как огромные пещеры» (I, 1; перевод С. П. Кондратьева). В этом же письме за картиной бури следует картина благодатного штиля, который принес «неисчислимое количество всяких благ».

Не менее величественна картина надвигающейся бури в 10-м письме: «Море, как ты видишь, ошетинилось, а небо со всех сторон затянулось черными тучами и низко нависло, и ветры, налетая друг на друга, грозят почти что перевернуть пучину».

Как уже указывалось, жизнь рыбаков показана в ее связи с окружающими их людьми и прежде всего с родственниками. Тягот зависимой жизни многие не выносят. Свободный человек, юноша Гермон, бежал на Родос от притеснений и унижений, которые ему приходилось испытывать от наглого и жестокого скупщика (I, 1). Но Эвколимб, человек женатый, не может так же легко решить свою судьбу. Он увидел пиратский корабль, на который его зовут и обещают легкую наживу и богатство. Но решиться на это трудно: «Я не решаюсь стать убийцей и осквернить кровью руки; ведь море сохранило их чистыми от преступлений с моего детства и до сих пор» (I, 8; перевод С. П. Кондратьева).

Тяготы жизни моряков ложатся бременем также и на их жен. Кимон упрекает Тритониду за частые отлучки в город, где она веселится на праздниках вместе с богатыми афинянами (I, 4). Молодой девушке Главкиппе представляется страшным выйти замуж за сына моряка (I, 2). Она увидела красивого юношу-горожанина во время афинских празднеств «Скира»: «Или я с ним соединю свою жизнь, или, подражая лесбийке Сапфо, брошусь в пучину, только не с Левкадской скалы, а с дамбы Пирея» — заканчивает Главкиппа свое письмо к матери. Но она невольна в своих чувствах. В коротком ответе мать убеждает ее, что воля отца непреклонна: «Если отец что-нибудь об этом узнает, он, не медля и не раздумывая, отправит тебя в добычу морскому зверью» (I, 12).

Тема любви трактуется Алкифроном в нескольких письмах. При внешнем разнообразии образов, которые в этой связи проходят перед читателем, автор старается ответить на один вопрос: имеет ли рыбак моральное право любить? Так показательно письмо Авхения Армению (I, 16): «Как это так, на несчастного рыбака, едва добывающего необходимое пропитание, обрушилась любовь и, захватив его целиком, не отпускает, так что я сгораю, подобно богатым и красивым мальчишкам».

Игривое, блещущее остроумием письмо Эвплия Талассероту (I, 12) посвящено этой же теме: «Ты зазнался или помешался. Дошел до меня слух, что ты любишь певицу», — говорит Эвплий. И дальше: «Берегись тратить на возлюбленную, пока земля, лишив тебя денег, вместо моря не показала тебе, что значит кораблекрушение, и пока не стали для тебя Калидонский залив или Тирренское море местом занятий музыкой, а Скилла — музыкантшей». Жизнерадостный ответ Талассерота (I, 22) переключается с основной темой всех «писем»: «Любовь у нас, моряков, — свойство врожденное, раз она — порождение морского божества».

Это подводит нас к этическим взглядам Алкифрона. Рыбак должен быть честным, довольствоваться малым и вести скромную жизнь. Навбат, обращаясь к счастливому Ротию (I, 5), ввудившему дарика, желает, чтобы богатство это оказалось «помощником не в дурных, а в добрых делах». Эвколимб, как уже было отмечено, несмотря на бедность, не решаетея запятнать руки преступлением (I, 8); Кефал спешит позаботиться о погребении погибших товарищей, будучи убежденным, что «сознание правильного поступка смягчает сердце и дает людям силы нисколько не меньше, чем надежды на лучшее» (I, 10).

Таким же жизнеутверждением и гуманностью исполнено и 14-е письмо. Тинний сообщает Скотелу, что афиняне посылают военную экспедицию. Письмо начинается словами: «Я слышал тяжелейшую из новостей». Повсюду идет набор наемников, и так как экспедиция связана с морем, набирают в первую очередь матросов и рыбаков». Перед Тиннием встает вопрос: «убежать или остаться?» Ион решает этот вопрос так: «Из двух зол, то есть — убежать к женам и детям, или остаться при оружии и вверить свою жизнь морю, остаться кажется мне бесполезным, а бежать — делом более выгодным» (I, 14).

Характерно, что эти настроения против войны, стремление к мирной жизни прорываются и в жанре писем в то время, когда после некоторой передышки в III в. н. э. Римская империя опять вступила на путь борьбы со своими внешними и внутренними врагами.

Вторая книга, содержащая письма земледельцев, насчитывает 39 писем. Из них только три пары связаны содержанием: 6-е и 7-е письма представляют собой обмен письмами мужа и жены, 24-е и 25-е — служанки и хозяина, 15-е и 16-е содержат приглашение в гости и ответ на него. От обычного обращения (земледелец к земледельцу), кроме того, отступают следующие письма: 11-е письмо написано отцом сыну, 13-е и 39-е — отцом дочери, 22-е и 31-е — женой мужу, 37-е — сыном к матери; в 14-м письме земледелец обращается к гетере, в 23-м — раб к рабу, в 32-м — паразит к крестьянину.

Как и в письмах рыбаков, в этих письмах Алкифрон обращается преимущественно к вопросам труда, бедности и богатства, города и деревни, то благосклонной, то злой природы, к теме любви.

Специфику этой книги писем составляет тема рабов.

Тема бедности и богатства связана, как и в письмах рыбаков, с темой природы. Недостатки заставляют крестьянина воспринимать как большой ущерб ранение щенка (II, 1); крестьянин, которого обокрали, отказывается прийти к приятелю на день рождения: «Я истощен трудом, доканала меня двузубая мотыга, на руках у меня мозоли и кожа тоньше старой зменной шкуры» (II, 16; Питакнион Евстахию; перевод С. П. Кондратьева).

Во 2-м письме эта тема принимает характер гротеска: «Видел я во сне, дражайший мой сосед, что я важный и богатейший человек, что за мной идет целая толпа рабов; мне казалось, что они мои экономы и управляющие. И казалось, что обе мои руки унизаны кольцами с драгоценными камнями, стоящими много талантов; и пальцы у меня были мягкие и ничуть не похожи на мотыгу; казалось, что рядом со мной идут и льстецы, вроде Гриллиона или Пантекиона. А в это время афиняне, весь народ, собравшись в театр, громко кричали, требуя моего выбора в стратеги. И когда шло уже голосование, этот негодный петух закричал, и сновидение мое пропало» (II, 2, Иофон Эрастиону; перевод С. П. Кондратьева).

Настоящие несчастья приносят крестьянину стихийные бедствия: град, ливень, засуха, которые последовательно показаны в 3, 10 и 33-м письмах. В отличие от писем рыбаков здесь нет полных лиризма картин природы, стихия изображена в действии и все внимание автор сосредоточивает на печальных последствиях этих событий.

«Выпавший град жестоко побил наши хлеба, и нет уже никакого спасения от голода», — начинается письмо Амния Филомосху (II, 3; перевод С. П. Кондратьева).

«Пошел дождь и лил три дня и три ночи; с вершин потекли настоящие реки и нанесли обильный ил, который затянул канаву, она сравнялась с землей, как будто вообще ничего не было сделано» (Коликрат Эгону; II, 10).

«Сейчас засуха. Над землей ни облачка. А нужен дождь. Ведь сухость земли показывает, что пашни жаждут. Видно, напрасны и не доходят наши жертвы до Зевса-Гиетия»<sup>24</sup>.

Длительный и тяжелый труд, зависимость от случая заставляют крестьянина думать о перемене образа жизни. Земле-суше противостоит море, и это порождает следующий образ мыслей: «Некоторые, потерпев неудачу на земле, благополучно живут на море. Зная это, иду я в плавание к ветрам и волнам. Лучше вернуться из Боспора и Пропонтиды с новыми сокровищами, чем сидя на бесплодной и мрачной почве Аттики икать с голоду» (II, 4; Эвистол Элатиону).

Одна из неудачных попыток покончить с бедностью, а именно, зависимость от ростовщиков, обрисована здесь так же, как и в предыдущей книге. Письмо, где рассказано о жадном ростовщике Блепси (II, 5; Агирхид Питолаю) менее ярко и динамично, чем аналогичное письмо в 1-й книге (I, 13 — ср. стр. 31), в описании наружности ростовщика отчетливо выступает штамп, восходящий к образам ростовщиков в мимах и комедии.

Темы города, которая освещена гораздо полнее, чем в письмах рыбаков, касаются восемь писем.

<sup>24</sup> «Посылающего дождя».

Город в восприятии крестьянина — место извращений религии, разврата, необычных зрелищ, разорительных попок, отвлекающих от повседневных дел. Огорченный Дриант (8-е письмо) упрекает жену за пренебрежение к богам — покровителям деревни — Пану и нимфам: «Тебя не заботит ни наше гнездо, ни общие наши дети, ни работа в поле, ты целиком предана городу». Всякое напоминание о городе вызывает неприязнь деревенских жителей. Даже для изображений богов, почитаемых в городе и с трудом запоминаемых из-за их многочисленности, в деревне не находится места. Городской образ жизни вынуждает женщину красить лицо и «отягощает характер подлостью». Поэтому в конце письма Дриант советует жене: «Если ты в здравом уме, вымойся с мылом и такой оставайся». 14-е письмо — жалобы юноши, совращенного гетерой и попавшего в компанию городских гуляк. В 22-м письме жена обращается к мужу, который зачастил в город: «Наполовину старик, ты вообразил себя городским мальчишкой. Слышала я, что ты проводишь время в Скире и Керамике, где в безделье и разврате прожигают жизнь самые негодные люди». Рассказ о посещении крестьянином театра представляет собой 17-е письмо. Эта тема не нова в литературе римского периода<sup>25</sup>. Но Алкифрон, подробно описав от лица Напея выступления фокусника, заставляет автора письма сделать следующее заключение: «Этот человек — самый что ни на есть ловкий жулик, больше чем Эврибат из Эхалии, о котором мы слышали. Не дай бог, чтобы такая бестия появилась в деревне: никто его там не поймает, а он забрет все в доме и — только его и видели».

Город заставляет крестьянина общаться с чуждыми и непонятными ему людьми, с праздношатающейся неряшливой публикой, каковыми, в частности, представляются ему философы и софисты. Эта тема начинается в первой книге (3-е письмо) и находит продолжение в 11-м и 38-м письмах земледельцев. «Отстань от босых и оборванных хвастунов, что шляются возле Академии, — обращается Ситалк к сыну Энотиюну (11-е письмо). — Они ведь ничего полезного не умеют делать, а только излишне любопытствуют и слишком много занимаются небесными явлениями».

В еще более резком тоне написано 38-е письмо, высмеивающее киников. Крестьянин Эвтидик обращается к своему другу Филиску и с возмущением описывает, как его сын, которого он послал в город по делам, вернулся в страшном и отвратительном виде: «У него свисают грязные волосы, взгляд безумный, он почти голый, в рубище, на боку сумишка, в руках — дубинка, он бос, грязен, дела у него никакого нет, поле и нас, родителей, он не признает и говорит, что все родилось из природы, и происходит все из смешения элементов, а не от отца с матерью». Эвтидик убежден, что сын ненавидит хозяйство и презирает деньги. «Горе тебе

<sup>25</sup> Кальпурний, VII эклога.

земледелие, — говорит крестьянин, — угробила тебя эта лавочка философствующих жуликов!»

Следует также отметить, что в 36-м письме как устойчивое выражение употребляется эпитет «сумасшедший софист».

Но, с другой стороны, город привлекает к себе роскошью уличных процессий, веселыми празднествами, незнакомыми деревенским жителям. Никогда не бывавший в городе Филоком охвачен желанием «увидать, хотя бы на склоне своих дней, это замечательное зрелище живущих за стенами города людей и все то, что отличает город от деревни» (33-е письмо). Так и юноша Эвтидик (37-е письмо) приглашает свою престарелую мать взглянуть на красоты города. «Кто не знает города, — говорится в письме, — тот ведет жизнь ужасную, животную и нелюдимую».

Тема любви в письмах земледельцев подана не в столь мягких тонах, как в предыдущей книге. Интересно, что эта тема иногда достигает трагичности. Этой темы касаются две пары писем с единым сюжетом. В первом случае изображается картина неравного по возрасту и очень несчастливого брака, во втором случае молодая служанка, будучи бессильной прекратить преследования старого, уродливого хозяина, решает покончить жизнь самоубийством. Вдова Эмифилида (35-е письмо) рассказывает подруге, как она против собственной воли второй раз вышла замуж: молодой человек Мосхион принудил ее к этому насильем.

Любовь семейного человека к кифаристке (31-е письмо) обрушивается бедствием на его семью и заставляет его жену изливаться в горьких жалобах.

Особняком во второй книге стоят письма, изображающие рабов. Это три письма, где рабы даются в гротескно-комедийном тоне: раб-лентий (21-е письмо), раб-жулик (23-е письмо), раб-обжора (36-е письмо). К этим эпизодам также примыкает типично комедийная тема — «хвастливый воин» (34-е письмо), поданная в виде краткого эпизода:

«Невыносим был для нас солдат, ох, невыносим. Явился он поздно вечером не в добрый час и нескончаемо надоедал нам рассказами о декадах, фалангах, катапультях, сариссах, деррисах. Он-де обратил в бегство фракийцев, сразив ударом копья их полководца, он проколол дротиком армянина. Затем он привел и показал пленных женщин, которых получил в награду за доблесть. И хотя я поднес ему чашу вина, чтобы избавиться от этой болтовни, он, выпив еще не одну, и побольше этой, не перестал говорить».

32-е письмо, в котором парасит Гнатон обращается к крестьянину, по содержанию можно отнести к письмам параситов.<sup>26</sup> Покровитель Гнатона разорился, и парасит, будучи лишен источника

<sup>26</sup> Это письмо находилось в числе обнаруженных Берлнером, который на основании последней фразы («возьми меня работником в поле») поместил его к письмам земледельцев, чему и последовал Шперс при новом распределении материала по четырем книгам.

существования, приходит к необходимости вести трудовую жизнь. Таким образом, это письмо является переходом к третьей книге.

Письма паразитов — самая многочисленная группа писем у Алкифрона (42) — лишены того композиционного разнообразия, которое наблюдается в двух предыдущих книгах. Все письма написаны паразитами и обращены к паразитам. Отсутствует здесь также и разнообразие тематических линий, присущее письмам рыбаков и земледельцев. Содержание писем составляют поэтому пересказы различных эпизодов из жизни паразитов.

Именно в этой книге писем Алкифрона в наибольшей мере сказалось влияние комедии и сюжетные заимствования у нее.

Во многих письмах этой книги действующим лицом является гетера (напр., письма 2, 5, 12-е и т. д.). По способу изложения здесь отчетливо намечаются два типа письма: письмо-новелла, т. е. законченный рассказ о каком-нибудь событии, и письмо, близкое к лирическим жанрам, содержащее описание чувств или каких-нибудь отдельных моментов из жизни паразитов.

Эти противоположные типы даны уже в самом начале книги. Во 2-м письме Трехедипп рассказывает, как один из богатей попросил его пригласить гетеру. Не зная, что пославший его пользуется у гетер репутацией мелочного и скупого человека, паразит едва не попалился за свою неосторожность: гетера едва не вылила на него горшок кипящей воды. 3-е и 13-е письма — пример писем второго типа: жалобы паразитов на зависимость и безрадостное существование. «Я не могу выносить больше побоев и других издевательств пьяных гуляк, — чтоб они все подошли, — но не могу совладать со своим прожорливым брюхом!» — начинается первое из них. В обоих письмах содержится одна и та же мысль: паразиты согласны покончить с жизнью, но не раньше, как после роскошного обеда. Так трагизм этих писем сменяется гротеском. «Ведь в самом деле на свадьбах должны быть для веселья и паразиты, ведь без нас все не праздник, но собрание свиней, а не людей», — заканчивает Капнофрант 13-е письмо.

Описания-картины представлены наиболее ярко 19-м письмом, в котором описано пиршество у богатого афинянина в присутствии философов различных школ. Повторяется одна из тем писем рыбаков и крестьян. Интересно, что здесь характеристики философов даны более последовательно и подробно, начиная с их внешности:

«Среди них был стоик Етеокл, этот старик с бородой, нуждающийся в стрижке, грязный, с неопрятной головой, дряхлый, со лбом еще более сморщенным, чем его кошелек. Был там и Фемистагор, перипатетик, человек с виду не лишенный приятности, блистающий кудрявой бородой. Был там также и эпикуреец Зенократ, не пренебрегающий своими локонами и чванившийся длинной бороды. Был и «прославленный» (а это всеми признано) пифагореец Архибий с лицом, покрытым сильной бледностью, с кудрями, ниспадающими с макушки головы до самой груди,

с острой длинной бородой, с кривым носом, со сжатыми губами. Этим сжатием губ он явно намекал на пифагорейское молчание. Вдруг ворвался киник Панкратий, стремительно растолкав всех и опираясь на дубовую палку. У него была палка, в которую для крепости на месте сучков было вбито несколько медных гвоздей, и пустая сума для остатков пищи, удобно висевшая у него на поясе».

По тематическому однообразию к письмам паразитов близки письма гетер — самая короткая из четырех книг (19 писем). Зато в композиционном отношении эта книга самая интересная. Здесь мы находим не только связанные пары писем (напр., 8-е и 9-е: Сималион Петале и Петала Сималиону), но и письма одного и того же лица к разным людям (2-е и 18-е: Гликера Бакхиде и Гликера Менандру; 6-е и 7-е: Таида Теттале и Таида Евтидему). Это дает возможность автору в отдельных случаях полнее раскрыть характер отдельных персонажей. Так, в письме Гликеры к Бакхиде основным предметом изложения служит влюбчивость Менандра — творца новой комедии, который в римский период пользовался особым успехом. Образ Менандра после этого вступления подробнее раскрыт в конце книги, в двух связанных письмах (18-е и 19-е: Менандр Гликера и Гликера Менандру).

Интересны также письма Бакхиды. Она благодарит юношу Гиперида за избавление ее подруги Фрины от последствий скандального процесса. Кстати, дается характеристика зависимого и жалкого образа жизни гетер: «Если, требуя денег от любовников, мы их не получаем, а вступаем в связь с дающими, и нас обвиняют в нечестии, то для нас лучше прекратить наш образ жизни, не иметь хлопот самим и не доставлять их тем, кто водит с нами знакомство».

В следующем письме к Фрине Бакхида ободряет подругу, показывая себя тонким психологом (возбуждавший процесс Евфий после благополучного исхода, уверяет он, дела должен вернуться к Фрине еще более влюбленным): «Жди его назад с большими просьбами и деньгами. Но не решай дела против нас, гетер, дорогая, и, выслушивая мольбы Евфия, не делай так, чтобы казалось, что Гиперид дал плохой совет».

Трактовка любовной темы во всех письмах гетер близко соприкасается с любовной элегией. В 10-м письме интересен мотив приворотного зелья, который встречается во многих литературных жанрах.

Всем четырем книгам писем Алкифрона свойственна риторичность, которая выражается главным образом в синтаксических концах писем и в напыщенных вступлениях. Синтаксис в конце писем особенно заметен в первой и второй книгах. Например: «Лучше спокойно умереть, чем жить в зависимости от невежественного и корыстного старика» (I, 13); «Сознание правильного поступка смягчает сердце и дает силы людям не меньше, чем хорошие надежды» (I, 10); «Лучше вернуться с Босфора и Пропон-



тиды с новыми сокровищами, чем икать с голоду на бесплодной и негостеприимной почве Аттики» (II, 1).

Из риторических вступлений особенно характерно начало одного из писем параситов: «Ты, божество, которое получило меня по жребию и владеешь мною, какое ты злое и как преследуешь меня, навсегда связав меня с бедностью!»

Существенным стилистическим элементом у Алкифрона являются пословицы и пословичные выражения, которые по праву стали предметом отдельного исследования<sup>27</sup>. Тематически круг пословиц, как отмечает автор, необыкновенно широк: пословицы, используемые Алкифроном, заимствованы из мифологии, истории, животного мира, неорганической природы, общественной жизни человека.

Эти тенденции к риторике в последующие времена (конец III в. и дальше) находят себе благодарную почву в «Письмах крестьян» Элиана, представляющем собой вариант на 2-ю книгу писем Алкифрона, который гораздо беднее по содержанию и стилю.

### III. ФИЛОСТРАТ

На протяжении I—III вв. н. э. под именем Филострата известны три писателя. В результате долгих и кропотливых исследований было установлено, что собрание писем, представляющих собой любовный жанр художественной эпистолярной литературы (ἐπιστολαὶ ἐρωτικαί) принадлежит автору «Жизнеописания Аполлония Тианского» и «Биографий софистов»<sup>28</sup>, называемому обычно Филостратом Вторым.

Из древних свидетельств о Филострате наиболее ценная характеристика его стиля, сочетавшего в себе изысканность и простоту (λέξις ἐπιτηδευμένη καὶ κχαλλωπισμένη). Эти слова принадлежат ритору III в. н. э. Менандру, который приравнивает Филострата как мастера стиля к Платону, Ксенофону, Диону Хрисостому.

И действительно, язык и стиль писем Филострата стал критерием для решения вопроса об авторстве<sup>29</sup>.

Какой популярностью пользовались письма Филострата, можно судить по словам византийского ученого Арефы, который упоминает Филострата — «современника младших софистов», чьи «любовные письма капля за каплей сообщают великое наслаждение» (схолии к сочинению Лукиана «О пляске», § 63).

<sup>27</sup> D. A. Tsirimbass. *Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten bei den Epistolographen der 2-ten Sophistis Alkiphron und Aelian. Diss. München, 1936.*

<sup>28</sup> «История греческой литературы» под ред. С. И. Соболевского и др.; т. III, М., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 273 и сл. Подробнее об этом см.: F. H. Foebes. *Introduction to Love letters of Philostratus. The letters of Alciphron, Aelian, Philostratus. Cambridge, 1949, p. 387 sq.*

<sup>29</sup> F. H. Foebes. *Указ. соч., стр. 391—394.*

О дальнейшей судьбе писем можно судить по большому и очень разветвленному комплексу средневековых и более поздних манускриптов, содержащих, как правило, отдельные группы писем, что дало на будущее богатый материал для критических изданий, текстологических и языковых исследований<sup>30</sup>. Наряду с этим, более старым, направлением в изучении писем Филострата, в XX в. пробуждается интерес к их чисто литературной стороне, что прежде всего требует рассмотрения их связи с другими литературными жанрами.

Если письма Алкифрона представляют собой, в основном, парафразы на комедийный жанр, то в письмах Филострата очевидна их связь с любовной александрийской элегией<sup>31</sup>. Это и определяет, в основном, их специфику.

В собрании любовных писем входят 73 письма, адресаты которых в большинстве случаев не названы вовсе. Традиционная для эпистолярных текстов начальная формула — «такой-то (пишет или обращается) к такому-то» — отсутствует. Только 18 писем имеют перед текстом пометку — имя адресата в дательном падеже. В этом случае упомянутое имя органически входит в текст письма, значительно превосходя роль обращения. Здесь наблюдается интересная закономерность. Объем безымянных писем довольно разнообразен и, если не считать нескольких случаев, когда он колеблется от 1 до 5 строк, позволяет автору пуститься в более или менее пространные рассуждения. Все 18 именных писем, за исключением большого письма к Юлии Августе (73-е письмо) представляют собой чрезвычайно короткие записки, от неполной строки до 9 строк (по стереотипному изданию).

В тематическом отношении письма Филострата чрезвычайно ограничены. За исключением нескольких писем, посвященных вопросам стиля (напр., письма 67, 68, 71, 73), цель Филострата сводится к тому, чтобы воспеть красоту женщины, любовь, привлекательность юношей. Эта единая тема находит у Филострата бесконечные варианты для выражения. В трех письмах к трактирище (письма 32, 33, 60) мы находим живописный портрет, где легко подбирается круг постоянных эпитетов и сравнений: «нежный румянец ярче вина», «хитон из легкого белого полотна», «губы, словно обрызганные кровью роз», «родники очей», «руки, превращающие стекло в серебро и золото». Часто обращение к красавице служит для Филострата лишь предлогом, чтобы выразить свое отношение к какому-нибудь жизненному явлению. В этом отношении очень показательны письма, начинающиеся прямо с наставительных сентенций: «Если тебе нужны деньги, то я беден, если же нужна любовь, то я богат» (23-е письмо) или: «Прекрас-

<sup>30</sup> Подробную библиографию см.: F. H. Fobes. Указ. соч., стр. 409—411.

<sup>31</sup> Важнейшие работы: M. Heinemann. *Epistulae Amatoriae quomodo cohaerent cum Elegiis Alexandrinis*, 1909; A. A. Day. *The Origins of Latin Love-Elegy*. Oxford, 1938.

ной женщине следует выбирать любимого человека по его нраву, а не по его роду» (там же). В нескольких письмах содержатся наставления женщинам, чрезмерно прибегающим к косметике. Филострат отрицает все в этом отношении, что искажает естественный облик человека: «Женщина, которая прибегает к притираниям, чтобы казаться красивой, хочет восполнить то, чего у нее от природы нет» (22-е письмо). В этих «искусственных добавках» и «обманчивых ухищрениях», по мнению Филострата, не нуждается истинно красивая женщина.

Одна из наиболее интересных и привлекательных сторон в письмах — мифологические образы, обильно рассеянные всюду. Иногда экскурс в мифологию занимает до половины эпистолярного текста и таким образом превращается в самоцель данного письма. Так, в коротком письме гетере мы находим следующую композицию: «Даная приняла в подарок золото, Леда — птицу, Европа — быка, Антиопа — дары гор, Амимона — дары моря <...> прими же и ты мой дар...»

К интересным мифологическим сравнениям можно отнести также начало письма к трактирщице: «Все в тебе восхищает меня: и твой льняной хитон, подобный одежде Исида, и твоя харчевня — храм Афродиты, и кубки — подобные очам Геры» (60-е письмо). Следует отметить, что, кроме обычного канона греческих богов, в трех письмах упомянут Адонис (письма 1, 3, 38), что служит лишним доказательством связи Филострата с эллинистической поэзией.

Короткие письма к Филемону, Ктесидему, Плестеретиану и заключительное большое письмо к Юлии Августе важны для характеристики литературных взглядов Филострата и его отношения к современной ему софистике.

Утверждая право на существование любовной поэзии, Филострат выступает сторонником простого, ясного, понятного всем стиля, идеалом которого для него служит некий поэт Цельс, «отдавший жизнь своим песням, как настоящие цикады» (71-е письмо).

Но наиболее важным и интересным в этой группе писем является апология софистики, которую Филострат подробно обосновывает в письме к Юлии Домне — жене императора Септимия Севера, известной покровительнице литературных кругов того времени. Ссылаясь на авторитет Платона, который-де не был врагом софистов, Филострат перечисляет заслуги знаменитых софистов древности — Горгия, Гиппия, Продика, Протагора, советуя таким образом своим современникам не бояться использовать достижения ораторского искусства древности. Однако в отрывке неизвестного теоретического сочинения, говоря об эпистолярном стиле, Филострат выступает против излишеств аттицизма, утверждая, что «...речь в письме должна казаться и более аттической, чем обычная, строить ее надо просто, не лишая вместе с тем приятности» (Hercher, p. 15) (см. выше, стр. 19).

Сам Филострат постоянно пользуется этими правилами, принося в жертву им и формы аттического диалекта, и ритм, и благозвучность языка. В качестве примеров можно указать замену аттической формы имени Аполлона (7-е письмо) или замену аттических глагольных форм (письма 29, 36, 59).

Итак, мы наблюдаем в письмах Филострата заметное вырождение эпистолярной формы, которое однако не препятствует разнообразию освещения единой темы. В эпистолярную литературу «второй софистики» проникает еще один жанр — элегия и эпиграмма.

#### IV. АРИСТЭНЕТ

Сборник фиктивных писем, который в настоящее время по традиции называют «письмами Аристэнета», впервые был опубликован на основании единственной их рукописи (Codex Vindobonensis, № 310) французским ученым Ж. Мерсье в 1595 г. По эпистолярному обращению в первом письме — «Аристэнет Филокалу» — было условно названо имя автора<sup>32</sup>.

В истории античного мира имя Аристэнета встречается несколько раз, и в данном случае наиболее интересно сообщение Филострата о софисте Аристэнете, происходившем из Византии, время жизни которого приходится на вторую половину II в. н. э. («Жизнеописание софистов», II, 2). Существует небезосновательная гипотеза<sup>33</sup>, что этот Аристэнет тождествен с упоминаемым в латинских надписях «великим оратором», — Гаем Саллием Аристэнетом (CIL. VI, 1511, 1512), получившим доступ в римский сенат.

Возможно, что он также стал прототипом для сатирических образов Лукиана: софиста — «худшего из философов», «угрюмого, взъерошенного, длиннородого», «пустозвона, который учит юношу недобрым вещам» (Диалоги гетер, гл. 10) и утонченного богача, стремящегося к ученому обществу философов (Пир, гл. I, 10). Интересно, что во втором случае, в «Пире», Лукианом введен эпизод, связанный с письмом, которое начинается «Гетемокл-философ — Аристэнету», что напоминает традиции всей эпистолярной литературы — использование знаменитых имен в качестве мнимых авторов или адресатов писем<sup>34</sup>.

Следовательно, условно приводимое имя автора данного сборника могло быть подобной рецепцией, восходящей к далекому прошлому. Как было доказано, «письма Аристэнета» относятся

<sup>32</sup> Это обращение из-за плохой его сохранности в рукописи некоторые издания пропускают, как, напр., *Hercher*, p. 133.

<sup>33</sup> См. статью *Dessau* (*Hermes*, Bd. XXV, 158).

<sup>34</sup> Достаточно указать, напр., письма Менандра и Гликеры у Алкифрона, да и в самих «письмах» Аристэнета эта традиция представлена в письмах «Алкифрон Лукиану» (I, 5) и «Лукиан Алкифрону» (I, 22).

к V в. н. э.<sup>35</sup>, т. е. от времени создания писем Алкифрона и Филострата они отделены двумя сотнями лет.

V в. был последним веком существования языческого мира, когда античная наука и литература еще теплились в общепризнанном своем центре — в Афинах. Несмотря на глубокий упадок, который наступил и неизменно прогрессировал после «возрождения» при Антонинах, несмотря на потрясения, причиненные Греции вторжением Алариха и Стилихона, в Афинах сохранились богатые представители древних родов эвпатридов и процветало ученое меценатство.

В эту эпоху заката античности как тенденция противопоставить надвигающимся катастрофам идеальный образ Эллады и могла возникнуть литература эстетствующая, пренебрегающая страшной действительностью, уводящая от размышлений на злободневные темы. И как памятник такой именно литературы «письма Аристэнета» и заслуживают рассмотрения.

Содержание их восходит в основном к трем источникам: 1) к древней аттической комедии; 2) к александрийской поэзии; 3) к формам, предшествующим роману, к новеллам, как, например, «Милетские рассказы».

Язык и стиль Аристэнета находятся в непосредственной зависимости от тех писателей классического периода, за которыми сохранилась репутация лучших стилистов древности: Платона, Ксенофонта, Демосфена, Эсхина. Заметно также влияние и поздних авторов: Лукиана и романистов — Ксенофонта Эфесского, Лонга, Гелиодора, Ахилла Татия.

Сборник состоит из двух книг, из которых в первую входят 28, а во вторую 23 отдельных эпизода, не объединенных никакой сюжетной последовательностью.

Несмотря на то, что каждому эпизоду предпослано традиционное эпистолярное обращение, письмами в собственном смысле слова можно назвать далеко не все, входящие в сборник.

К подлинно эпистолярной группе можно отнести следующие эпизоды первой книги: обращение гетеры к подруге (Калликойта Мейракиофиле; I, 18), письмо к гетере от ее возлюбленного (Аристомен Мирониде; I, 21), письмо актрисы подруге (Эвфрония Телксиное; I, 19), излияния влюбленного юноши (Ксенопит Дамарету; I, 17).

Письма второй книги отличаются более разнообразным содержанием: юноша просит гетеру не отвергать его товарища (Элиан Калике; II, 1); замужняя женщина жалуется на несчастливый брак (Гликера Филине; II, 3); влюбленный юноша упрекает соперника (II, 6)<sup>36</sup>; юноша прощает изменившую ему возлюбленную (Дионисиодор Ампелиде; II, 3); гетеры пытаются соблазнить не-

<sup>35</sup> «*Aristaeneti Epistolae ed Boissonades*. Paris, 1822, p. 581.

<sup>36</sup> Обращение не сохранилось.

приступных юношей (Хелидония Филониду; II, 13 и Миртала Памфилу; II, 16); женщина, влюбленная в раба своей подруги, пишет женщине, влюбленной в ее мужа, и предлагает замысловатый план свиданий (Хрисиды Миррине; II, 15).

Из перечисленных писем только 17-е и 21-е письма первой книги и четыре письма (6, 9, 13, 16) второй представляются таковыми, где эпистолярная форма продиктована необходимостью, где данную тему только и можно было выразить в виде писем. Остальные можно определить как половину диалога из комедии<sup>37</sup>. Таким образом, мы видим, что уже в собственно эпистолярной части сборника Аристэнета находится группа, служащая переходом к тому, что выходит за рамки собственно эпистолярной литературы. Именно эта группа писем по своему происхождению наиболее тесно связана с комедией. Здесь в наиболее полном виде раскрывается искусство «этопен». Как наиболее яркий пример изображения характера действующего лица в форме письма можно привести 9-е письмо второй книги:

Дионисиодор Ампелиде.

«Ты, может быть, подумаешь, что я страшно огорчен тем, что ты покинула меня; меня, который в тебя так влюблен. Клянусь лицом твоим, что для меня это — небольшое зло по сравнению с более серьезным несчастьем, раз ты очень легко и просто нарушила столь важную клятву. Но от себя я пожелаю, чтобы боги, которыми ты клялась, не мстили тебе, раз ты не любишь того, кто стремится к тебе и не умеешь сдерживать того, что клятвенно обещала. Но боюсь я (все-таки скажу это, хотя я и не хотел бы), что боги как-то воздадут тебе за это. И это будет для меня горше, чем лишиться твоей любви. Для меня это несчастье, но тебя я не порицаю. Поэтому я не перестану умолять Дике, любимая, чтобы тебя никогда не постигла заслуженная кара. Но пусть, даже если ты неправа, тебе всегда сопутствует снисхождение, ведь оно больше подходит к твоему возрасту. А мне невыносимо и любовь мою нести и тебя видеть претерпевшей что-либо плохое. Будь здорова. Даже если ты и плохо поступаешь, да простят тебе боги. Клянусь Зевсом, кто в обиде написал бы более кротко?»

Группу, промежуточную между письмами и новеллами, составляют рассказы лирического характера в форме монологов. Таких эпизодов в сборнике гораздо больше, чем собственно писем. Наиболее интересное явление в этой группе — повествования, в которых само содержание исключает форму письма, как, например, 14-й эпизод первой книги, где гетера обращается к нескольким юношам, предлагая им песнями завоевать ее благосклонность. В некоторых рассказах для того чтобы оправдать эпистолярную форму, можно наблюдать особый прием, как бы развернутое за-

<sup>37</sup> Можно сослаться здесь на остроумное замечание Б. В. Варнеке, что письмо 16 во второй книге есть перифраза на 12 диалог гетер Лукиана (ЖМНП, 1905, ч. 361, стр. 409—422).

главие, которое следует непосредственно за эпистолярным обращением. Так, 19-й эпизод второй книги начинается фразой: «Посмотри Зевса ради, как пустая женщина сделала раба своим любовником». И затем следует небольшая новелла, к которой форма письма не имеет отношения.

И наконец, небольшую, но заметную по качественным отличиям группу представляют собой новеллы, к которым можно отнести 7 эпизодов в первой книге и 4 во второй.

Наиболее замечательный из них — история любви Аконтя и Кидиппы (I, 10), эллинистический прототип которой сохранился в «Причинах» Каллимаха. Прекрасный юноша с острова Кеоса, Аконтий, влюбился в живущую на острове Наксосе красавицу — Кидиппу, которая в храме Артемиды дала клятву выйти за него замуж. Но отец Кидиппы, не зная о клятве, хотел выдать ее за другого человека. Тогда за Аконтя вступилась сама Артемиды. Как только начинались свадебные приготовления, она насылала на Кидиппу болезнь; так повторялось три раза. И отец Кидиппы отправился в Дельфы, чтобы спросить оракула. Аполлон открыл ему тайну внезапной болезни дочери и посоветовал не препятствовать ей в исполнении ее клятвы. Отец послушался оракула, и счастливая свадьба состоялась.

У эллинистического поэта рассказ этот вставлен в небольшую дидактико-антикварную поэму, где излагаются местные предания острова Кеоса, легенды, связанные с основанием городов и возникновением старинных аристократических родов, к которым относится и род Аконтиадов. От поэмы Каллимаха сохранилась лишь вторая половина (75 стихов), но и это дает достаточное представление о ее художественной специфике. Мы видим здесь характерное для автора эпохи эллинизма стремление к изысканному описанию мелких деталей, порой даже не имеющих значения для главных событий поэмы. Подробно поэт рассказывает о приготовлениях к свадьбе, подробно излагает ответ оракула, нагромождает мифологические сравнения при упоминании о первой брачной ночи.

Несмотря на то, что ряд дословных совпадений у Каллимаха и позднего автора не оставляют сомнений в зависимости второго от первого, новеллу Аристэнета нельзя рассматривать как простой парафраз на более ранний жанр. События в новелле разворачиваются динамично, и в центре их — интрига. Юноша прибегает к хитрой уловке. Он пишет текст клятвы на яблке и подбрасывает девушке в храме Артемиды. Девушка, по просьбе няни, читает вслух надпись и таким образом бессознательно приносит Артемиде вынужденную клятву.

Место действия у Аристэнета не названо.

Автор новеллы, хотя и вводит некоторые бытовые детали, главное внимание обращает на душевное состояние героев, особенно Аконтя. Этому посвящена основная и самая интересная часть рассказа, и в ней использованы весьма разнообразные художест-

венные приемы — и в описании внешности мучимого любовью юноши, и его поведении с окружающими, и его собственные влияния в одиночестве, на лоне природы:

«Ночи юноше приносили не сон, а одни только слезы: ведь стыдясь плакать днем, он сберегал слезы для ночей. Члены у него ослабели, он посерел и выглядел страшно, словно безжизненный. Он был так бледен, что боялся показаться на глаза отцу и, чтобы избежать его, под любым предлогом уходил в поле. Поэтому более остроумные из его сверстников прозвали его Лаэртом, полагая, что их товарищ стал земледельцем. Но Аконтию не было дела ни до виноградника, ни до мотыги; он только и знал, что сидел под вязом или дубом и говорил: «Если бы, деревья, был у вас разум и голос, чтобы вы говорили: «Прекрасная Кидиппа!» Если бы на листьях у вас было столько букв, сколько нужно, чтобы назвать Кидиппу прекрасной! Кидиппа! Я называю тебя сразу и прекрасной и давшей благую клятву, и пусть Артемида не поднимет на тебя и не пошлет карающую стрелу! Пусть крышка колчана ее будет всегда закрыта! О, я, несчастный! Зачем я вселил в тебя этот страх? Ведь говорят, что богиня жестоко наказывает за всякие проступки, но особенно страшно мстит не исполнившим клятву. Если бы ты соблюла клятву, как я только что молился, если бы это было так! А если ты не исполнишь — страшно сказать — пусть Артемида будет к тебе милостивой. Ведь следует наказывать не тебя, а того, кто дал тебе повод для ложной клятвы. Как только я почувствую, что написанное мною тяготит тебя, я оторгну мою душу от твоих чар и кровь моя будет для меня тем же, что и нечаянно пролитая вода. Милые деревья! Жилища сладкозвучных птиц! Неужели вы не знаете такой любви? Ведь влюблен же, например, кипарис в сосну или другое дерево в еще какое-то? Нет, клянусь Зевсом, не верю! Вы не только потеряли бы листья, и страсть лишила бы вас пышного убранства, нет, страсть, словно огонь, проникла бы до вашего ствола и корней!»

Правда, отдельные элементы приведенного описания можно встретить и в классическую эпоху (напрасливается сравнение изображения внешности Аконтия с одой Сафо «Мнится мне, лишь тот божеству подобен»), но сложная психологическая характеристика и глубокое проникновение во внутренний мир изображаемого человека присущи лишь поздней греческой литературе, в частности, греческому роману.

Таким образом, мы наблюдаем в сборнике Аристэнета три обособленные жанровые группы, которые показывают зарождение новеллы на основе эпистолярной художественной литературы, новеллы, которая получает большое распространение в средневековой литературе Востока и Запада.



# ПСЕВДОИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПИСТОЛОГРАФИЯ

\*

1

В античную биографическую традицию наряду с жанрами биографий и исторических сочинений входит обширная литература писем. До нас дошли целые эпистолярные сборники, носящие имена знаменитых людей Греции начиная с VI в. до н. э. — поэтов (Еврипида), ораторов (Исократ, Демосфен, Эсхин), философов (Пифагора, Сократа, Диогена, Гераклита и др.), полководцев (Фемистокла и др.) и правителей (тиранна Филарида, Филиппа Македонского и др.). В этих сборниках раскрыты перипетии жизненных ситуаций, в которые попадают их авторы: странствования Фемистокла в изгнании, бродяжничество Диогена, суд над Сократом, путешествие Гиппократу к Демокриту и т. п. В них воссоздается нравственное лицо пишущего, мир его интимных настроений и будничных поступков: гордая независимость перед сильнейшим, укоры обидчикам, утешения горюющим, заботы о друзьях и т. п. По этим письмам потомки рисовали себе внутренний облик их авторов, и вплоть до XVII в. эти эпистолярные сборники пользовались неизменным успехом как живой памятник вкусов, настроений, личной жизни великих мужей классической Греции.

Их ценили так высоко, что в конце XVII в. они стали предметом полемики в общем ходе того спора «древних и новых», который в XVII в. охватил Италию, Францию и Англию и получил у Свифта прозвище «битва книг». Вопрос вставал о том, может ли современная культура Европы соперничать с классическими образцами, или античные каноны навеки остаются неизменной нормой. Poleмика шла подчас в очень резких формах, в нее оказались втянуты Буало, Перро, Паскаль и многие другие. В Англии вызов был брошен известным дипломатом и покровителем Свифта У. Темплом в его «Очерке о древней и современной учености» (1690 г.). Влюбленный в античность, Темпль провозглашал древность лучшим критерием искусства; он ссылаясь при этом на басни Эзопа и письма Фаларида как на самые древние произведения этих жанров и находил в них непревзойденную гениальность. Верхом остроумия и обаятельной силы признавал Темпль письма

Фаларида — сицилийского тиранна VI в. до н. э., с негодованием отвергая малейшие сомнения в их подлинности: «... такая свобода мысли и смелость выражений, такая привязанность к друзьям и злоба на врагов; такое почтение к образованным людям, такое уважение к добру; такое знание жизни, такое презрение к смерти, при такой природной ярости и жестокой мстительности — могут быть выражены лишь тем, кто обладает ими. Я полагаю, что Лукиан не был способен ни писать, ни действовать, как Фаларид. Во всех сочинениях первого вы ощущаете ученого и софиста, а в сочинениях второго — тиранна и повелителя».

Темплю возражал У. Уоттон в «Размышлениях о древней и современной учености» (1694 г.). К Уоттону присоединился крупнейший филолог своего времени Ричард Бентли, который вставил во 2-е издание «Размышлений» (1697 г.) свой очерк «Письма Фаларида, Фемистокла, Сократа, Еврипида и других», где оспаривал заявление об их подлинности. После хвалебного отзыва Темпля интерес к личности сицилийского тиранна возрос настолько, что к 1695 г. было подготовлено Бойлем издание его писем, которое затем перепечатывалось несколько раз в последующие годы. В этом издании вопрос о подлинности текста оставлен открытым, мнение Бентли не было признано бесспорным. И Бентли как лучший знаток рукописных и печатных изданий греческих авторов ответил в 1699 г. четко разработанной системой доводов, которая противопоставляла субъективному эстетическому критерию Темпля новый, объективный, исторический анализ текста.

О Фалариде античность не знала ничего, кроме рассказов о медном быке, в котором тиранн казнил своих врагов. Лишь в V в. н. э. Стобей впервые говорит о его письмах. В дошедший до нас сборник входит 148 писем к разным лицам, среди которых упоминаются философ Пифагор, поэты Стесихор, Эпихарм, жена, сын тиранна, его противники и жители ряда городов Италии. По этим посланиям восстанавливаются некоторые штрихи биографии и характера Фаларида: его молодость на острове Крите, уход в изгнание, захват власти в сицилийском городе Акраганте, борьба с соседними городами.

Эти письма показывают также и внутренний облик древнего тиранна, мир его привязанностей и эмоций; Фаларид благодарит жену за верность, за то, как она воспитала сына, пока он сам скитался в изгнании: «Я полон благодарности к тебе и за себя самого и за нашего общего ребенка, которого оставил тебе, Эрифейя. За себя — потому, что ты, когда я был изгнан, предпочла сидеть вдовой, чем выходить другой раз замуж, хотя многие предлагали тебе руку; за ребенка — потому, что ты была ему и отцом и матерью, ни Фалариду не предпочитая другого мужа, ни Павролу — другого сына. Вместо второго мужа ты предпочла ждать первого, вместо второго сына — спасти того, кто был зачат от первого мужа...» (письмо 18).

Он утешает друзей в скорби: «Вполне понятно, что ты сильно удручен гибелью сына, и я полон сочувствия, принимаю это как свое личное горе и печаль моя сильнее, хотя я более сдержанно переношу такие вещи, ибо не вижу смысла в безмерной скорби. Пусть в постигшей его беде служит тебе большим утешением, прежде всего, то, что смерть его была подвигом — он пал, сражаясь на войне, затем то, что он одержал победу и удостоен судьбой самого лучшего конца и, наконец, то, что, не совершив ничего дурного в жизни, он смертью запечатлел собственную доблесть. Ведь когда хороший человек жив, то неясно, не изменится ли он к худшему...» (письмо 10).

Он угрожает врагам: «Не валяй дурака, болван Лисин, пощади свою тридцатилетнюю жизнь, не наживай врагов, пред которыми не устоит и скопище таких, как ты. Чтобы досадить мне, ты пишешь поэмы и трагедии. Берегись, как бы не стряслось с тобой чего, пострашнее любой трагедии» (письмо 47).

Внутренний мир тиранна противоречив: с одной стороны — отказ сложить с себя власть (письмо 61) и подчиниться законам, с другой стороны — признание всемогущества судьбы (письма 32, 37), желание бежать от людей (письмо 34), благородная щедрость, умение платить добром за зло и не обижаться на клевету (письма 29, 72).

Бентли по античным источникам восстановил предположительную хронологию жизни Фаларида и опроверг подлинность его писем троякого рода доводами:

1. Историческими: в письмах упоминаются города, основанные много позднее времени Фаларида; в ссылках на реалии (названия сосудов и денежных единиц) забыто то значение, которое в них вкладывалось в эпоху Фаларида; письма не известны классическим авторам (Пиндару, Платону и др.).
2. Лингвистическими: письма написаны на диалекте (литературном аттическом), на котором не мог переписываться сицилийский тиран VI в. (в Сицилии был распространен дорийский диалект).
3. Стилистическими: в письмах немало цитат более поздних писателей (Геродота, трагиков) и философских терминов, неупотребительных в VI в. до н. э. (*philosophia*, *stoicheion*, *propoia*).
4. Психологическими: содержание разных писем противоречиво, оно не соответствует характеру тиранна. Многие письма безвкусны и бессмысленны.

Бентли отнес фаларидовское собрание к литературе риторско-софистических упражнений императорской эпохи и датировал его приблизительно I в. н. э. Под ту же категорию, пользуясь той же аргументацией, он подвел и письма Фемистокла, Сократа, Еврипида.

В жаркой «битве книг» классический филолог Бентли встал на сторону «модернистов». Его книга развенчивала слепое преклонение перед традицией и вместо восторженного энтузиазма предла-

гала трезвый, исторически обоснованный разбор древних текстов. Далеко не сразу позиция Бентли встретила признание. Его зло высмеивали, рисовали в медном быке Фаларида, Свифт обрушился на него в «Сказке о бочке». Лишь в XIX в. его метод получил должную оценку и приложение<sup>1</sup>.

В XIX в. критика текста, его достоверности и подлинности делается одним из основных направлений классической филологии. Снова начинает изучаться эпистолярная литература. Конрадом Орелли подготавливается комментированное издание греческих эпистографов, но выходит в свет в 1815 г. лишь первый том с письмами сократиков и пифагорейцев. В 1851—1858 гг. А. Вестерманн пишет очерк развития официальной и риторской эпистографии, присоединяя к нему индекс ста шестидесяти эпистографов и привлекая для этого все известные тогда свидетельства античных авторов. Одновременно ведется текстологическое исследование отдельных сборников. Бентлевский нигилизм в известной мере преодолевается: доказывается необходимость дифференцированного подхода к каждому памятнику эпистолярной литературы в отдельности; устанавливается подлинность отдельных писем (в сборниках Исократ, Платона). В 1871 г. Рудольф Херхер выпускает толстый том собрания греческих эпистографов, где в введении помещены античные источники по теории эпистолярного стиля — писемовники Деметрия, Прокла и рассуждения о стиле в письмах Филострата и Григория Назианзина, а затем в алфавитном порядке публикуются письма пятидесяти двух авторов вплоть до VI в. н. э. Херхер включил в свое издание тексты самого различного рода: 1) подлинные письма поздних авторов — императора Юлиана, Синесия и др., 2) литературные письма Алкифрона, Аристэнета, Филострата, Элиана, 3) письма знаменитых людей классической Греции — Фемистокла, Гиппократ, Демосфена, Еврипида, Диогена, Пифагора и др.

Филологическая критика XIX—XX вв. доказала подложность многих из этих писем знаменитых людей (помимо тех, о которых писал Бентли), кроме того, она выяснила их отношение к известным нам литературным памятникам, вскрыла в них следы утраченных сочинений, установила приблизительное время написания и показала неоднородный состав ряда сборников<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См.: «D. R. Bentley's Abhandlungen über die Briefe des Phalaris, Themistocles, Socrates, Euripides und über die Fabeln des Aesop. deutsch von W. Ribbeck». Leipzig, 1857; G. Highe t, *The Classical Tradition. Greek and Roman influences on Western Literature*. Oxford, 1953, p. 261—268; R. Jebb. *Bentley*. London, 1882, p. 1—74; I. Sandys. *A history of classical scholarship*, vol. II. Cambridge, 1908, p. 401—410; S. Swift. *Works*. vol. X. Edinburgh, 1824.

<sup>2</sup> См.: «Socratis et Socraticorum, Pythagorae et Pythagoreorum quae feruntur epistolae. rec. Conr. Orellius». Lipsiae, 1815; «Epistolographi graeci. rec. R. Herchers». Parisiis, 1871; Ant. Westermannus. *De epistolarum scriptoribus graecis. Teile 1—8. Programme von Leipzig. 1851—1858*; I. Marx. *Symbola critica ad epistolographos graecos. Diss.* Bonn, 1883; R. He-

Мы можем говорить теперь об этих вымышленных письмах, как о специфической литературе, которая получила особое распространение в риторских школах I в. до н. э.—III в. н. э. и связана была с отходом школы от жизни, с ее тяготением к миру условностей и фикций. Эпистолярная литература риторских упражнений — это переделка в эпистолярную форму произведений других жанров более раннего времени — исторических повествований, диалогов, кратких изречений, хрией, апофтегм.

Эту литературу вызвали к жизни две причины: во-первых, архаистическая тенденция эпохи — прославление героев классической древности, во-вторых — проповедь кинико-стоической морали. В связи с этим неоднородна и сама структура писем: это либо сложная, обычно из нескольких писем, композиция с определенным сюжетом, приближающаяся к повествованию, к роману в письмах, либо — голое поучение, либо, наконец — импровизированный отклик на какое-либо конкретное событие — вроде тех образцов, которые сохранились до нас в письмовниках.

Как продукция риторических школ — письма воплощают в себе принцип эпохи. Этопейя — это традиционный риторический способ обобщенного изображения человека. Древний оратор, произнося речь, говорил о себе как о человеке определенного склада (патриот, честный, порядочный человек и т. п.) и строил на этом свою аргументацию. Постепенно слагался штамп типизированного описания, в котором индивидуальные черты сводились к минимуму. Вымышленные письма представляют собой любопытный пример эпохи греческих риторов императорской эпохи. Поступки, чувства, слова, раскрывающие внутренний облик персонажа, ситуация, в которой он показан, и приемы выразительности в строе речи оказываются сходными для многих эпистолярных сборников знаменитых людей.

Письмо воссоздавало облик своего номинального автора, и ритор исходил при этом из близких и понятных ему нравственных норм. На материал биографии героя накладывалась схема этических требований, которые в большой степени были обусловлены популярной в поздней античности кинико-стоической моралью. Среди философских течений эллинизма кинизм ближе всего стоял к простому своду правил жизни. Киник вел нищенскую жизнь бродяги, его атрибутами были потертый плащ, котомка и посох. Он отвергал условности и не ценил того, что дорого остальным. Он враг

---

*in ze. Anacharsis (Philologus Bd. I (1891) S. 458—468); G. Capelle. De cynicorum epistulae. Diss. Göttingen, 1896; G. Oben s. Qua aetate Socratis et Socraticorum epistulae quae dicuntur, scriptae sint. Diss. Monast. Qualph., 1912; L. Köhler. Die Briefe des Sokrates und Sokratiker. Leipzig, 1928 (Philologus Suppl. Bd. 20, Hft. 2); G. Niessing. De Themistoclis epistulis. Diss. Freiburg, 1929; I. Sykutris. Epistolographie (Pauly's Real-Encyclopädie Suppl. Bd. V, cmp. 186—220).*

роскоши и пьянства. Он искал удовлетворения в самом себе, выше всего ставил свою независимость и шел к ней путем аскетизма.

Кинизм внес в литературу стиль серьезной шутки (*spudaiogeioion*) и определил развитие таких художественных форм, как диатриба, хрия, апофтегма.

Диатриба родилась из жанра философского диалога, в котором постепенно исчезала беседа и оставалась лишь экспозиция темы и одно действующее лицо. Обычными темами кинических диатриб были бедность, изгнание, автаркия<sup>3</sup>. Тот же прием инсценировки вводился киниками и в эпистолярный жанр; сочинялись письма от вымышленных лиц вымышленным адресатам на вымышленные темы<sup>4</sup>. Кинизм внес в литературу свой образ героя-мудреца. Формой раскрытия этого образа служили воспоминания учеников и записки самого философа; в них обычно входили хрии — анекдоты и апофтегмы — меткие изречения, связанные с его именем. Такими популярными героями киников были Сократ, Диоген, Одиссей, Геракл<sup>5</sup>. Сближение этики кинизма и стоицизма в конце I в. н. э. приводит к сближению художественных традиций этих школ и к широкому распространению кинических тем, образов, мотивов в литературе.

В вымышленных риторских письмах мы обнаруживаем явное влияние этой традиции. Оно сказывается уже в самом выборе персонажей-эпистографов, в число которых в издании Херхера включено около двадцати философов, среди них такие типичные кинические «герои», как Анахарсис, Сократ, Диоген, Кратет. Оно сказывается также и в выборе мотивов, которыми окрашивается их переписка: почти в каждом сборнике затронута тема автаркии (независимости) и тема изгнания. Из сборника в сборник кочует изображение ситуации, в которой царь или тиран предлагает свое покровительство мудрецу и получает ответ приблизительно такого содержания:

«Жизнь моя безопасна и спокойна, твоя же мне ни в чем не подходит. Человек воздержанный и бедный нисколько не нуждается в сицилийской трапезе. Все в достаточном количестве есть у Пифагора на каждый день, куда бы он ни пошел. Угодать властителю тяжело и противно для непривыкшего. Великое и верное дело — независимость. Не будет тут ни завистника, ни злоумышленника. Посему и кажется такая жизнь самой близкой к богу. Доброе расположение рождается не от любовных утех и не от яств, а от бедности, ведущей к мужеству. Наслаждения же, разнообразные и безудержные, порабощают души слабых людей, особенно те, которым ты предаешься. Ты, поэтому, предавшись этому, висишь над

<sup>3</sup> D. Dudley. *A history of cynism*. Cambridge, 1937, p. 59—97.

<sup>4</sup> Диоген Лаэртский, VI, 101.

<sup>5</sup> См.: R. Höishad. *Cynic hero and cynic king. Studies in the cynic conception of man*. Diss. Uppsala, 1948.

пропастью и не можешь спастись. Ибо разум твой не противостоит опасностям. Итак, не зови Пифагора жить с тобой; ведь и врачи не соглашаются хворать вместе с больными» (Пифагор. Письмо 2 — Гиерону).

Тема изгнания варьируется в разных видах — от пространных рассказов о странствовании скитальцев (письма Фемистокла и Эсхина) до кратких уведомлений о бегстве от людей в пустыню (письма Фаларида и др.).

Как уже говорилось выше, риторические письма построены либо как воспроизведение определенной ситуации, что приближает их к рассказу и диалогу, либо как чистая дидактика, либо как ответ-реплика.

С этими тремя формами писем мы сталкиваемся почти во всех эпистолярных сборниках. Тематически письма нередко объединяются в целостные циклы. Так, например, в гиппократовском сборнике мы имеем цикл, посвященный болезни Демокрита, в сократовском — сиракузский цикл, в фемистокловском — цикл странствований изгнанника. Далеко не все циклы представлены в наших сборниках с достаточной полнотой. Нередко в один сборник входят письма из разных циклов. Наиболее длинную цепь писем, объединенных единой сюжетной линией, мы находим в эпистолярных собраниях Фемистокла, оратора Эсхина и Гиппократа, в которых легко устанавливается хронологическая последовательность между письмами. В остальных сборниках эта хронологическая цепь намного короче и значительно меньшее число писем последовательно объединено единой темой. Сборники представляют собой в таких случаях либо совокупность отдельных микроциклов, либо просто свод писем, вне какой бы то ни было хронологической перспективы в них.

### 3

Объединение писем в циклы делает эпистолярную форму способной воспроизводить более сложные ситуации, чем те, которые могут быть охвачены рамками одного письма. Эпистолярные циклы приобретают специфическую тематику и строятся как в повествовательном, так и в диалогическом плане. В них изображается либо последовательная нить событий, чаще всего путешествий, либо обмен письмами нескольких лиц между собой. Для повествовательных циклов особенно характерны письма Фемистокла и Эсхина, с их фигурой героя-изгнанника, перипетиями морских путешествий и счастливым концом.

Письма Фемистокла составлены по рассказу Фукидида об изгнании Фемистокла из Афин, о его бегстве в Аргос, затем на остров Керкиру, оттуда к эпирскому царю Адмету и, наконец, к персидскому царю (Фукидид, I, 135—136). В сборник входит двадцать писем, из них письма 1—5, 12—20 образуют единый по-

следовательный цикл путешествий. Историческое повествование, преобразованное в эпистолярную форму, приобретает здесь некоторые новые, отсутствующие у Фукидида, черты. В его содержание вводится вымысел — вымышленные подробности и вымышленные персонажи; рассказ делается более драматичным, большое место в нем уделяется чувствам и мыслям героя.

Главное повествование Фукидида эпистолограф дробит на ряд отрезков (писем) и в каждый из них вносит сюжетную напряженность, конфликт; возникают новые ситуации, которых нет в прототипе. Если от Фукидида мы знаем, что изгнанный из Афин Фемистокл жил в Аргосе, то из письма 1 мы узнаем еще и то, что он сначала направлялся в Дельфы, но повстречал по дороге друзей, и те с негодованием стали корить его за то, что он идет в Дельфы, а не в Аргос, где живут друзья его отца; Фемистокл оказывается в Аргосе как бы против воли и здесь его ждет конфликт с местными гражданами, которые заставляют его править Аргосом, чего Фемистокл всячески избегает:

«Покидая город, мы решили направиться в Дельфы, полагая, что будем жить в Дельфах столько, сколько желают афиняне. По дороге я повстречался со своими друзьями из Аргоса, с Никием, Мелеагром и Евкратом, который незадолго до того был в Афинах. Они обступили меня, и когда из расспросов узнали об остракизме, в первую минуту рассердились и усиленно стали порицать афинян; когда же узнали, что я решил направиться в Дельфы, перестали ругать афинян и начали бранить меня и называли бесчестьем для себя то, что их не сочли способными взять на себя заботу о нашей беде. В пример они приводили Неокла, нашего отца, который-де очень долго жил в Аргосе, тогда как я, по их словам, пренебрегаю и им, полюбившим Аргос, и аргосскими друзьями. Они уже готовы были хвалить Афины за то, что те правильно наказали нас.

В конце концов они стали просить не принуждать их становиться виновниками нашего несчастья, не оскорблять их счастливой встречи, при этом снова приводили в пример Неокла, убеждая, сколь прилично мне было бы жить в том же городе и доме, что и отец. Так что, Эсхил, они уволокли меня в Аргос. И теперь мы завершили наше скитание в Аргосе, и много выносим неприятностей, не желая править аргосцами. Они ведь негодуют, словно им нанесена будет обида, если мы не согласимся править. Нам же хочется вовсе не иметь величественного вида, не только потому, что нам это повредило, но и потому, что когда «было нужно, мы в достаточной мере вкусили этого» (письмо 1. Фемистокл — Эсхилу).

Тот же мотив повторяется в письме 2, где противопоставляется, с одной стороны, отношение к Фемистоклу афинян, изгнавших его, и аргосцев, сделавших его стратегом и, с другой стороны — отношения Фемистокла и аргосцев друг к другу: их ува-



жение к нему и его нежелание править ими. Из этого конфликта рождается желание Фемистокла бежать из Аргоса. Нетрудно заметить, что эпистолограф вносит в рассказ гораздо больше напряженности, чем было у Фукидида. В основу действия он кладет конфликтную ситуацию, которую строит на столкновении субъективных настроений:

«Нас, Павсаний, афиняне подвергли остракизму, и теперь мы в Аргосе, чтобы афиняне не потерпели от нас какого-либо ущерба, ведь им казалось, что потерпят его. И я без всякого промедления, так как даже нельзя было медлить, расстался с Афинами и избавил их от страха.

Аргосцы подчиняются нам в большей мере, чем изгнаннику, и хотят воздать нам за те блага, которые испытали на себе афиняне, так что они вернули нам чин стратега и поручили руководство всем Аргосом. Я весьма недоволен, что нам не позволяють быть изгнанником, как того хотели афиняне. Я и оскорблять их рвение стыжусь и в еще большей мере не переношу того, что они мне предлагают. Ведь если бы я гнался за этим, то мой остракизм казался бы справедливым.

Дело приближается к тому, что меня будут осуждать за то, что я, изгнанный афинянами за стремление к власти, бегу из Аргоса потому, что меня принуждают к власти. Но для меня, Павсаний, если бы они стали просить еще усерднее, легче переселиться в другой город, потому что, куда бы я ни бежал, всюду в равной мере останется в силе то, что я нахожусь вне Афин.

О тебе же, думаю, сейчас нужно больше всего печалиться и бояться за тебя, когда ты приступаешь к великому делу. Ведь до меня доходят слухи, что ты владычествуешь над всем Геллеспонтом вплоть до Боспора, пытаешься подчинить себе и Ионию и что уже и у царя твое имя известно, так что мы желая тебе самого лучшего, хотели бы, чтобы ты был намного слабее, чем сейчас. Не гонись за счастьем, Павсаний, не забывай, что у людей благоденствие вскармливает несчастья и что это всегда оказывалось так, особенно с теми, кто имеет дело с законами и народом. Ведь мы, Павсаний, как рабы демоса, получаем власть, властвуя же становимся ненавистными для тех, кто дал нам власть. После этого они не отпускают нас в ту страну, где мы жили до принятия на себя власти, но проверяя свою собственную власть и отдаваясь на волю случая, посылают правителей в изгнание и на смерть. Те, кто хотят благоденствовать в государстве, должны именно этого бояться больше всего. Смотри, Павсаний, как бы не изменилось совершенно твое теперешнее состояние. Мы вот, находясь в таком положении, больше не гонимся за счастьем» (письмо 2. Фемистокл Павсанию).

Самораскрытию героя посвящено специальное письмо 13, полное сетований по поводу изгнания; здесь опять изображение строится на контрастах: первоначальная надежда прожить без

печали вне Афин сменяется горьким разочарованием. Фемистокл не может забыть свою утрату. Печальный тон письма усиливается противопоставлением заслуг изгнанника перед Афинами и ничтожества тех, кто продолжает пользоваться правами граждан. Мотив одиночества с новой силой звучит в конце письма, где любовь героя к отчизне показана как обещание встать на ее защиту в случае войны и как вечное ощущение одиночества даже среди множества дружественных аргосцев.

Последующие события — изгнание Фемистокла из Аргоса, его бегство на остров Керкиру, затем в Эпир к Адмету и оттуда в Малую Азию — представлены новым рядом писем, где напряженность создается объективными причинами, которые мешают герою достичь своей цели. Преодоление всех препятствий приводит его к счастливому концу: узнав о решении афинян казнить его, он спешит покинуть Аргос, но буря мешает плыть; отправившись с опозданием, он при попутном ветре нагоняет упущенное время и прибывает на остров Керкиру, однако керкириане не решаются оставить его у себя и отсылают дальше. Фемистокл приплывает к Адмету, здесь опять та же ситуация — царь не губит его, но и не оставляет у себя, а устраивает ему побег дальше; после этого, наконец, скитания завершаются успехом: Фемистокл находит приют у персов. Вся ситуация почти полностью воспроизведена у Фукидида. В письмах дополнительно введен мотив ненависти, мешающего выехать из Аргоса, и момент субъективной оценки в рассказе об Адмете. Фукидид подробно излагает логику доводов Фемистокла при встрече с Адметом:

«... Так как назначенные к тому лица преследовали Фемистокла, куда бы он, по сведениям их, ни направился, то, испытывая какое-то затруднение, Фемистокл вынужден был обратиться к царю молоссов Адмету, хотя тот не был его другом. Адмета в то время не было дома. Фемистокл явился в качестве молящего перед женою его и, по ее наставлению, взял на руки их ребенка и сел у очага. Когда вскоре после того вернулся Адмет, Фемистокл объяснил, кто он, и просил его не мстить изгнаннику... В настоящем положении, указывая Фемистокл, он гораздо слабее Адмета, и Адмет в состоянии сделать ему зло, но благородному человеку свойственно мстить только равным и при одинаковых условиях. Кроме того, он, Фемистокл, выступал против царя по случаю какой-то его просьбы, когда и речи не было о спасении жизни; напротив, если царь выдаст его (при этом Фемистокл сказал, кто и за что преследует его), то он отнимет у него всякую возможность спасти свою жизнь. Царь выслушал это, велел Фемистоклу встать вместе с сыном своим (Фемистокл так и сидел у очага держа ребенка, что было самым надежным способом умилоствления), и когда вскоре после того явились афиняне и лакедемоняне обратились к Адмету с настоятельными просьбами, он не выдал Фемистокла, а приказал проводить его сухим путем к дру-

гому морю в Пидну, принадлежавшую Александру, так как Фемистокл пожелал отправиться к персидскому царю» (Фукидид, I, 136, перевод Ф. Мищенко).

Счастливое решение конфликта представлено у Фукидида как победа рациональной аргументации Фемистокла. Эпистолограф отбрасывает все это рассуждение и заменяет его столкновением эмоций: «... а одной рукой я держал малыша Аррибаса, другой — меч. Увидав, значит, меня с ребенком, Адмет меня узнал и, я уверен, возненавидел, ребенка пожалел, а меча испугался. Велев мне подняться, он сказал, что не может спасти меня, так как боится афинян, а еще больше лакедемонян, но обещал послать туда, где я спасусь, и, действительно, сдержал обещание» (письмо 5).

Мы можем говорить о письмах Фемистокла как о своеобразной повести в письмах (романом в письмах стали называть этот жанр позднее), которая обладает присущей ей композицией, сюжетной линией, изобразительной техникой и наделяет героя определенной совокупностью свойств. Предметом изображения служат странствования героя-изгнанника. Перед ним стоит цель — достичь безопасного пристанища, и движение к ней разворачивается в виде ломаной линии, сложенной из коротких отрезков, где на каждом этапе герой стремится к новой цели, но, не достигнув ее, меняет направление — и так несколько раз, пока, наконец, не наступает счастливый конец пути (дорога в Дельфы, поворот в Аргос, бегство на остров Керкиру, бегство к Адмету, прибытие к персидскому двору).

Герой в этих странствованиях выступает как пассивная фигура — узловые повороты происходят от каких-то внешних препятствий: идти в Дельфы его отговаривают друзья, из Аргоса его изгоняет смертный приговор афинян, и т. д. И каждый новый этап действия наступает после преодоления помехи, мешающей ему прийти к цели. Единство цели объединяет отрезки в сплошную линию и придает ритмичность их чередованию. Вместе с тем каждый отдельный отрезок, оформленный в законченное письмо, обретает и самостоятельную ценность помимо своей роли в общей цепи событий. Тут выступают два основных момента: детализация рассказа побочными штрихами повествования и авторское отношение к происходящему. В письмах Фемистокла мало конкретных подробностей, и все они служат композиционным приемом в общей сюжетной канве: сценка встречи с друзьями по дороге в Дельфы (письмо 1) служит завязкой для дальнейшего рассказа об Аргосе, о дружественном отношении аргосцев к Фемистоклу; упоминание попутного ветра и корабля в письме 17 связывает его с предшествующим эпизодом письма 3, где говорилось о буре, которая мешала беглецам уплыть из Аргоса и т. д.

Гораздо пространнее представлен второй момент — самораскрытие авторского «я». Фемистокл показан как человек горячо любящий Афины, оказавший бесценные услуги отечеству, сильно

тоскующий по родине, готовый, несмотря на жестокое изгнание, встать опять на ее защиту. Вместе с тем он говорит о себе, что не ищет власти, что бежит от нее, что счастье изменчиво и гнаться за ним бессмысленно. Этот портрет героя строится с явно апологетической целью: слава древнего Фемистокла была запятнана его переходом на службу к персидскому царю. Эпистограф заставляет своего героя оправдываться от возможных упреков в измене, напоминает о его борьбе с персами и объясняет гостеприимство персидского царя уважением к Фемистоклу и сочувствием изгнаннику:

«Мы прибыли к персам, Аристид, прибыли и ничего страшного от них не потерпели. Знаю, ты будешь удивлен, но притворишься, что для тебя нет ничего неожиданного в этих словах, ты даже используешь это перед народом как доказательство для подтверждения возведенной на меня клеветы, будто я возлагаю на них надежды и будто они ко мне благоволят. Если ты будешь нести этот вздор, то пусть рухнет твой саламинский трофей. Он, ты знаешь, сделан из камня и очень велик. Ты перестал бы, думаю, мутить народ и завидовать чужим подвигам, если бы божество какое-нибудь, не потакающее твоей лести, но истинно справедливое, обрушило этот камень на твою проклятую и неблагодарную голову. Меня же великий царь спасает не за оказанные услуги, не велика бы была его милость, если бы он хотел расквитаться за прошлое, после того, как претерпел то, что с ним случилось. Нет, он знал, что вообще я враг ему, но он дивился моей доблести и сожалел о нашей участи. Так посылайте же к нему посольство по моему делу, чтобы самим подвергнуться опасности. Да, вы сами были несправедливы, если оказалось, что он помог несправедливо обижаемому, и сами, изгоняя, заставили пожалеть изгнанного; и только естественно, что царь пожалел меня. Но ведь у нас теперь беглецы не вызывают жалости, так что подавись, Аристид, сын Лисимаха, подавись всякий, кому неприятно, что мы напали на лучшее, чем они ждали» (письмо 12. Фемистокла Аристиду).

Построенные с очевидным расчетом на эффект новизны и увлекательности<sup>6</sup>, письма Фемистокла занимают промежуточное положение между чисто риторскими упражнениями типа писем Фаларида и особым литературным жанром «романа в письмах», с этим жанром их роднят эпизоды скитания, изображения бури, смертельной опасности и счастливого конца, мотивы тоски и одиночества героя, в которых уже намечается композиционная схема греческого романа.

К фемистокловскому циклу примыкает по своей структуре сборник писем Эхина. Судьба оратора Эхина, знаменитого соперника Демосфена, до известной степени сходна с судьбой Фемистокла. Проиграв судебный процесс против Демосфена, Эхин по-

<sup>6</sup> См. об этом подробнее: G. Niesing. Указ. соч.

кинул Афины и остаток своих дней провел в изгнании на острове Родосе. Перипетии его странствований послужили темой для цикла двенадцати вымышленных писем. Вся картина скитаний изгнанника строится в них по уже знакомому нам плану: бегство из Афин, задержка из-за противного ветра, дружелюбный прием, оказанный герою на чужбине и его тоска по родине, отказ от политической карьеры и упреки по адресу Афин (благополучный конец пути). Сама композиция рассказа, однако, существенно отличается от фемистокловской. Снижается внутренняя напряженность рассказа, создаваемая конфликтными ситуациями и эффектами неожиданности. Вместо этого усиливается обстоятельность и яркость внесюжетных бытовых деталей. Так, например, вводится описание удивительной болезни, насланной на жителей острова Делоса Аполлоном (письмо 1), вводится рассказ о празднестве бракосочетаний в Илионе, о приключении героя в пути, когда его друга Кимона опознает обещанная им девушка (письмо 10).

Подробно описывается гостеприимный прием, который оказывают герою на чужбине, перечисляются яства, которыми его потчуют (письмо 5). Вводится образ престарелой матери, которая следует за сыном, жены, которая покинула Афины ради мужа, нарушив тем волю отца и законы государства, малолетних детей, которые еще не чувствуют несчастья (письмо 12), рассказывается о земельном участке в Малой Азии, на котором поселяется Эсхин:

«Мы прибыли в Фиск, и я отдыхал весь тот день не от лени, а от того, что астма, моя болезнь, долго не проходила; ночью мне стало легче, и я пошел на Аммон осматривать окрестные участки земли. Я увидел, как они красивы и хорошо возделаны: там были маслины, множество растений, густые виноградники, всевозможные посевы, тучные пастбища. Но там не было никакого, даже скромного жилища, стояли одни развалины. Миронид нас принял очень любезно. За два таланта мы купили поместье, и теперь я мастерю жилище, такое, какое могу смастерить на скудные средства. Все же я собираюсь в нем жить, — увы, без радости, клянусь богами, вдали от родного города...» (письмо 9).

При таком нагромождении внесюжетных подробностей эпистолярное повествование не только воспроизводит основную нить событий, но и включает в себя также изображение образа жизни героя — его быта, семьи, поступков. Этим создается возможность раскрытия линии поведения героя и в постоянно присущих ему ситуациях. «Тогда-то лучше всего и обнаруживается, каковы были люди по своим качествам (*tous tropous*), когда они уже умерли или изгнаны из отечества», — пишет эпистолограф (письмо 12), как бы определяя тем самым побочную линию своего рассказа.

Вопрос практической морали — поведения человека в повседневной жизни — занимал основное место в учении популярных философских школ поздней античности, и литературная продукция софистической риторики, в том числе псевдоэпистолярные сборники, несет на себе отпечаток этого общего духа эпохи.

Особенно характерны в этом отношении письма, приписываемые философам. В них вводятся традиционные биографические подробности, и эпистолярное описание строится так, что отдельные штрихи образа жизни мудреца (внешний облик, эмоции, отношение к родным, к власти имущим) превращаются в повод сюжетного конфликта. Ситуация, воссоздаваемая в письмах, приобретает напряженность и композиционную цельность; как правило, она приводит к моральной победе героя. Тема раскрывается либо на протяжении ряда писем (гиппократовские и сократовские письма), либо в рамках одного письма (диогеновский сборник). Картина хронологической цепи событий придает им повествовательный стиль. Наиболее четко этот стиль выдержан в гиппократовском сборнике.

В гиппократовский сборник входит 27 писем, из которых большая часть объединяется в циклы, воспроизводящие биографическую ситуацию и ее развитие в хронологической последовательности:

1. приглашение к персидскому царю и отказ Гиппократа лечить врагов Греции (письма 1—10);
2. приглашение приехать в Абдеру и вылечить Демокрита. Согласие Гиппократа (письма 10—21);
3. захват афинянами Коса (письма 22—25).

Каждый из этих трех пунктов в свою очередь представляет собой законченное целое. Эпизод приглашения Гиппократа к Артаксерксу воспроизведен в обмене письмами шести действующих лиц: царь Артаксеркс обращается с жалобой к Пету на страшную моровую язву, Пет в ответном письме сообщает, что избавиться от этой болезни может только Гиппократ, врач божественного происхождения. Артаксеркс пишет после этого письмо сатрапу Геллеспонта Гистану с просьбой — любой ценой прислать Гиппократа. Гистан пересылает Гиппократу письмо царя. Гиппократ пишет, что он всем доволен и не поедет лечить враждебных Греции варваров; одновременно Гиппократ рассказывает об этом отказе своему другу Деметрию. Гистан сообщает Артаксерксу ответ Гиппократа. Артаксеркс шлет грозное письмо жителям Коса, с требованием выдать Гиппократа. Граждане Коса отвечают, что не боятся угроз и не выдадут Гиппократа.

Следующий цикл писем (10—21) посвящен уже новой теме <sup>7</sup> —

<sup>7</sup> Большая часть этих писем переведена в издании: А. Маковельский. Древнегреческие атомисты. Баку, 1946. Цитаты приводятся в переводе из этого издания.

болезни Демокрита; он имеет свою особую композицию, однако связан с предшествующими письмами мотивом бескорыстия врача и воспоминанием об отказе персидскому царю (письмо 11). В демокритовском цикле противопоставлены мнимое безумие философа и ослепление сограждан. Появляется нечто вроде мотива «обращения» — противная сторона вынуждена признать правоту философа.

Показана следующая ситуация: абдеритяне обеспокоены болезнью Демокрита и приглашают к нему Гиппократу; тот соглашается, приезжает и убеждается в полном здравомыслии философа. В действии переплетаются две сюжетные нити: стремление абдеритян спасти Демокрита от безумия, их скорбь и печаль, их старания поскорее вызвать для этого Гиппократу, — и с другой стороны, предположение врача о том, что Демокрит не болен, что симптомы указывают не на меланхолию, а на усердное занятие науками. Первая тема раскрыта в письме граждан Абдеры Гиппократу (письмо 10) и в описании приезда Гиппократу в Абдеру. Горе граждан изображено самыми мрачными красками.

«Опасность грозит одному из наших граждан, в котором наш город видел свою вечную славу и в настоящем и в будущем, — пишут они знаменитому косскому врачу. — Столь сильно заболел он от великой мудрости, которой он обладает, так что серьезная причина есть опасаться, что наш город Абдеры придет в полный упадок, если Демокрит потеряет разум. Действительно, забыв обо всем и прежде всего о самом себе, Демокрит пребывает бодрствующим ночью и днем, смеясь над всем — большим и малым — и считая, что вся жизнь в целом есть ничто...»

Это описание служит завязкой для дальнейшего действия. Гиппократ соглашается приехать, начинает собираться, пишет письма друзьям о своем выезде в Абдеру и тут появляется вторая тема: Гиппократ подозревает, что Демокрит совсем здоров. Ход событий по-прежнему определяется первой темой: Гиппократ нанимает корабль, договаривается о месте для жилья и т. д. Вместе с тем предсказывается и исход второй темы: Гиппократ видит вещий сон-притчу (письмо 15): «истина» ждет его у Демокрита, а грубая «видимость» обитает у абдеритян.

Кульминационному пункту событий (встрече Гиппократу с Демокритом) посвящено пространное письмо 17. Ситуация, непосредственно предшествующая разговору врача и философа, описана подробно и наглядно. Горе граждан (бегущая толпа и крики: «спаси, помоги!»); поспешность Гиппократу, который торопится увидеть философа, отказываясь от встречи с другом; пейзаж, на фоне которого сидит философ; его внешний портрет; ожидание Гиппократу, пока Демокрит прервет свое молчание — все это рисует единую картину постепенного приближения к цели и вносит в нее напряженность ожидания. Самому моменту «обращения» предпосылается контрастное изображение: Демокрит начинает хо-

хотать, Гиппократ в недоумении, а граждане, видя это, поднимают вопль и рвут на себе волосы. Здесь — высшая точка напряжения. За этим следует разговор Демокрита с Гиппократом. Философ объясняет причину своего смеха: «Одни покупают собак, другие лошадей. Отмежевывая обширное пространство земли, они называют его своим и, желая быть хозяевами больших владений, они не могут быть господами над самими собой; они спешат жениться на женщинах, с которыми вскоре разводятся, они любят, затем ненавидят <...> Я смеюсь над их неудачами, я раздражаюсь хохотом над их несчастьями. Ибо они нарушают законы истины; соревнуясь в ненависти друг к другу, они ссорятся с братьями, с родными <...> Они все — терситы жизни». И Гиппократ вынужден признать, что Демокрит мудр, мнение же о его болезни — ложь.

После этого приводятся письма Демокрита и Гиппократа друг другу о безумии, о природе человека, о чемерице (траве, целительной для сумасшедших).

Мотив патриотизма Гиппократа, который отказывается лечить персов, снова появляется в последних письмах сборника. За отказ Гиппократа служить персидскому царю Афины даруют привилегии всем детям кощев (письмо 25).

В описанной в письме 17 сцене свидания Гиппократа с Демокритом ощущается влияние сократической литературы: живописная картинка густого, тенистого платана, под которым сидит мудрец, и журчащего поблизости ручья напоминает платоновского «Федра», образ смеющегося философа заставляет вспомнить о «смешных речах» Сократа в платоновском «Пире» и о распространенном в эллинистическую эпоху жанре «серьезно-смешного».

Более сложную композицию но с ослабленной сюжетно-хронологической линией мы находим в сборнике писем Сократа и сократиков, позднее происхождение которого было доказано уже Бенгли. Его содержание отражает те эллинистические версии рассказов о Сократе, которые известны нам и по другим источникам (Цицерон, Плутарх, Афинея, Фемистий, Свида). Повторяющиеся мотивы дружбы, нестяжательности и т. п. придают этому эпистолярному собранию эпикурейскую и киническую окраску<sup>8</sup>.

В сборник входит 37 писем. Они приписываются Сократу и его ученикам: Ксенофону, Эсхину, Федру, Аристиппу, Антисфену, Симону кожевнику, Платону, и составлены на основе обширной сократической литературы — произведений Ксенофонта и Платона, биографий философов и др. Их содержание охватывает период почти целого столетия: от жизни Сократа до Филиппа Ма-

<sup>8</sup> *Вопросу о литературной традиции и источниках этого эпистолярного сборника посвящены следующие работы: G. Oben z. Указ. соч.; O. Schering. Symbola ad Socratis et socraticorum epistulas explicandas. Gryphiae, 1917; L. K ö h l e r. Указ. соч.*



кедонского, но нить действия намечена слабо. Сначала дается переписка Сократа, затем письма учеников, где рассказывается о казни философа и о последующем раскаянии граждан. Дальнейшие события показаны без хронологической последовательности — тут и забота о Ксантиппе, вдове философа, и составление ксенофоновских воспоминаний о нем, и совершенно самостоятельная тема жизни сократиков в Сиракузах.

Весь сборник распадается на четыре основных цикла: сократовский, посвященный биографии философа; сиракузский, связанный с именем гедониста Аристиппа; платоновский, включающий письма самого Платона и два письма, адресованных ему, и цикл писем Филиппу Македонскому, который условно приписывают Спевсиппу. Как о композиционно целостных комплексах мы можем говорить лишь о сократовском и сиракузском циклах.

Сократовский цикл. Письма, связанные с именем Сократа, образуют своего рода эпистолярную повесть с таким сюжетом:

1. Автобиография философа (письма 1—7).
2. Рассказ о его казни (письмо 14).
3. Судьба жены и учеников после смерти учителя (письма 21, 15, 16).
4. Раскаяние граждан (письмо 17).
5. Составление воспоминаний о Сократе (письма 18, 22).

Первые семь писем сборника, написанные от лица Сократа, составлены по наиболее известным материалам сократической литературы, т. е. по сочинениям Ксенофонта («Меморабилли», «Анабасис») и Платона («Федр», «Апология», письмо VII). Автопортрет Сократа дан в двух самых больших письмах (№ 1, 6), остальные 5 писем написаны в виде рекомендаций друзьям и извещений их о событиях в городе.

Образ философа строится по типичной книжеческой схеме прославления бедности:

«Я довольствуюсь самой простой пищей и одной и той же одеждой зимой и летом. Обуви вообще не ношу. Единственная политическая слава которой я добиваюсь, — это быть благоразумным и справедливым» (письмо 6, § 2).

«Беседы мы проводим для всех вместе, не делая различий между слушателями, богатыми и бедными. Я не философствую взаперти, как это рассказывают о Пифагоре, но и не толкнусь в толпе; не напиваюсь за счет тех, кто хочет меня слушать, как поступали до нас, да и сейчас некоторые поступают. <...> Чтобы деньги стеречь, на это у меня нет досуга. Удивляюсь остальным: они говорят, что для себя самих копят богатство, но явно сами себя растрачивают ради наживы, в погоне за богатством, переставая ценить образованность (письмо 1, § 2, 3, 4)».

Жажде стяжательства противопоставляется самый общераспространенный в античной этике идеал дружбы:

«Я оставляю своим детям не золото, а имущество ценнее золота — друзей добропорядочных; если они не расстанутся с ними, то ни в чем не потерпят нужды, а если станут дурно обращаться с друзьями, то, очевидно, и деньгами распорядятся еще хуже» (письмо 6, § 8).

Письмо 1 составлено в форме отказа философа принять предлагаемую ему чужеземным властителем высокую должность. Для обоснования отказа выдвигаются три довода: 1. бескорыстие (§ 1—5), 2. патриотизм (§ 5—10), 3. нежелание браться за дело, в котором он несведущ (§ 10—12).

Бескорыстие философа доказывается фактически и теоретически — и ссылками на бесплатное обучение, практикуемое Сократом, и противопоставлением дружбы деньгам, образованности наживе, т. е. общими положениями кинической морали.

Путем такого же соединения общего тезиса и конкретного примера строится и вторая часть письма. Приводится рассуждение о пользе, которую приносит автор своему городу, хотя и не участвует в походах и ораторских диспутах:

«... Здесь меня удерживает многое, а больше всего — нужды отечества. Не удивляйся, когда я говорю, что совершаю необходимое для родины, хотя сам не числюсь ни в стратегах, ни в ораторах. Думаю, что всякий должен в первую очередь числиться там, где он приносит пользу. Выполнять ли дело великое или малое, не от него зависит; иногда причина тут в других вещах, иногда в нем самом. Затем, столь большой город нуждается не только в советниках, не только в командирах на суше и на море, но и в людях, которые будут руководствовать теми, кто стремится к полезному для государства. Ведь не удивительно, что из-за множества дел некоторые из них как бы засыпают, и чтобы будить их нужен своего рода овод» (§ 5, 6).

Образ овода, не дающего гражданам заснуть, заимствован из платоновской «Апологии Сократа» (30 E—31 A). Дальнейшее рассуждение о «демоне» и дельфийском оракуле (§ 7, 8) близко к тому, что мы встречаем у Плутарха в сочинении «О гении Сократа», (58 I DE). А затем приводится конкретный пример верного совета во время битвы при Делии (§ 9).

Третья часть письма так же состоит из общего рассуждения и конкретного примера в виде аллегорического толкования мифа о Беллерофонте. Автор исходит из знакомого нам по платоновским диалогам сократовского принципа владения ремеслом:

«Мне хорошо известно, сколь славно быть царем, какое восхищение он вызывает по сравнению с простым человеком. Но подобно тому, как не обучившись верховой езде, я предпочел бы не садиться на коня и лучше пошел бы пешком, хотя это умалило бы меня во многом пред всадником, так и о царской и простой жизни я сужу таким же образом. И в страстной погоне за большим, я не стал бы ввергать себя в явные беды. Первые ми-

фологи, по-видимому, что-то похожее загадочно сказали о Беллерофонте. Не места высокого, я думаю, он возжелал, а дел более великих, чем ему было под силу, и поэтому постигли его бедствия: он низринут был с высоты своих надежд и проводил остальную жизнь в позоре и поругании. От насмешников он ушел из городов в пустыню и потерял дорогу, не ту, которую мы подозреваем, а ту смелость, которая направляет жизнь всякого» (§ 11, 12).

Тема противопоставления богатства и образованности повторяется и в письме 6, которое посвящено защите Сократа от упреков в неумелом пользовании имуществом и в недостаточной заботе о детях. Этическая позиция автора раскрывается в утверждении, источником которого служат «Меморабии» Ксенофонта (II, 6), что «более мудрым оказывается тот, кто подражает самому мудрейшему и самым блаженным бывает тот, кто больше всех стал похож на блаженного. Если бы богатство могло это делать, нужно было бы предпочесть богатство; но поскольку только добродетель производит это, то глупо бросить действительное благо и гнаться за кажущимся» (§ 4).

Этот тезис служит в письме основой для развития новой конкретной темы: ответственности философа перед своими детьми. Таким образом, и здесь, как и в письме 1, этическая проблема ставится в плане теоретическом и практическом. Вопрос о бедности философа и о необходимости обеспечить существование детей решается включением в эту систему отношений фактора дружбы; это она должна заменить детям философа то богатство, от которого он отказывается. Подробная разработка в этом письме темы «отец и дети» позволяет предполагать, что источником его служит упоминаемый у Афиня (220 В) диалог сократика Эсхина — «Разногласие Каллия с отцом».

Остальные пять писем, составленные также по ксенофоновым «Меморабиям» и платоновский «Апологии», написаны в виде уведомления отсутствующего ученика о том, что без него происходит. Это либо рассказ о важных событиях (письма 5, 7), где упоминается столкновение Сократа с властями (30), либо дружественные записки с упоминанием о здоровье жены (письмо 4) и с просьбой помочь другу:

«Для тебя не тайна моя забота о Херефонте. Он выбран от города послом в Пелопоннес и, пожалуй, скоро прибудет к вам. Философу нетрудно встретить дружественный прием; но дороги ненадежны, главным образом из-за теперешних волнений. Побеспокойшись об этом, ты его, моего друга, спасешь и нам доставишь большое удовольствие» (письмо 2. Сократ Ксенофону).

Письма, рассказывающие о казни Сократа и о последующих событиях в Афинах, воспроизводят общераспространенную в поздней античности легенду о личной вражде Анита к Сократу, о популярности Сократа далеко за пределами Афин, о последующем раскаянии афинян. Вся ситуация этих событий преподносится

в нескольких тематически связанных друг с другом письмах: письмо 14 — описание процесса над Сократом; письмо 15 — ответ Ксенофонта на письмо 14, предложение составить воспоминание об учителе, недовольство и огорчение лакедемонян казнью Сократа; письмо 17 — повторение мотивов письма 15 и рассказ о раскаянии афинян; письма 18 и 19 — извещение о том, что воспоминания о Сократе уже написаны. Мотив дружбы находит здесь свое выражение в рассказе о лаконском юноше, плакавшем на могиле учителя. Эта преданность ученика учителю преподносится как причина, заставившая афинян наказать обвинителей Сократа. «Больше всего их тронуло горе лаконского юноши. Дело было так: пришел один юноша, не видавший до того Сократа, но по слухам о нем объятый желанием учиться у него. Он достиг уже ворот города и радовался своему прибытию, как вдруг пришло известие, что Сократ, к которому он шел, уже умер, и юноша не вошел в город, но, спросив, где его могила, пошел и в слезах стал разговаривать с надгробной плитой; его застигла ночь, и он заснул на могиле, а рано утром, облобызав с нежной любовью лежащий перед ним прах, отправился обратно в Мегару» (письмо 17).

Письмо 21 служит как бы бытовой иллюстрацией той темы дружбы и помощи, которой посвящено письмо 6. Оно обращено к жене Сократа Ксантиппе и извещает о посылке ей необходимых продуктов, чтобы она берегла себя ради сыновей: «Мегарцу Евфрону я дал шесть хойников муки, восемь драхм и новую одежду тебе на зиму. Прими это и имей в виду, что Эвклид и Терпсион люди весьма благородные и благорасположенные к тебе и Сократу. Если дети захотят посетить нас, не препятствуй, ведь до Мегары недалеко. Хватит, милая, плакать, Пользы от этого никакой, а вреда немало. Вспомни, о чем учил Сократ, старайся следовать и нраву его и словам, а то своим горем ты и себя обижаешь и больше всего своих детей. Они как бы птенчики Сократа, и мы должны не только их кормить, но и себя самих стараться сохранить для них, потому что если ты или я или кто еще по смерти Сократа печется о его детях вдруг умрет, то они, лишившись помощника и кормильца, останутся беззащитны; посему пытайся жить для них. А для этого нужно, чтобы ты снабдила себя необходимым для жизни. Горе же, по-видимому, противоположно жизни, так как оно вредит живущим...»

Хронологическая композиция Сократовского цикла несет в себе развитие апологетической темы. Философ показан сначала в противоречии с окружающими — он вынужден оправдываться в своих письмах. Противоречие выливается в конфликт — казнь Сократа, и тут наступает третий момент — победа героя — признание его невиновности, его оправдание и наказание его убийц.

Детали, с помощью которых строится все изображение, берутся в основном из области быта, личных отношений. Ответственность отца перед детьми, путешествие друга, здоровье жены — обо всем

этом пишет Сократ; его казнь представлена как плод личной вражды, его оправдание согражданами — как следствие стыда и сострадания к горю лаконского юноши, дальнейшая судьба его учеников — как забота о пропитании жены и детей учителя и составление воспоминаний.

Бытовая и личная тема, таким образом, тесно связана здесь с раскрытием внутреннего облика героя — с мотивами дружбы и бескорыстия. Вместе с тем над ней надстраивается еще один, эмоциональный слой: в описание фактических подробностей вводится также указание на субъективную реакцию, которую они вызывают, на настроение персонажей.

Мы узнаем о радости, которую испытывают ученики Сократа в лаконском имени Ксенофонта:

«Тут побывал Аристипп, а еще раньше Федон, и они рады были видеть это место, постройку и насаждения, которые я вырастил своими руками» (письмо 18), о смехе, который вызван позой обвинителя Сократа:

«... Он (т. е. Мелит) словно в трагедии разыгрывал из себя роль Менэкея, друга города, по его примеру он жаловался на то, что сам город терпит несправедливость от подобных лиц. Жалкая речь его стоила того, чтобы ты присутствовал там, и ты бы рассмеялся среди несчастья. Ее сочинил логограф Поликрат. Как дети в школе на уроке, так он поднялся и стал читать обвинение; напуганный, он отворачивал лицо, сбивался, другие подсказывали ему, как актеру Каллипиду; показав свою полную никчемность и ничтожество своего дрянного сочинения, он сошел...» (письмо 14), о гневе афинян, который постиг Анита и Мелита:

«Вознегодовав, они чуть было не растерзали обоих этих негодяев» (письмо 17).

Подобное изображение бытовой картинки и эмоций ее персонажей восходит к литературе сократических диалогов, которая широко использовалась составителями вымышленных писем.

Сиракузский цикл. В переписке «малых сократиков» — Эсхина и Федона, Аристиппа, родоначальника гедонистов, и Антисфена — главы киников — действие переносится в Сиракузы, ко двору сицилийского тиранна Дионисия. В письме 23 описывается приезд Эсхина в Сиракузы, его встреча с Аристиппом и представление Дионисию:

«Когда мы прибыли в Сиракузы, то сразу на площади наткнулись на Аристиппа. Он, взяв меня за правую руку, тотчас же, не медля вводит к Дионисию и говорит: «Дионисий, если бы к тебе пришел некто, чтобы сделать тебя неразумным, разве этот человек не причинил бы тебе зла?» Дионисий тут же согласился с этим. — «Что, стало быть, его ждет у тебя?» — «Самое большое зло, конечно!», — сказал он. «А если пришел бы некто, чтобы сделать тебя разумным, разве бы не принес он тебе пользу?» После того, как Дионисий опять согласился, он промолвил: «Ну, вот, этот Эс-

хин, ученик Сократа, пришел сделать тебя разумным, так что у него ты мог бы извлечь пользу. Если ты признаешь правильным то, что на словах сказал мне, отнесись хорошо к Эскину...» (письмо 23).

Письмо 23 входит в сиракузский (аристипповский) цикл, героем которого представлен гедонист Аристипп.

Фигура Аристиппа стоит в центре всего этого цикла, ядром которого служат три пары ответных посланий-реплик киников и гедонистов (письма 8—13). Мы сталкиваемся в них со своеобразной трансформацией жанра, с превращением распространенной формы философского диалога — пира, или застольных бесед в форму философских посланий<sup>9</sup>. Если диалогический жанр пира, или застольных бесед, предполагал сочетание портретных характеристик персонажей с разработкой философской темы и концентрировал философскую тематику в выступлениях персонажей, а портретную характеристику создавал всей совокупностью общего контекста разрабатываемой в диалоге ситуации, то эпистолярный жанр избавляет автора от необходимости постановки чисто философских вопросов и превращает обмен посланиями в средство этической характеристики философов.

Гедонист Аристипп и киники Антисфен и Симон противостоят здесь друг другу как защитники разного образа жизни. Аристипп высмеивает их презрение к деньгам, отказ от дружбы с властителями, добровольный голод и жажду, они же, следуя кинической свободе слова (*παρρησία*), безбоязненно бросают упреки своему адресату, обвиняют его в безумии и т. п.

Все три пары писем объединяются в единое целое как своим общим настроением (ирония Аристиппа и ругань со стороны киников), так и единой нитью содержания:

- (I) { письмо 8 — Антисфен упрекает Аристиппа.  
письмо 9 — Аристипп смеется над упреками Антисфена, делает ядовитое замечание о Симоне.
- (II) { письмо 10 — Эсхил обращается с просьбой к Аристиппу.  
письмо 11 — Аристипп сообщает о выполнении этой просьбы и попутно бросает едкие замечания об Антисфене (намек на письмо 9) и Симоне.
- (III) { письмо 12 — Симон возмущается тем, что сказано о нем в письмах 9 и 11, и обрушивается на Аристиппа.  
письмо 13 — Аристипп насмехается над Синомом.

Персонажи писем симметрично противопоставлены друг другу. Аристипп, Эсхил — Антисфен, Симон. Симметрия обнаруживается и в структуре писем.

<sup>9</sup> K. Frit z. Quellen — Untersuchungen zu Leben und Philosophie des Diogenes von Sinopr. Leipzig, 1926, S. 67.

Письма Аристиппа строятся как ответы на обвинения Антисфена и Симона. Письмо Антисфена (8) состоит из двух частей:

1) Несоответствие поведения Аристиппа тому, что требуется от философа:

«Не подобает философу жить у тираннов и радеть о сицилийских трапезах, лучше для него довольствоваться тем, что сам имеет. По-твоему же превосходство умного — это возможность стяжать много денег и дружба с могущественными людьми. Но дело в том, что деньги — это не необходимое, а если бы они и были необходимы, то получать их таким образом некрасиво; и друзьями не может стать толпа невежд, хотя бы это были тиранны; так что я советовал бы тебе покинуть Сиракузы и Сицилию...»

2) Брань по адресу Аристиппа, совет лечиться чемерицей от безумия:

«Если же, как ходят слухи, ты в восторге от наслаждений и увлечен тем, что не приличествует людям разумным, сходи к Антикиру: тебе на пользу послужит напиток чемерицы — он-то ведь гораздо лучше, чем вино Дионисия. Вино ведь рождает великое безумие, чемерица снимает его. Насколько здоровье и разум отличны от болезни и безрассудства, настолько и ты стал бы отличным от твоего нынешнего состояния. Будь здоров».

Ответное послание Аристиппа (письмо 9) соответственно тоже распадается на две части:

1) Изображение собственного образа жизни:

«Безмерно бедствуем мы, Антисфен. Как нам не бедствовать, находясь рядом с тиранном, что ни день получаю от него дорогие яства и напитки, умащаясь самыми благовонными маслами, облачаясь в длинные одежды из Тарента. И никто меня не избавит от жестокости Дионисия, который держит меня как заложника, не безвестного какого-нибудь, а как ревнителя сократовских учений, и он питает, умащает, одевает меня, как я уже сказал, ни богов не страшась, ни людей не стыдясь в своем ко мне расположении. Теперь же беда становится еще ужаснее, когда им подарены три сицилийские женщины — писанные красавицы, да еще и множество денег. И когда этот человек перестанет так поступать, не знаю. Итак, ты хорошо поступаешь, возмущаясь чужими бедствиями, и я радуюсь твоему счастью, чтобы было видно, что я поступаю так же и воздав благодарность. Будь здоров. Откладывай себе сушеных винных ягод, чтобы хватило на зиму, и критскую муку употребляй, это ведь, кажется, лучше, чем деньги. Мойся и утоляй свою жажду в Девяти источниках<sup>10</sup>, носи зимой и летом все тот же потертый плащ, сколько бы грязи на нем ни было, как это подобает человеку свободному и живущему (в Афинах) демократически. Я же, как прибыл на остров, в город, которым правит

<sup>10</sup> Родник в Афинах.

тиранн, сразу понял, что вытерплю бедствие, о котором ты пишешь.

Теперь же ко мне благоволят сиракузяне, приезжие агригентцы, гелойцы и прочие сицилийцы. За безумие, охватившее меня, когда я, безумный, невольно дошел до таких неприличных поступков, призываю на себя проклятие, которого заслуживаю за то, что не отступаю от этих дурных поступков, когда, дожив до таких лет и сохранив, по-видимому, здравый смысл, не захотел ни голод, холод и бесчестие терпеть, ни длинной бороды отращивать...»

2) Издевательские советы Антисфену (предложение поесть бобов лупинуса):

«Я пошлю тебе большие белые волчьи бобы, чтобы тебе было что поесть после того, как ты укажешь юношам на пример Геракла<sup>11</sup>. С тобой мне не стыдно говорить и переписываться о таких вещах. А заговорить с Дионисием о волчьих бобах позорно, — наверное, из-за законов тираннии. Об остальном иди, беседуй с Симоном кожевником, мудрее которого для тебя никого нет и быть не может. Я же человек подчиненный, и мне запрещено приближаться к ремесленникам».

Так, на брошенное Антисфеном обвинение в безумии, Аристипп отвечает «контрударом», характеризуя как помешательство (*μανία*) тот образ жизни, который дорог Антисфену, с его грязным, потертым, всегда одним и тем же плащом, с его скудным, голодным пропитанием, и предлагая ему бобы лупинуса (успокоительное средство).

Письмо Симона (12) исходит из тех же посылок, что и письмо Антисфена: безумно думать, что можно, живя в неге, быть последователем Сократа; для стремящихся к мудрости потребны голод и жажда:

«Слышу, ты насмеяешься над нашей мудростью пред Дионисием. Согласен, я — кожевник, и ремеслом этим занимаюсь; однако, когда бы нужно было, я бы согласился нарезать ремней еще раз — для вразумления людей неразумных, мнящих в такой роскоши жить по заветам Сократа. Покарает вас с вашими глупыми забавами Антисфен! Ведь в письмах к нему ты подсмеиваешься над нашими беседами. Но клянусь божественным разумом, полно мне смеяться над тобой. Не забывай ни в коем случае голода и жажды. Они многое значат для ревнителей мудрости».

Ответ Аристиппа и в этом случае строится на иронии. Предметом осмеяния служит теперь апелляция Симона к мудрости. Аристипп хвалит мудрость Симона, но понимает под ней не философию, а ремесло кожевника. Перенося, таким образом, разговор из сферы философских исканий в сферу практической жизни, Аристипп доказывает Симону нечто обратное тому, что думает Симон. Именно

<sup>11</sup> Злой намек: Геракл, чтимый киниками, был, по мифу, подвержен припадкам безумия.



Аристипп, носящий дорогую обувь, а вовсе не босой Антисфен, оказывается другом Симону-кожевнику:

«Не я подсмеиваюсь над тобой, а Федон, вещающий, что ты сильнее и мудрее Продика Кеосского, которого, по его собственным словам, ты убедил согласиться с твоим мнением о его похвальном слове в честь Геракла. Я действительно с восхищением хвалю тебя за то, что ты мастер в кожаной науке; сам Сократ, а также красивейшие и благороднейшие юноши, бывало, с пользой проводили у тебя время; такие как Алкивиад, сын Клиния, Федр Мирринунтский и Евтидем, сын Главкона, а из состоящих на службе у государства — Эпикрат-щитоносец, Евриптолем и другие, так это если бы не война и не военные заботы, то, думаю, у тебя бывал бы тогда и Перикл, сын Ксантиппа. Каков ты, нам и теперь известно. Ведь к тебе Антисфен ходит! Свое искусство ты можешь показывать и в Сиракузах. Ремни ведь в цене, так же, как и кожи. Ты даже не можешь себе представить, насколько я восхищаюсь твоим искусством, всякий раз, когда надеваю обувь. А разве босой Антисфен, убеждающий юношей и всех афинян ходить босиком, не отнимает твой заработок?»

Видишь теперь, насколько я тебе полезен, когда не отказываюсь от удобств и наслаждений? А ты, признавая, что вопросы Продика разумны, не ведал того, что ждет тебя самого. Иначе ты стал бы восторгаться мной и смеяться над теми, кто носит длинные бороды и ходит с палками, над грязными вшивыми бесстыдниками, отравившими себе звериные когти, над теми, чьи советы так вредят твоему ремеслу».

Итак, спор оканчивается переосмыслением исходной позиции — отвратительная для киника фигура Аристиппа неожиданно предстает как полезная и нужная ему. Ситуация, где полем сражения служит «образ жизни» героя (Аристиппа), завершается его победой. Орудием этой победы выступает ирония, или смещение угла зрения.

Мы сталкиваемся здесь с тем особым типом конфликтной ситуации, которая строится на столкновении точек зрения, а не поступков и восходит к литературе сократических диалогов. В аристипповом цикле изображение спора еще органически слито с нравоучением, в ряде же других эпистолярных сборников, носящих имена киников, мы наблюдаем резкое разделение писем на письма-поучения и письма-диалоги.

Письма киников. Непосредственной проповеди кинизма посвящены письма Анахарсиса, Диогена, Кратета. Воссоздаваемый в них облик мудреца не имеет ничего общего с фигурами их номинальных авторов<sup>12</sup>. Ходячий образ Диогена показан в разных планах: то это оригинальный исследователь, размышляющий над

<sup>12</sup> R. Heine. *Anacharsis* (*Philologus* 50, 1891), S. 458—468; K. Fritz. Указ. соч., стр. 63—71.

собственными наблюдениями, то это мудрец, получивший свое вдохновение от богов при чтении Гомера, то это ученик Антисфена, узнавший от него кратчайший путь к счастью.

Эпизодам из жизни Диогена посвящено несколько писем-диалогов в сборниках Диогена и Кратета. Эти письма близки к сократической литературе и по своему содержанию, поскольку в них упоминается кружок Антисфена, и по штампованным выражениям, взятым из диалогов. Они строятся из контаминации двоякого рода источников: диалогических сценок и кратких апофтегм. Они не образуют циклов, подобно гиппократовским и сократовским письмам, а дают решение конфликтной ситуации в рамках одного письма.

Апофтегма служит зерном рассказа, приемы, взятые из диалога, помещают ее в определенные временные и пространственные границы. Присутствующее в апофтегме столкновение двух сторон (обмен репликами) приобретает характер определенной длительности. В апофтегме одна из реплик служит опровержением или насмешкой над другой. Например: «Мальчишкам, которые обступили его (Диогена. — Т. М.) со словами: «Мы смотрим, как бы ты нас не укусил». Он сказал: «Не бойтесь, дети, пес не ест свеклы»<sup>13</sup>. В письме, благодаря включению в него дополнительных деталей, к этому обмену репликами присоединяется еще одно звено — указание на победу одной стороны над другой: «Я шел в город из Пирея, и вот встречаются мне какие-то хвастливые юнцы, возвращающиеся откуда-то с попойки, и когда я был уже недалеко от них, они начали между собой говорить: «Пойдем прочь от пса». Я же, услышав это, сказал: «Не бойтесь, этот пес не ест свеклы».

После этих слов они перестали безумствовать, сорвали и сбросили с головы и шеи венки, приличным образом надели свои плащи и в полном молчании сопровождали меня вплоть до самого города, прислушиваясь к тем речам, которые я вел сам с собой»<sup>14</sup>. Прямое заимствование из платоновского диалога сказывается здесь в начальных словах письма: «Я шел в город из Пирея»<sup>15</sup>. Подобное начало повторяется во многих письмах, написанных на темы апофтегм. «После того, как ты удалился в Фивы, я шел из Пирея» (6); «Я пришел, отец, в Афины» (30); «... Я шел в Олимпию» (31); «Я пришел в Милет» (35); «Я пришел в Кизик» (36); «После того, как ты, отделившись от нас, направился домой, я спустился в палестру к юношам».

Влияние традиций диалога не ограничивается только штампом начальной фразы. Если в апофтегме обмен репликами происходит вне ситуации, т. е. без указания на конкретную обстановку, время

<sup>13</sup> Диоген Лаэртский, VI, 45.

<sup>14</sup> Диоген, письмо 2.

<sup>15</sup> Ср. начало диалогов у Платона: «Мы шли из Академии» («Лисид»), «Я спустился вчера в Ликей» («Государство»).

и место их произнесения и противопоставляемые в репликах фигуры не могут не быть статичны, то в письме, в котором вводится описание обстановки разговора, к репликам добавляется указание на место, время и другие детали, создается возможность растянуть в продолжительный диалог тот обмен репликами, который в апофтегме носит мгновенный характер.

Таким образом, в письмо проникает не только штампованное начало платоновских диалогов, но и сам прием диалогического обсуждения темы. Временная протяженность диалога дает возможность придать фигурам динамику: обмен репликами заканчивается, как правило, изменением позиции одной из сторон и моральной победой героя (Диогена). В диалог включается материал нескольких апофтегм. Примером такого эпистолярного диалога может служить письмо 33-е, построенное на материале апофтегм об Александре и Диогене.

Вот апофтегмы об Александре и Диогене, приведенные у Диогена Лаэртского: «Когда он грелся на солнце в Крании, Александр стал возле него и сказал: «Проси у меня, что хочешь». И тот ему в ответ: «Не загораживай мне свет» (VI, 38). «Александр как-то раз стал возле него и сказал: «Я, Александр, великий царь». «А я, — ответил тот, — собака-Диоген» (VI, 60). «Александр, который стал возле него и спросил: «Не боишься меня?», он возразил: «А хорош ты или плох?» И когда тот сказал: «Хорош», то он ответил: «Так кто же боится хорошего?» (VI, 68).

Вот какое письмо сделал из этого и подобного материала неизвестный ритор:

«Я сидел в театре, склеивая книжные листы, пришел Александр, сын Филиппа, стал напротив меня и загородил мне солнце. Мне не видны стали разрывы листов, я поднял голову и тогда заметил его присутствие. Тут и он, как только я бросил взор вверх, заговорил со мной и протянул руку; тогда и я тоже заговорил с ним и сказал так: «Да, ты и впрямь непобедим, когда можешь делать то же, что и боги. Ведь что луна, говорят, делает с солнцем, когда встает напротив него, то сделал и ты, когда пришел сюда и стал рядом со мной» (2). На это Александр сказал: «Насмешки это, Диоген». «Зачем ты так говоришь, возразил я, разве не замечаешь, как я прекращаю свою работу из-за того, что ничего не могу разглядеть, будто ночью? Но раз уже меня ничто не отвлекает теперь от разговора, я разговариваю». «Тебе дела нет до царя Александра?» «Ни малейшего, — ответил я, — ведь ничего моего он не отвоевывает, не разграбляет, как имущество македонян, спартанцев или кого-нибудь другого, кто нуждается в царе». «Конечно, — сказал он, — нищетою я отличаюсь от тебя». «Что это за нищета?» — спросил я. «Та самая, ответил он, — из-за которой ты попрошайничаешь, во всем терпя нужду». «Не иметь денег, — ответил я, — это еще не нищета. Просить — не беда, беда в том, чтобы желать всего, как это водится у вас, и проявлять на-

силе при этом. Поэтому защитники моей бедности — ручьи, земля, пещеры, шкуры: из-за них никто не воюет ни на земле, ни на море. Нет, как мы родились, пусть будет тебе это известно, так и живем. Для вашего же порядка нет покровителя ни на земле, ни на море...» Пока я это говорил, уверенный в своей полной правоте, Александра охватил величайший стыд, и, наклонившись к одному из товарищей, он сказал: «Если бы я не был Александром, то был бы Диогеном». «Встав, он повел меня с собой, приглашая сопровождать его в походе; еле-еле я отделался от него».

Вытекающее из первоначальной остроумной реплики-апофтегмы противопоставление персонажей в письме несет функцию пропаганды кинической морали («защитники моей бедности — ручьи, земля, пещеры, шкуры, из-за которых никто не воюет») средствами контрастного эффекта.

Материалом, из которого строится противопоставление, может служить не только апофтегма, но и сократический диалог. Так, в письме 31 мы встречаем заимствованную из «Евтидема» — самого комического из платоновских диалогов, — фигуру атлета и ситуацию спора, заводящего в тупик:

«Я шел в Олимпию после состязания, на следующий же день мне встретился на дороге панкратиаст Кикерм, увенчанный олимпийским венком, и с ним огромный рой приятелей, шествующих домой<sup>16</sup>. А я, когда он приблизился ко мне, взял его за руку и сказал: «Уходи от беды, несчастный, и сбрось с себя спесь, которая делает тебя по возвращении из Олимпии неузнаваемым для родителей. И скажи, за что ты гордо надел себе на голову этот венок, в руках несешь пальмовую ветвь и тащишь за собой толпу?» (2). И он ответил: «За то, что в Олимпии победил всех во панкратии». «О, чудеса! — воскликнул я. — И Зевса и его брата?» — «Конечно, нет», — ответил он. «Ты выкликал их по одному?» — «Нет», — сказал он. «Значит, ты, несомненно, вступал во всеборье с одним, а вслед затем с другими по жребию?» — «Именно так». — «Так как же ты посмел говорить, что сам одержал победу над теми, кого поразили другие? А что, в Олимпии всеборьем занимались только взрослые мужи?» — «И дети», — сказал он. «И над ними ты, мужчина, одержал победу?» Он ответил, что нет, «они ведь не были предназначены мне». «Что же, ты победил всех, назначавшихся собственно тебе?» — «Именно так». — «Скажи мне, просил я его, тебе предназначались совершеннолетние?» — «Совер-

<sup>16</sup> Ср. в «Евтидеме»: «С кем это ты, Сократ, вчера разговаривал в Ликее? Там около вас стояла такая толпа, что я, придя с желанием слушать, не мог ничего слышать ясно, а только заглядывал через головы, и мне показалось, что ты разговаривал с каким-то иностранцем. Кто же это такой? (271 А) — А об ихней мудрости, что ты спрашиваешь, Критон, — так она удивительна. Просто они не все мудрецы, так что я раньше и не знал, какие бывают панкратиасты. Они ведь совершенно все воители, не так, как два брата — панкратиасты в Акарнании, что умеют сражаться только телом. А наши-то двое во-первых, телом страх как сильны и в сражениях всех одолевают...» (271 CD). Перевод Вл. Соловьева по изд. «Творения Платона», т. II. М., 1903.

шеннолетние», — ответил он. — «Кикерм же в чьем числе боролся?» — «В числе совершеннолетних», — сказал он. — «Значит, ты победил Кикерма?» — «Нет, конечно», — ответил он (3). «Значит, ты не победил ни детей, ни совершеннолетних, осмеливаешься говорить, что победил всех? Кто же были, — спросил я, — твои противники?» — «Знаменитые мужи, — сказал он, — из Элады и Азии». — «Сильнее тебя или равные, или более слабые?» — «Сильнее». — «Более сильными ты называешь тех, кто был побежден тобой?» — «Равными», — сказал он. — «А как ты смог победить равных себе, если они не стали слабее тебя?» — «Более слабых», — сказал он. — «Так ты не перестанешь гордиться тем, что победил более слабых? Или ты один только можешь это сделать, а не всякий встречный? Как, разве есть человек, который не мог бы победить тех, кто слабее его»<sup>17</sup>. Брось это, Кикерм и не борись ни в панкратии, ни против людей, слабее которых ты станешь вскоре, когда придет старость, приди же к тому, что действительно прекрасно, научись выдерживать удары не людей, а души, и не удары кнута или кулака, а удары бедности, бесславия, безродности, изгнанничества. Приучившись свысока смотреть на эти вещи, ты будешь жить счастливо и смерть сможешь вынести. Радея же о тех делах, будешь несчастлив». Пока я говорил ему это, он швырнул пальмовую ветвь на землю, сорвал с головы венки и пошел дальше по дороге»<sup>18</sup>.

Диалогический отрывок письма играет здесь роль «доказательства от противного», т. е. той антитезы, которая должна оттенить и сделать более яркой, более убедительной вторую, положительную сторону письма — проповедь кинической этики («Приди же к тому, что действительно прекрасно, и научись выдерживать удары не людей, а души...»). Таким образом, диалогизированное письмо построено как законченное целое, распадающееся на:

1. Введение, в котором говорится об обстановке и поводе последующего разговора.

2. Диалог, в котором противопоставляются две стороны.

3. Заключение, в котором противная сторона сдает свои позиции и принимает этический принцип героя.

Мы можем поэтому говорить здесь о конфликтной ситуации (столкновении двух образов жизни, двух линий поведения) и о мотиве «обращения», о победе героя.

<sup>17</sup> Ср. подобный диалог, построенный на двойном понимании слов в Евтидеме: «Которые, Клиний, между людьми научаются: мудрые или невежды? (275 D) <...> Он же ответил, что учатся мудрые. А Евтидем: <...> «А разве не так бывает, что когда вы учились, вы не знали того, чему учились?» — «Не иначе». — «Так разве вы были мудрее, когда этого не знали?» — «Конечно, нет», — сказал ты. — «А если не мудры, то значит невежды?» — «Всёконечно». — «Значит, учась тому, чего вы не знали, вы учились будучи невеждами», — согласился мальчик. — «Так учась-то значит невежды, Клиний, а не мудрецы, как ты полагаешь» (276 A—B). Перевод Вл. Соловьева.

<sup>18</sup> У Диона Христома (речь 9, «О состязаниях») приводится очень похожий эпизод разговора Диона с победителем в беге на истмийских играх.

В ситуацию письма-рассказа вводится также притча, поучение. Их темой служат самые общие рецепты кинико-стоической морали. Бытовая сценка используется тут как завязка для проповеди и как контрастный фон для усиления ее выразительности. Так, например, в письме 37 (Диоген Мониуму) описывается, как Диоген приезжает на остров Родос на игры в честь солнца, ищет друга Локрида, а тот, видимо, узнав о его приезде, прячется; Диоген устраивается жить на площади, а через четыре дня натывается на Локрида на дороге, ведущей в преторию; тот приглашает его к себе в дом, и Диоген, наконец, соглашается прийти, но, увидев роскошную обстановку, остается недоволен и обращается к Локриду с речью:

«... Пусть для услуг не будет ни одного слуги, — на это пригодятся руки, ведь для этого они даны нам судьбой. Сосуды для питья пусть будут из глины, облуплены и дешевы; питьем пусть служит вода из источника, пищей — хлеб с приправой из соли или горчицы. Воспитываясь у Антисфена, я узнал, что такая еда и питье не хуже, а лучше, чем у остальных, и чаще встречается на пути к счастью, который ценнее всех денег <...> Путь этот столь неудобен, что идти по нему можно лишь нагому, не обремененному никакой ношей <...> едой на этом пути служит трава и настурции, питьем — легко доступная вода <...> там, где надо идти быстро, необходимо упражняться в еде настурции, в питье воды, в ношении легкого плаща <...>

Упражняясь сначала у Антисфена в такой еде и питье, я быстро прошел путь к счастью. Придя туда, где счастье, я сказал: «Ради тебя, счастье, я терпеливо пил дрянную воду, питался настурциями и спал на голой земле». И счастье мне ответило: «Я сделаю так, что тебе это станет приятнее благ, идущих от богатства, которые в большем почете у людей, не понимающих, что они воспитывают сами себе тиранна». После того, как счастье вымолвило это, такое питье и еда были для меня уже не упражнением, а наслаждением. К такой жизни у меня сложилась привычка, нарушать ее вредно. Такие кушанья предложи и ты нам».

В письме 30 приводится притча о выборе жизненных путей и дается аллегорическое толкование атрибутов киника:

«Придя в Афины и узнав, отец, что ученик Сократа учит счастью, я направился к нему. Он тогда как раз вел рассказ о двух дорогах, ведущих туда. Их две, говорил он, а несколько не больше: одна — короткая, другая — долгая, и всякий может выбрать любую. Слыша эту речь, я тогда смолчал, но на другой день, когда мы опять пришли к нему, я попросил его рассказать о тех дорогах. Он охотно поднялся с сиденья и повел нас через город к акрополю.

Когда мы уже подходили туда, он указывает нам на две дороги, ведущие вверх: одну — короткую, крутую, трудную, другую — длинную, ровную, легкую и говорит: «Видите дороги, ве-

душие на акрополь? На них похожи и те, которые ведут к счастью. Выбирайте любую, я поведу вас». Тогда все, испугавшись крутой и тяжелой дороги, отвернулись от нее и велели ему вести их по длинной и ровной. Я же, не робея перед трудностями, выбрал путь крутой и трудный, ибо стремящийся к счастью должен идти сквозь огонь и меч.

После того, как я выбрал эту дорогу, он снял с меня гиматий и хитон и накинул двойной плащ, на плечо повесил котомку, положил в нее хлеб, тертый калач, чашку, миску, поверх повесил сосуд для благовоний, дал мне гребень и вручил палку. Стоя в таком наряде, я спросил его, зачем он набросил на меня двойной плащ. Ответ его был: «Дабы приучить тебя к двойной вещи — и к летней жаре, и к зимнему холоду». — «Разве, — спросил я, — простой плащ не годится для этого?» — «Нет, ни в коей мере, летом в нем легко, а зимой тяжело сверх человеческих сил». — «А котомку зачем повесил на меня?» — «Чтобы ты свой дом, — ответил он, — всюду носил с собой». — «А чашку и миску зачем положил?» — «Потому, что тебе нужно, — сказал он, — и пить и другим приварком пользоваться, если нет у тебя настурций». — «А сосуд для благовоний и гребень зачем повесил?» — «Первый от усталости, второй от грязи». — «А палка к чему?» — спросил я. — «Для защиты». — «От кого?» — «От тех, против кого и сами боги ею пользовались, — от поэтов» (письмо 30, Диоген Гикену).

## 5

Наряду с повествовательными композициями в псевдоэпистолярные сборники входит немало писем, составленных в виде обращений и поучений без инсценировки хронологического развития событий.

Форма таких писем неодинакова. Они могут строиться на контрастах похвалы — порицания; порицается обычно эллинский образ жизни, ему противостоит идеальный пример — либо варварского уклада, либо мира природы. Чаще всего этот прием встречается в письмах Анахарсиса. Образ мудрого скифа, который в рассказе Геродота (IV, 76) представлен проповедником эллинской культуры среди варваров, в кинической литературе становится носителем идеи равенства варваров с эллинами. И в апофтегмах, и в письмах, и в одноименном диалоге Лукиана Анахарсис выступает защитником и проповедником варварской, далекой от эллинской цивилизации жизни. Особенно интересно в этом отношении письмо 9, построенное на противопоставлении эллинской частной собственности, как источника всех бедствий, отсутствию частного владения у скифов:

«Поэты эллинов, рассказывая о разделе мира между детьми Кроноса, дали в удел одному небо, другому — море, третьему — вечный мрак. Так представляет себе дело своекорыстный эллин.

Не умея пользоваться вещами сообща, они свой порок приписали богам. Но даже они, как исключение, оставили землю общей для всех.

Поразмыслим, что это значит. Они хотели, чтобы боги пользовались у людей всеми почестями, чтобы были подателями всех благ и отвратителями зол. Земля, общая собственности богов, была раньше и для людей общей собственностью, но они со временем нарушили закон, объявив всеобщим достоянием участки, посвященные богам. Боги же за это дали им как подходящие для людей дары — вражду, наслаждение и малодушие. Смешение и разделение всего этого породило все, обременяющее смертных — пахоту, сев, добычу металлов, войны <...>

Скифы же остались от этого в стороне. Всей землей мы владеем сообща. То, что она дает сама, берем, то, что скрывает, не трогаем. Мы оберегаем скот от зверей и за это получаем молоко и сыр. Оружие мы носим не для нападения на других, а для защиты самих себя, если понадобится. Но еще никогда не возникало в нем нужды...»<sup>19</sup>

По аналогичной схеме, но с большей обличительной силой строится 28-е письмо Диогена:

«...Вы, по виду люди, а по душе обезьяны, поддельваете подо все, не знаете же ничего. Поэтому мстит вам природа. Вы ведь сами себе придумали законы, стали из-за них крайне тщеславны и сделали их свидетелями своей врожденной порочности. Всю жизнь, до самой старости вы проводите не в мире, а в войне, злые приспешники злых, друг другу завидуете, если заметите у кого-нибудь плащ чуть получше или денег чуть побольше, или язык более отточенный и воспитание лучше вашего <...> (2) Ненавидит вас не только киник, но и сама природа <...> Сколько и каких людей вы убили, одних на войне, других в так называемое мирное время, взведя на них обвинение. Не увешаны ли кресты множеством людей, не убиты ли многие палачами, многие — ядом, выпитым по государственному приказу, не колесовали ли других, как преступников? <...> (8) Ныне же гораздо лучше те, кто зовутся варварами, — и по месту своего жительства, и по характеру. Называющие себя эллинами воюют против варваров, варвары же считают для себя необходимой только свою землю, вполне довольствуясь своим. Вам же всего мало. Вы честолюбивы, неразумны, и нет от вас пользы!»

В качестве контрастного аргумента привлекается и мир природы, как, например, в окрашенных духом стоицизма письмах Гераклита, где философский тезис о свободе обосновывается примером животных, «которых бог не создал рабами, которые не покупают друг друга, не обращают в рабство, среди которых лев не служит виночерпием у льва, и пес не оскোпляет пса» (письмо 9).

<sup>19</sup> См. также письма 1, 2, 4.



Помимо этих резких пространных обличений, в которых иногда усматривают влияние христианства (цитированное выше письмо 28 диогеновского сборника), письма могут быть посвящены отдельным частным рецептам кинико-стоической морали и строиться в виде кратких простых приказаний или более обстоятельных советов. Пред нами предстает ходячий образ киника — грубияна, попрошайки, с котомкой, в потертом плаще, отвергающего все удобства и хвастающегося своей независимостью. Просьба денег особенно часто служит темой писем. Даются точные наставления, сколько и у кого надо просить: «Не у всех проси, но у достойных, и не от всех бери одинаковую сумму, но от благоразумных — три обола, а от распутных — мину, ведь от них при их расточительстве не удастся получить второй раз, как от благоразумных» (Кратет, письмо 22).

Пропошайничество логически аргументируется: «Врачи описали одно состояние желудка — то, которое бывает от расстройства пищеварения, Диоген же другое — то, которое бывает от голода; однако просить лекарство при первой болезни позволено, при второй — нет. Итак, не обращайтесь внимания на тех, кто зовет это позором и бесславием, и просите по справедливости хлеб для пропитания; ведь не просить позорно, а быть недостойным подачи. . .» (Кратет, письмо 17).

Эпистолярная дидактика охватывает здесь круг будничного, бытового человеческого поведения: мы встречаем в письмах философов наставления о том, что надо есть и пить (письма киников), как следует воспитывать ребенка, чтобы он не вырос неженкой, как должна вести себя женщина, муж которой завел себе подружку (письма пифагорейских женщин) и т. п.:

«Приучайтесь есть хлеб и пить воду, не вкушайте ни рыбы, ни вина. От этих яств старики дичают, как от снадобий Кирки, юноши же делаются изнеженными» (Кратет, письмо 14 — юношам).

«Приучайтесь мыться на морозе, пить воду, есть лишь утомившись, носить плащ, лежать на земле; тогда для вас не будет запертых бань, бесплодных виноградников и овец. Тогда не будете гоняться за продавцами рыбы и кроватей, как приходится тем, кто привык купаться в теплой воде, пить вино, есть не трудившись, носить пурпур и отдыхать на кроватях» (Кратет, письмо 18 — юношам).

«Что за печаль объяла твою душу? Ты унываешь лишь потому, что супруг твой ходит к подружке и получает от нее усладу тела. Но не должна ты так держать себя, дивная среди жен, разве не замечаешь ты, что и слух иногда наполнен приятными звуками инструмента и музыкальной мелодией, иногда же, когда пресыщаешься этим, любишь флейту и с удовольствием слушаешь свирель? Что общего, однако, у флейты с музыкальными струнами и с дивным звучанием сладкогласного инструмента? Так вот суди о себе и о подружке, с которой живет твой супруг.

И супружество, и природа, и разум заставят заботиться мужа о тебе, когда же наступит пресыщение, он, мимоходом, станет жить с подружкой. В ком скрыт вкус к порченному, в тех есть какая-то страсть к нехорошей пище. Будь здорова» (Пифагорейцы. Письмо 7: дивной Евридики).

Эта дидактика объединяется тем общим мотивом кинико-стоической автаркии, который красной нитью проходит через все сборники, определяя топику сообщаемых в них биографических подробностей — от отказа Сократа ехать в Македонию (Сократ, письмо 1) до жизни Диогена в бочке (Диоген, письмо 15) и отказа Кратета носить тунику (Кратет, письмо 30).

## 6

Подводя итог, мы можем до некоторой степени определить место рассмотренных эпистолярных сборников в ряду литературных жанров поздней античности.

Составляемые первоначально по типу риторских упражнений на заданные темы, псевдоисторические письма писались на основе общеизвестного исторического и биографического материала. Они заняли промежуточное положение между античными диалогами и историческими сочинениями, с их вниманием к логике фактов, и чисто беллетристической литературой позднего эллинизма. Преобразуемый в эпистолярную форму «исходный субстрат» приобретает в письмах новую структуру и содержание. В письма вносится новый элемент вымысла и развлекательных деталей, перестраивается вся композиция ситуаций в сторону большей напряженности и драматизма и проводится новая концепция человека. Вырабатывается особый тип «идеологического конфликта», приводящего к моральной победе героя. В письмах намечается два типа сюжетных композиций. Один из них строится на детальной разработке драматических эпизодов, объединенных общей нитью событий, и своими истоками восходит к историографии. Наиболее ярко этот тип представлен фемистокловским циклом. Второй тип, в основе которого лежит мотив «обращения», возникает на почве философской литературы диалогов и апофтегм и воплощен в рассмотренных выше письмах киников. В этих двух типах в зачаточном виде присутствуют те сюжетные схемы, которые затем найдут свое воплощение в позднегреческом «приключенческом» романе (исторический тип) и в византийской агиографии (философский тип).

## ПИСЬМА ИМПЕРАТОРА ЮЛИАНА



1

Правление римского императора Юлиана не продолжалось и двух лет (декабрь 361 г.—июнь 363 г.), но за этот короткий промежуток времени последний языческий император развил такую активную деятельность, которая по своему смыслу, значению и характеру не могла не произвести сильного впечатления как на его современников, так и на целый ряд последующих поколений. Юлиан начал свою политическую деятельность в сложный, переломный момент духовной жизни поздней Римской империи, население которой было крайне разнообразно по этническим, социально-экономическим признакам, по своей культуре и историческому развитию. Усиление социальных противоречий вело, через ряд опосредствованных причин, к кризису прежних устоев самосознания как отдельной личности, так и целого народа. Это выражалось, с одной стороны, в ослаблении, подчас даже в исчезновении древних языческих воззрений, с другой — в усиленных поисках новых форм религии. Вполне понятно, что старые религиозные воззрения, освященные многовековыми традициями, не могли исчезать незаметно из духовной жизни этих народов: их защищали приверженцы древних, языческих взглядов; напротив, проповедники новой религии — христианства — защищали свои убеждения. Поэтому неудивительно, что непродолжительное правление Юлиана было временем последней отчаянной борьбы между старой и новой религией. В его лице язычество дало последний неудачный бой христианству.

Столкновение двух религий всколыхнуло умы: каждый гражданин должен был дать себе ясный ответ на вопрос — какой веры он будет придерживаться. Христиане посредством живого слова вербуют своих сторонников: не случайно именно этот век дал много таких знаменитых христианских ораторов, как Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Назианзин, Иоанн Златоуст. В среде язычников тоже выдвигаются ораторы — менее многочисленные и не столь прославившиеся, но,

несомненно, сыгравшие видную роль в борьбе за уходящее прошлое, — например, Гимерий, Фемистий в Афинах и более знаменитый ритор-софист Либаний в Антиохии.

Литературная деятельность этого времени чрезвычайно оживлена. Языческие писатели выступают в области различных жанров: в области философской литературы — неоплатоники Ямвлих, Максим, Эдесий, Приск; в области историографии — Евнапий и Олимпиодор; в области научной — врач Орибасий и математик Диофант; в области поэзии — Квинт Смирнский, Авсоний, Авиан. Особенно интенсивно развивается жанр эпистолографии. От этого периода древности писем сохранилось несравненно больше, чем от любого другого: 1544 письма Либания и около ста писем Юлиана. Это не риторические упражнения в форме писем, это подлинная, деловая переписка, имеющая, вместе с тем, и художественную ценность. Переписка была необходимым средством общения образованных людей в огромной империи. Так, находящийся в Галлии Юлиан ведет переписку с Либанием, живущим в Антиохии, с врачом Орибасием, находящимся в Пергаме, с философом Максимом в Эфесе. Корреспонденты Либания живут во многих крупных городах Греции и восточных областей Римской империи.

Вся художественная литература поздней античности развивалась под знаком второй софистики — своеобразного синтеза риторики с философией. Этот признак времени получает яркое выражение и в письмах Юлиана.

Программу такой «философствующей риторики» мы находим уже в ранний период литературной деятельности Юлиана. Еще будучи только наследником престола (цезарем), Юлиан пишет из Галлии своим бывшим товарищам по учению в Афинах, Евмению и Фариану: «Не пренебрегайте составлением речей, хорошенько заботьтесь о риторике, сочиняйте поэмы; еще больше внимания уделяйте научным занятиям; всецело посвятите себя изучению сочинений Аристотеля и Платона. Пусть это станет делом первостепенной важности — фундаментом, основанием, зданием, крышей; все остальное — второстепенно...»<sup>1</sup>

Немного позже, уже после провозглашения Юлиана императором войсками в Паризии (лето 360 г.), он погружается в раз-

<sup>1</sup> Это письмо 8 («Г. 54») можно с большей уверенностью датировать концом 359 г. на основании таких слов Юлиана: «Уже прошел четвертый год и этот третий месяц на исходе со времени нашей разлуки». Автор имеет в виду свой отъезд из Афин, состоявшийся приблизительно в сентябре 355 г. Переводы здесь и далее, за исключением специально оговоренных, принадлежат автору статьи. Номер письма, стоящий без скобок, соответствует номеру, принятому в изданиях: J. B i d e z. *L'Empereur Julien. Oeuvres complètes, t. 1, p. 2<sup>me</sup>. Paris, 1921*, в котором эти письма расположены в хронологическом порядке. Номер, заключенный в скобки, означает номер по изданию: R. H e r c h e r. *Epistolographi graeci. Parisiis, 1871*; в этом издании не выдержан хронологический принцип, но тем не менее с ним принято соотносить нумерацию писем Юлиана, установленную различными учеными после Р. Герхера.

думья о долге государственного правителя и делится своими соображениями с философом и ритором Фемистием. В письме, адресованном Фемистию, чувствуется стремление Юлиана осуществить на практике свое кредо ратора-софиста, провозглашенное в письме Евмению и Фариану: философское по содержанию, письмо Фемистию пронизано духом риторики. Основной мотив письма — мысль о том, что государственный правитель должен быть философом,<sup>2</sup> — выражена здесь посредством длинных риторических рассуждений о трудностях, ожидающих государственного деятеля (254 CD—255 A), о том, что хотя «единственной истинной наставницей на этом пути является доблесть (areté), все же гораздо больше властвует всюду судьба» (týchē, 255 D) и т. д. При этом автор умело использует некоторые приемы, составлявшие непрменный арсенал выразительных средств второй софистики. Ощущения человека, вступающего на стезю государственного правителя, переданы через сравнение с состоянием пловца, выходящего из узкого пролива в открытое море, которое ему предстоит переплыть. Доказательству решающей роли судьбы в делах человеческих служат примеры из древней истории — судьба Катона Утического, Диона Сицилийского, горькая участь персов, лакедемонян, афинян, жителей Сиракуз (257 BC). Вставлено несколько сентенций, например: «в надежном счастье менее всего должно верить судьбе» (256 C). Юлиан приводит обширные цитаты из сочинений Платона и Аристотеля<sup>3</sup>, особо останавливается на аристотелевском определении закона как уравновешенного разума (261 D), т. е. на практике осуществляет требование, обращенное, как мы видели, к Евмению и Фариану, — глубоко проникать в труды великих философов древности.

Но Юлиан не просто приводит высказывания Платона и Аристотеля, соответствующие его убеждениям: он дает им свою интерпретацию, в которой нельзя не признать идей неоплатоника: «Чтобы быть выше всех случайностей судьбы, надо жить в бестелесном умопостигаемом мире» (256 C); «... поскольку правитель — человек по своей природе, он должен заключать в себе нечто божественное и демоническое, должен удалить из своей души все смертное и звериное, кроме того, что необходимо для поддержания телесного существования» (259 AB).

Таким образом, Юлиан старается тесно связать философские, точнее неоплатонические идеи со своими задачами государственного деятеля и выражает их посредством риторических приемов.

Вполне понятно, что в зависимости от содержания письма способности его выражения получали у Юлиана каждый раз, в разные периоды его литературной деятельности различные характерные осо-

<sup>2</sup> Это мысль Платона: «Государство», V, 473 CD.

<sup>3</sup> Платон, «Законы», IV, 713, 714; Аристотель, «Политика», III, II, 2—4.

бенности. Рассмотреть их — наша задача. Последовательность рассмотрения будет такой:

- 1) содержание и жанровая специфика писем Юлиана;
- 2) стиль писем Юлиана и эпистолярная традиция;
- 3) стиль писем Юлиана и индивидуальность его мастерства.

## 2

Содержание писем Юлиана — это прежде всего жизнь их автора, его мысли, чувства, впечатления от совершающихся вокруг него событий и окружающих его людей, это борьба с противниками его религиозных или философских взглядов и защита собственных убеждений; иными словами, письма Юлиана — это субъективное, но яркое отражение богатой и сложной эпохи. В зависимости от содержания жанровая специфика писем Юлиана неодинакова. Мы уже знакомы с письмом Фемистию; его можно назвать философским монологом, в котором автор ведет беседу с адресатом. Пожалуй, при чтении именно этого письма становится наглядной мысль античных теоретиков о том, что письмо — это диалог без собеседника <sup>4</sup>.

А вот другое письмо, адресованное ритору Евагрию (9, Г. 45); здесь на первом плане не философское рассуждение, а риторическое описание. Уже в этом, одном из ранних писем Юлиана, сказано все его мастерство ратора-софиста. Письмо поражает тщательной внешней отделкой, строгой композицией, продуманной от первых строк до последних; оно говорит само за себя: «Маленькое поместье из четырех полей в Вифинии, подаренное мне моей бабкой, я теперь дарю тебе в знак нашей дружбы. Поместье, правда, не столь велико, чтоб его владелец мог счесть себя очень богатым и благоденствующим, однако, если я перечислю по порядку все его достоинства, ты увидишь, что дар этот не совсем лишен прелести. Ведь ничто не мешает мне шутя поговорить с тобой, человеком большого обаяния и тонкого вкуса.

Поместьеце отстоит от моря не больше чем на двадцать стадиев, но ни купец, ни моряк, люди болтливые и наглые, не досаждают тамошним обитателям своим появлением. Однако и благ Нереея оно не совсем лишено: там всегда найдешь свежую и еще трепещущую рыбу, а если, выйдя из дома, ты поднимешься на какой-нибудь холм, то увидишь с него море Пропонтиду, острова и город, носящий имя прославленного царя. Оно не засорено ни водорослями, ни морским латуком, ни всем тем, что выбрасывают на песчаный берег волны, ни другими весьма неприятными предметами, которых вкратце и не перечислишь, но изобилует тисом, тимьяном и душистыми травами. Когда, в глубокой тишине, ты

<sup>4</sup> Деметрий, «Как надо писать письма», § 223.

погрузишься в книгу, а затем пожелаешь дать отдых утомленным глазам — перед тобой откроется очаровательный вид на море и корабли. Когда я был еще совсем юным, это место казалось мне в летний зной самым привлекательным: ведь там есть и источники прекрасные, и купанье восхитительное, и сад, и древесные кущи. Да и став уже взрослым человеком, я все еще находилась под обаянием этого старого обиталища; я часто бывал там, и каждая встреча с ним отражалась в моих сочинениях. . .»<sup>5</sup>

Письмо изобилует различными стилистическими фигурами: здесь и антономасия — «блага (дары) Нерая» (т. е. рыба); и эпитет — «болтливый» (мореплаватель); и антитеза — «поместье, правда, не столь велико. . . , однако. . .»; и градация — «тис, тимьян и душистые травы»<sup>6</sup>; и оксюморон — «трезвый кубок Диониса»; и литотес — «дар не совсем лишен прелесть». Заканчивается письмо двумя элегическими дистихами:

Ахеменид мной владел, теперь же я — поле Мениска.

Время пройдет, и тогда — будет хозяин другой.

Тот полагал, что мною владеет, и этот такой же;

Правда ли? Нет. Я ничье — принадлежу лишь судьбе<sup>7</sup>.

Эти строки полны философского смысла, нравоучительны и в очень немногих словах выражают ту же мысль, что и все письмо в целом; невольно напрашивается предположение, что все письмо — это развернутые четыре строки данного стихотворения, прекрасно разработанные и превращенные в изящную пейзажную зарисовку с бытовой сценкой, рисующей приготовление молодого вина.

При всем блеске отточенной речи, при изобилии стилистических фигур и образов Юлиан позволяет себе в конце письма заметить, что он «написал его небрежно, при светильнике!» Разумеется, это не что иное, как хитрая уловка, направленная на то, чтобы обратить особое внимание читателя на мастерство автора.

Иногда письмо занимает среднее положение между философским и риторическим типом — таково, например, письмо врачу Орибасию (14, Г. 16). Его философское содержание облечено в форму аллегории. Письмо интересно тем, что в нем впервые недвусмысленно высказывается мечта Юлиана об императорском престоле. Выражена она в сложной форме развернутой аллегории прошлой и будущей судьбы Юлиана. Письмо написано вскоре после того, как Констанций отозвал из Галлии Салустия, близкого друга Юлиана; это произошло в 357 г. Юлиан был очень огорчен его отъездом и желал, чтоб «боги помогли любез-

<sup>5</sup> «Поздняя греческая проза». М., 1961, стр. 646, 647. Перевод Ю. Ф. Шульца.

<sup>6</sup> Названия растений расположены по степени усиления их аромата.

<sup>7</sup> Перевод автора статьи. Эта эпиграмма есть в Палатинской антологии (IX, 74); только в ней читается не «Мениск», а «Менипп».

ному для него Салустию» (там же). Следовательно, письмо можно датировать временем, последовавшим вскоре после 357 г. Как отмечает И. Гэфкен<sup>8</sup>, в этом письме сказался весь Юлиан. Во вступлении использован типичный для софиста прием — цитата из Гомера, в которой говорится о двух «воротах», через которые к нам приходят сны<sup>9</sup>. Далее следует сон-аллегория; разумеется, это плод фантазии самого Юлиана. Мастерски дано описание увиденного во сне; основной прием описания — антитеза: Юлиан говорит о двух деревьях, большом и маленьком: старое дерево погибает, — это символ династии Флавиев, род которых должен был закончиться со смертью Констанция; молодое дерево, вырастая на корнях старого, набирает силы, — это символ ближайшего воцарения Юлиана, дальнего родственника Флавиев. Следует сказать, что аллегория старого и молодого дерева — мотив, издавна имевший место в литературе. Достаточно напомнить о сне Астиага (Геродот, I, 108), Клитемнестры (Софокл, Электра, 421 сл.) и Навуходоносора (Книга пророка Даниила, 4). Юлиан насыщает свое описание большим количеством эпитетов, что придает изображаемому картинность и большую убедительность; введение прямой речи, какого-то «таинственного голоса» служит кульминацией. Вот рассказ Юлиана об увиденном им сне: «Мне привиделось, что высокое дерево, выращенное в каком-то очень большом триклинии, склонилось к земле, а на корнях его росло другое, маленькое и молодое, в полном цвету. Я сильно горевал о маленьком дереве, как бы кто не срубил его вместе с большим. Но когда я подошел ближе, то увидел, что большое дерево лежит на земле, маленькое же выпрямилось и держится над землей. Когда я это увидел, то произнес в тревоге: «Отпрыску такого дерева грозит гибель!» И кто-то, неведомый мне, сказал: «Посмотри получше и успокойся: раз корень остался в земле, — маленькое дерево будет невредимым и станет еще сильнее».

Сразу же после этих слов Юлиан-язычник не забывает упомянуть о том, что все дальнейшее известно лишь одному богу, т. е. Солнцу.

Письмо Орибасию — последнее из дошедших до нас писем Юлиана-цезаря. В начале лета 360 г., в Паризии, войска Юлиана, недовольные намерением Констанция отозвать из Галлии лучшие отряды на Восток, для войны с персами, провозгласили Юлиана императором. В первое время после этого события Юлиан долго хранил молчание, о чем можно догадаться по его признанию, сделанному несколько лет спустя, уже после смерти Констанция: собираясь в Каппадокию для войны с персами, Юлиан адресует каппадокийскому поэту Филиппу письмо (40, Г. 68), в котором объясняет, почему он в то время не мог отвечать на письма дру-

<sup>8</sup> J. G e f f k e n. *Kaiser Julianus*. Leipzig, 1914, S. 48.

<sup>9</sup> Гомер, *Одиссея*, XIX, 562.



зей: «Вследствие моего избрания на престол между мной и покойным Констанцием возникла волчья дружба, и я опасался отправлять письма через Альпы кому бы то ни было, ибо этот человек мог из-за них претерпеть большие неприятности». (40, Г. 68). Даже с Констанцием Юлиан не сносился до тех пор, пока, по его собственным словам, его «не убедили, вернее, не заставили силой написать Констанцию» (Послание Совету и народу афинскому, 283 D). Тогда Юлиан отправляет ему письма одно за другим, но в ответ не получает ни одного. Как ни странно, но от этих писем не сохранилось даже фрагмента, и об их существовании мы узнаем лишь из более поздней переписки Юлиана, например, из Послания Совету и народу афинскому, а также по упоминаниям Аммиана Марцеллина, Зонары, Зосима<sup>10</sup> и другим источникам.

То же самое можно сказать о многочисленных посланиях различным городам, которые Юлиан направлял во время походного марша вдоль Дуная (июль—ноябрь 361 г.). Мамертин сообщает нам о характере этих посланий: в них Юлиан провозглашает свое намерение восстановить разрушенные крепостные стены, акведуки и, по-видимому, снова оживить упраздненные языческие праздники<sup>11</sup>. Мамертин пишет: «Слишком долго было бы перечислять все города, которым Юлиан направлял послания. Достаточно указать на то, что все общины Македонии, Иллирии, Пелопоннеса получали их, и не однажды»<sup>12</sup>. Либаний в речи XII также сообщает, что Юлиан «по всей Греции рассылал в разные места письма по вопросам и значительным и маловажным, желая привлечь их население на свою сторону»<sup>13</sup>.

Насколько можно судить по краткому пересказу, а иногда и небольшим цитатам из этих посланий, приводимым Либанием и Аммианом Марцеллином<sup>14</sup>, эти послания императора не носили характера только административных распоряжений, свидетельствовавших о той заботе, какую проявлял Юлиан в отношении жителей очень многих городов Греции. Нет, в них он не забывал напомнить и о себе самом, например, о своем детстве или о вражде с Констанцием. Так, в речи XIV Либаний вспоминает о письме, которое Юлиан направил коринфянам, видимо, желая вызвать с их стороны особое расположение к себе: он называет их своими благодетелями, говоря, что давно к ним питает дружеские чувства, так как когда-то они хорошо приняли его отца.

Из всех посланий городам и общинам этого периода сохранилось лишь одно — «Послание Совету и народу афинскому»

<sup>10</sup> Аммиан, XX, 8, 5, 6, 8, 11, 13, 17, 18; Зонара, XIII, 10, 16; Зосим, III, 9, 3.

<sup>11</sup> *Mamertinus, Gratiarum actio de consulatu suo Juliano imperatori*, 9, 4 (ed. von H. Gutschwiler. Basel, 1942).

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Либаний, Речь XII, 64 (R. Förster. *Libanii opera*. Lipsiae, 1921—1922, v. X, XI).

<sup>14</sup> Либаний, Речь XIV, 29 сл.; Аммиан, XXI, 10, 7.

(268 А—287 D). По свидетельству Зосима, оно написано в Паннонии, в городе Сирмии, в конце 360 г.<sup>15</sup>

Содержание письма автобиографическое. Это рассказ Юлиана о детских годах, проведенных им в Каппадокии со своим сводным братом Галлом (271 CD), об отношении к ним Констанция (272 А—274 А), о занятиях философией (275 А—277 А), о том, как Констанций отправил Юлиана в Галлию (277 А—278 С), о походах в галльской земле (278 D—280 D), наконец, о том, как он был провозглашен императором (283 А—285 D) и о мотивах, побудивших его выступить в поход против Констанция (286 С—287 С).

Вполне понятно, что насыщенность письма столь богатым и разнообразным содержанием определила и жанровую сложность его: это и апология, предпринятая Юлианом перед лицом высокоуважаемых им афинян (Юлиану необходимо было объяснить афинянам, каким образом он был провозглашен императором и почему он вынужден сейчас идти войной на Констанция); в то же время — это инвектива на ненавистного автору Констанция, христианина, убийцу его отца, двух братьев и еще нескольких более отдаленных родственников, а теперь собирающегося в открытом бою убить своего соперника.

Меткую характеристику этого послания дал Ж. Биде: «Из всех произведений Юлиана это послание отличается живостью языка, смелостью в нападении на противника, горячностью, с какой Юлиан изливает свои жалобы и упреки, а также весьма значительным красноречием, которого достигает автор в своем негодовании»<sup>16</sup>.

В самом деле, свои мысли Юлиан выражает в этом письме очень образно, используя много метафор, сравнений, эпитетов, но лишь в тех случаях, когда это связано с его эмоциональными переживаниями. Так, рассказывая о своем пребывании в Каппадокийском замке, Юлиан называет его «заключением», которому он с Галлом были подвергнуты, «словно узники, томящиеся в персидских крепостях» (271 С); свое назначение наследником престола автор определяет как «самое тяжелое и горькое рабство, в которое Констанций ввергнул» его (273 С); описывая свои успехи на военном поприще, в частности быстроходный марш через Иллирию, Юлиан сравнивает его с полетом по воздуху — с такой «неимоверной скоростью и неотразимой силой» (269 D) он был произведен. Но с момента описания того, как солдаты провозгласили Юлиана императором, повествование становится менее эмоциональным; в рассказе появляются необыкновенно тщательные подробности, а благодаря им — спокойная, чуть замедленная последовательность в изложении событий. Юлиану надо было показать, что он был провозглашен императором по-

<sup>15</sup> Зосим, III, 10, 3, и 4.

<sup>16</sup> J. Bidez. Указ. изд., ч. I, стр. 210.

мимо его воли, что он не предпринимал решительно никаких действий для достижения власти (284 В); и, надо сказать, Юлиан добивается своей цели — рассказ его внушает доверие. Разумеется, Констанция не убедили доводы Юлиана: он объявил войну своему двоюродному брату и выступил против него в поход. Но в походе Констанций неожиданно умирает (3 ноября 361 г.), и с этого момента наступает как бы новый период в литературной деятельности Юлиана. Это особенно хорошо заметно по его письмам: в них автор становится более взволнован, более откровенен и смел в выражении своих языческих убеждений. И сохранились эти письма несравненно лучше, нежели более ранние.

Мы не будем останавливаться на тех посланиях Юлиана, в которых он делится с друзьями своими переживаниями по поводу происшедшей перемены в его судьбе; скажем только, что они чрезмерно насыщены выражением благодарности к языческим богам за сохранение ему жизни<sup>17</sup>, за то, что все свершилось без всякого кровопролития (26, Г. 37, философу Максиму).

Юлиан обращается к богам не только со словесными молитвами и изъявлением благодарности за свою судьбу; он во всеуслышание заявляет о том, что теперь будет «открыто почитать богов», «открыто заклать быков»: «Воздадим же богам за их благодеяния! Поставим им много гекатомб!» (26, Г. 37). Первое жертвоприношение Юлиан призывает свершить в благодарность за неожиданно наступившую смерть Констанция: «Принеси за меня богам благодарственные жертвы; ведь не за одного человека ты будешь свершать жертвоприношения, но за всю Элладу», — пишет он Евферию (29, Г. 69).

Вскоре после этого последует целый ряд законов Юлиана о восстановлении культа языческих богов, об открытии языческих храмов и жертвенников. Интересно, что ни одно из этих постановлений не сохранилось; мы знаем о них лишь по упоминаниям Аммиана Марцеллина, Филосторгия, Созомена, Зонары, Либания, Григория Назианзина<sup>18</sup>.

В это же время Юлиан издает эдикт, возвращающий из изгнания язычников и тех христиан, которые были сосланы Констанцием за то, что не признавали арианское вероучение. Эдикт не сохранился, но зато мы имеем письмо Юлиана епископу-арианину Аэтию, в котором он дает как бы краткое содержание этого эдикта. Аэтий еще при жизни двоюродного брата Юлиана Галла был поверенным последнего и не раз участвовал в посольствах к Юлиану. После казни своего покровителя Галла Аэтий был сослан Констанцием во Фригию. После обнародования указанного выше закона об амнистии Юлиан направил Аэтию письмо — приглашение ко двору (46, Г. 30): «Всем без различия, кто был

<sup>17</sup> Письма 28 (Г. 12), 29 (Г. 69), 30 (Г. нет).

<sup>18</sup> Аммиан, XXII, 5, 2; Филосторгий, VII, 1; Созомен, V, 3, 1; Зонара, XIII, 12, 31; Либаний, Речь XII, 69; XVIII, 114, 126; Григорий Назианзин, Речь IV, 86.

изгнан блаженным (т. е. покойным. — *Т. П.*) Констанцием по причине безумия галилеян<sup>19</sup>, я прекратил изгнание; тебе же не только возвращаю свободу, но, памятуя наше прежнее знакомство и наши встречи с тобою, повелеваю прибыть ко мне; до моего лагеря воспользуйся общественной повозкой и парой лошадей» (46, Г. 30).

Замечательно, как мастерски кратко это письмо, как просто и вместе с тем величественно его начало: *Koinôs mén hápasí <...> perhugadeuthénois*, каким образом антитетическое построение всей фразы — *koinôs mén — sè dè* — делает ее предельно выразительной. В этих шести строках сказано о многом: и о том, что амнистия касается всех, кого Констанций в разное время отправил в изгнание, и о том, что Юлиан не забыл своего прежнего знакомства и встреч с Аэтием, и о том, что он приглашает Аэтия к своему двору, скромно названному лагерем (*stratopedon*). Невольно вспоминаются слова Либания о том, что Юлиан, соединив в своих письмах силу выражения с ясностью, не имел себе равных<sup>20</sup> и именно в письмах умел превосходить самого себя<sup>21</sup>.

Такой же характер носит письмо-обращение к жителям провинции Визацены, расположенной к югу от Карфагена, в котором разрешалось возвращение в курию тем, «кто предался суеверию галилеян», т. е. перешел в христианство, а также тем, «кто под каким-либо другим предлогом покинул курию» (54, Г. 11).

Чем больше времени проходит с момента воцарения Юлиана, тем более заметной становится одна важная особенность: уменьшается количество писем, посвященных частным вопросам и адресованных частным лицам, и увеличивается количество посланий, затрагивающих значительные вопросы государственной жизни, внешней и внутренней политики, религии. Все больше появляется писем, адресованных общинам городов и народов, например, 54 (Г. 10) — жителям городов Визацены, 55 (не дошедшее до нас) — жителям Кизика, 59, 60, 110, 111 — жителям Александрии, 73 (Г. 46) — фракийцам, 114 (Г. 51) — бостренийцам, 198 (Г. 34) — аргиянам, 204 (Г. 24) — общине евреев.

Мало того, даже те письма, которые адресованы какому-либо частному лицу, уже не носят сугубо личного характера, а связаны с каким-либо важным событием, имеющим или общегосударственное значение (как, например, упомянутое выше письмо Аэтию), или значение для какого-либо одного города. На такого рода письмах мы и сосредоточим в дальнейшем свое внимание, так как они в высшей степени значительны по содержанию: по ним можно проследить всю деятельность Юлиана — врага христиан и реставратора языческой религии.

<sup>19</sup> Галилеянами Юлиан называет христиан.

<sup>20</sup> Либаний, письмо 716.

<sup>21</sup> Либаний, Речь XVIII, 302.

Прежде всего, к этой категории писем относятся 58-е письмо верховному врачу Александрии Зенону (Г. 44) и 61-е письмо о преподавателях (Г. 41). В правление Констанция, вследствие интриг христианского епископа Георгия, Зенон был изгнан из Александрии; теперь Юлиан разрешает ему возвратиться в этот город с восстановлением в прежней должности. Таким образом, это письмо хотя и касается судьбы одного частного лица, но отражает, пусть косвенно, борьбу христиан и язычников в Александрии, жертвой которой оказался Зенон, и потому представляет большой интерес с точки зрения истории христианства.

Письмо 61 (Г. 41), адресат которого неизвестен, обращено к какому-то одному лицу, возможно, христианскому ритору, и излагает мотивы реформы, касающейся христианских преподавателей. Дело в том, что в начале правления Юлиана христианские риторы, грамматики и софисты очень часто были наставниками как в государственных, так и в частных школах, и, разумеется, своим толкованием древних авторов наносили немалый вред языческим верованиям. Юлиан решил пресечь это, считая безнравственным, если «люди обучают тому, что ими самими признается недостойным уважения»<sup>22</sup>; но главное — такие люди не должны «сообщать взглядов, неподобающих и противных народным верованиям»<sup>23</sup>. И Юлиан запрещает христианским риторам преподавать как в государственных, так и в частных школах. Другой причиной этого запрета, если верить христианскому историку Сократу, явилась боязнь Юлиана, как бы христианские преподаватели «не отточили свой язык и не сделались способными опровергать учения и рассуждения древних»<sup>24</sup>. Так или иначе, эта реформа была осуществлена в 362 г., но уже 11 января 363 г. — отменена. Она вызвала много протестов: даже язычник Аммиан Марцеллин называет ее «тираннической мерой, которую следовало бы похоронить в вечном молчании»<sup>25</sup>.

Реформа, направленная против христианских преподавателей, — только первый шаг языческого императора в борьбе с новой религией. В скором времени последует ряд законов, запрещающих христианскому сословию все профессии, за исключением профессии врача. Эти законы, кроме закона о врачах, обнародованного 12 мая 362 г., не сохранились.

Но несмотря на такие строгие меры, предпринятые против христиан, в письмах Юлиана этой поры еще нет нападок на христиан и их религию. Он старается казаться терпимым. Даже в письме 60 (Г. 9), адресованном жителям Александрии по поводу убийства арианского патриарха Георгия сторонниками его предшественника

<sup>22</sup> Письмо 61 (Г. 41). «Поздняя греческая проза», стр. 645.

<sup>23</sup> Там же, стр. 644.

<sup>24</sup> Сократ, III, 12, 7.

<sup>25</sup> Аммиан Марцеллин, XXII, 10, 7; XXV, 4, 20.

православного епископа Афанасия, Юлиан представляет дело так, будто Георгий пал от руки язычников<sup>26</sup>; в действительности же он оказался жертвой вражды различных христианских течений — никейского и арианского. Георгий не пользовался популярностью среди жителей Александрии из-за своего подозрительного, ненавистнического характера, сплетен и доносов, грубого применения эдиктов Констанция против язычества. И Юлиан возлагает всю вину только на грубость Георгия и жестокость стратега Артемия, приводившего в исполнение приказы арианского епископа. При этом Юлиан нисколько не бесчестит эдикт Констанция; почти извиняя своего предшественника, он совсем не считает его виновным. В письме отсутствуют не только выпады против христиан, но даже само слово «галилеяне», которым языческий император презрительно называл христиан.

Юлиан неоднократно дает понять, что он не допускает физической расправы с христианами. Так, в этом письме, порицая александрийцев за то, что они сами расправились с Георгием, а не предоставили его в руки судебных властей, он все же не принимает против убийц никаких жестоких мер и особо подчеркивает, что он сторонник «более мягкого средства — убеждения и дружеского увещания» (60, Г. 9)<sup>27</sup>. Заканчивается это письмо похвалой александрийцам, которых Юлиан называет потомками древних эллинов, «сохраняющими в своем характере и образе жизни славные и благородные черты этого происхождения» (там же)<sup>28</sup>.

Иными словами, в первое время своего правления Юлиан всеми силами старается показать, что он не намерен карать христиан, которых считает просто заблуждающимися людьми, хотя, согласно его признанию, «было бы, пожалуй, правильное лечить заблуждающихся так же, как лечат безумцев, даже против их воли» (61, Г. 9)<sup>29</sup>. Но тут же он добавляет: «Однако, по моему, всякий может заболеть этой болезнью, и я полагаю, что неразумных следует поучать, а не карать»<sup>30</sup>.

В другом письме, от которого сохранился один небольшой, но интересный фрагмент (№ 83 а, Г. 6), Юлиан так выражает свою политику в отношении христиан: «Клянусь богами, я не хочу ни убивать галилеян, ни подвергать их пыткам вопреки справедливости, ни причинять им какое-либо иное зло. Однако у меня нет сомнений, что надо отдавать предпочтение людям, чуждшим богов. Ведь только из-за безумия галилеян едва не погибло

<sup>26</sup> Текст этого письма сохранил Сократ (III, 3, 4—25), но, возможно, не полностью. Его целью было показать, что Юлиан не вменял христианам партии Афанасия вину за убийство Георгия.

<sup>27</sup> «Поздняя греческая проза», стр. 641.

<sup>28</sup> Там же.

<sup>29</sup> Там же, стр. 645.

<sup>30</sup> Там же.

все!» (83 а, Г. 6)<sup>31</sup>. Это письмо подтверждает сведения, данные христианскими историками о том, что Юлиан запретил христианам состоять в преторианской гвардии, в армии, участвовать в управлении провинциями и исполнять судебные обязанности<sup>32</sup>.

Теперь нам совершенно ясно, на что была направлена антихристианская политика Юлиана: к физическому уничтожению христиан не прибегать, но создать для них невыносимые условия, которые бы или заставили христиан отречься от своей веры или обрекли на нищенское существование и смерть.

Прикрывая эту коварную политику, Юлиан неоднократно заявляет, что он никого из галилеян не позволяет приводить к жертвеннику против его собственной воли, а в надежде на то, что кто-то из них обратится в язычество, он провозглашает безо всякой двусмысленности, что такой человек должен сначала подвергнуться очищению и усердно помолиться отвращающим несчастья богам. Так заявляет он в письме жителям аравийского города Бостры (114, Г. 51). Но через несколько строк уже звучит угроза наказания тем из бостренинцев, кто встанет на сторону христианских священнослужителей и поддастся их уговорам выступить против властей, проводящих политику Юлиана (там же).

Это письмо, датируемое 1 августа 362 г.<sup>33</sup>, — единственный источник наших представлений о событиях, разыгравшихся в городе Бостра, бывшем наполовину языческим, наполовину христианским. Во время правления Констанция там свирепствовали христиане, уничтожавшие языческих идолов. После своего воцарения Юлиан назначил управителем Бостры ревностного язычника Белея, старого профессора риторики<sup>34</sup>. Он стал усиленно реставрировать язычество и проводить буквально все эдикты Юлиана относительно восстановления святилищ и жертвенников. Видимо, это вызвало сильное возмущение христианской части населения. Юлиан, как явствует из этого письма, считал виновниками волнений христианских священнослужителей, «обманывающих толпы народа» (там же). Епископ города, Тит, осмелился протестовать против таких репрессивных мер, направив Юлиану послание со словами о том, что христианские церковники не подстрекают народ к возмущениям, а, напротив, сдерживают его, и что не в их среде следует искать провокаторов.

Но Юлиан придает словам Тита нужный ему смысл, изображая дело так, будто между христианской частью населения и ее священнослужителями существуют определенные трения. Вот его слова: «Вы видите, ваш епископ приписывает ваше послушание

<sup>31</sup> «Поздняя греческая проза», стр. 640.

<sup>32</sup> Сократ, III, 13, 1; Руфин, История церквей, X, 33 сл.

<sup>33</sup> Дата написания этого письма указана в конце самим Юлианом.

<sup>34</sup> Либаний, письмо 819, § 4.

не вашей воле; ведь он говорит, что оно сохраняется вопреки вашей воле, благодаря только его увещаниям. Раз он бросает вам такое обвинение, изгоните его по собственному желанию из города, в народе же добейтесь согласия всех людей друг с другом» (там же).

По-видимому, Юлиан стремился посеять распри между христианами и их священнослужителями, а себя показать терпимым в отношении таких «людей, заблуждающихся скорее по неведению, нежели по убеждению» (там же). Он как бы заигрывает с христианской частью населения: «Прежде я не раз приказывал и теперь приказываю тем, кто поистине стремится к благочестию, не совершать несправедливостей в отношении к массе галилеян, не нападать на них и не оскорблять их <...> Ибо следует сострадать тем, кто от веры в богов обратился к вере в умерших и в мощи, — сострадать, будто их охватила какая-нибудь болезнь: ведь этим они сами себя обрекли на наказание. Мы же радуемся вместе с теми, кто принял очищение и, благодаря богам, отвернулся от прежней веры» (там же).

Еще более откровенно прославляет Юлиан свою гуманность и справедливость в самом начале этого письма: «Я думал, что руководители галилеян<sup>35</sup> будут более признательны мне, чем тому, кто правил до меня; ведь при нем большинству из них пришлось отправиться в изгнание, их преследовали и заключали в тюрьмы; огромная масса так называемых еретиков<sup>36</sup> была умерщвлена <...> Во время же моего правления, наоборот, — изгнанники возвращены, а те, у которых было конфисковано имущество, получили возможность благодаря нашему закону снова владеть им» (там же). Такое открытое провозглашение своей терпимости, мягкости и великодушия было, видимо, свойственно многим посланиям Юлиана этого времени. Например, добрая половина послания общине евреев, написанного не раньше 362 г. и не позже 363 г., напоминает о том, как Юлиан еще при Констанции защищал евреев от притеснений со стороны христианского императора; теперь же Юлиан еще более широко оказывает им свое покровительство. Император напоминает им, что именно он предал огню постановления Констанция, направленные против евреев, именно он воспрепятствовал обложению их непосильными налогами; в заключение сообщает им о своем намерении скорее кончить войну с персами и восстановить «желанное в течение стольких лет» для них обиталище — священный город Иерусалим. Юлиан желает, чтобы в его правление у них не было «ни малейшего повода к тревогам», и чтобы они, «радуясь, с еще большим рвением возносили молитвы» за его правление величайшему из всех — богу-

<sup>35</sup> Т. е. священнослужители, стоявшие во главе христианской церкви в Бостре.

<sup>36</sup> Еретики — в данном случае те христиане, которые не признавали арианского вероучения и преследовались Констанцием, покровителем ариан.



творцу, который удостоил увенчать его «своею чистой десницей» (204, Г. 24)<sup>37</sup>.

Или вот другое письмо, написанное приблизительно в это же время — 115 (Г. 42) и адресованное, по мнению У. Райт, софисту Гекеболию, по мнению Ж. Биде — жителям Эдессы. Оно начинается такими словами: «Я так мягко и гуманно обращаюсь со всеми галилеянами, что ни один из них не претерпел никакого насилия и против его воли не был завлечен ни в храм, ни в какое-нибудь еще подобное место» (115, Г. 42).

Видимо, Юлиан боялся волнений, подобных тем, какие произошли в Бостре, ибо заканчивает свое краткое послание следующими словами: «Жителям Эдессы я заявляю — воздерживайтесь от каких бы то ни было восстаний и соперничества, дабы, раздражив этим мое человеколюбие, не поплатиться за участие в беспорядке, получив наказание мечом, изгнанием и огнем» (там же).

Не менее жестоко собирается Юлиан расправиться с теми, кто не подчинится его новому закону о правилах погребения умерших: «Если кто нуждается в угрозах и наказании, пусть знает, что он подвергнется самому страшному наказанию» (136, Г. нет).

Вот она, жестокая угроза со стороны «человеколюбивого» императора, угроза, так долго скрываемая им! А то, что она приводилась в исполнение, явствует из целого ряда писем, адресованных жителям Александрии в связи с изгнанием александрийского епископа Афанасия. Афанасий, глава православных христиан в Александрии, был изгнан один раз Константином и дважды Констанцием. После того, как императором стал Юлиан, Афанасий, не дожидаясь императорского повеления, возвратился в Александрию и 21 февраля 362 г. сам восстановил себя на престоле епископа. Он стал проповедовать, крестить (Юлиан особенно был возмущен тем, что Афанасий «дерзнул в его правление окрестить нескольких знатных эллинских женщин») (112, Г. 5)<sup>38</sup>, начал даже развивать деятельность по объединению христианской церкви под Никейским символом веры. Естественно, что его пребывание в Александрии вызывало недовольство язычников, или, говоря словами Юлиана, «было очень неприятно благочестивому александрийскому народу» (110, Г. 25). Поэтому император направляет в Александрию письмо 110 (Г. 25), повелевая Афанасию немедленно покинуть город. «Если же он останется в пределах этого города, мы заранее предупреждаем его о более значительных и тяжелых наказаниях, ожидающих его», — заканчивает Юлиан свое послание (там же).

Афанасий не покинул Александрии, а сделал вид, что отправился вверх по Нилу, в Фивы. Когда он был в полной безопасности, его сторонники в Александрии от имени города потребо-

<sup>37</sup> «Поздняя греческая проза», стр. 642, 643.

<sup>38</sup> Письмо адресовано префекту Египта Эджидию. «Поздняя греческая проза», стр. 632.

вали у Юлиана возвращения епископа. Юлиан возмутился этой просьбой и ответил им письмом 111 (Г. 50), в котором объявляет, что эти люди «взяли себе за образец не здоровую часть города, а большую, и все же смеют говорить от имени всего города» (111, Г. 50). Он призывает не сожалеть об отъезде Афанасия: ведь в нем одном «выражается вся порочность его безбожной школы» (там же). Он недостойн, по мнению Юлиана, быть первым в народе, так как побуждает его к нарушению порядка. Поэтому император не только еще раз подтверждает свой прежний приказ Афанасию — удалиться из города, но дополняет его новым, повелевая Афанасию выехать за пределы Египта.

Афанасий отказался покинуть Египет, и Юлиан пишет новое послание Эддикию, префекту этой страны; тон его становится более грозным и требовательным: «Клянись великим Сараписом, если до наступления декабрьских календ этот враждебный богам Афанасий не будет изгнан из города, а еще лучше — из всей земли египетской, я накажу подчиненных тебе служащих, высквав с них сто литр золота. Ты ведь знаешь, что я не тороплюсь выносить приговор, но, вынеся, еще менее склонен его отменить» (112, Г. 5)<sup>39</sup>.

Вот как расправлялся Юлиан с христианами, не оставляя безнаказанными и тех, по чьей вине не исполнялось его повеление. Конечно, изгнание — не самая жестокая мера расправы. Историки ничего не говорят о том, прибегал ли Юлиан и к физическому уничтожению противников язычества. Зато об этом красноречиво говорит следующее признание самого Юлиана в послании к общине евреев. Напоминая евреям об испытанных ими прежде притеснениях, Юлиан пишет: «Конечно, в этих беззакониях по отношению к вам повинен не столько мой брат Констанций, достойный доброй памяти, сколько люди варварского образа мысли (т. е. христиане. — Т. П.), безбожники в душе, которые были его прихлебателями. Когда они попали в мои руки, я уничтожил их, приказав бросить в ров, чтобы даже памяти о том, как они погибли, не сохранилось» (204, Г. 24)<sup>40</sup>.

Чем дальше, тем больше появляется в письмах Юлиана оскорбительных выражений, направленных против христиан. Впервые они встречаются в упомянутом выше письме 79 (Г. нет); в нем автор называет христиан галилеянами, нечестивцами (*dyssebeis*), возмущается внешними признаками презрения христиан к языческим идолам. Рассказывая о том, как еще в правление Констанция некий Пегасий водил его по языческим храмам Илиона, Юлиан пишет, что при осмотре находившихся в храме Илионской Афины статуй Пегасий «не начертал на лбу нечестивый знак, как обычно делают те нечестивцы, и не засвистел, как они,

<sup>39</sup> Там же.

<sup>40</sup> Там же, стр. 642.

сквозь зубы: а ведь самая высшая теология заключается у них в том, чтобы освящать божества и чертить на лбу крест» (79, Г. нет).

Юлиан горит страшной ненавистью и к иудейским пророкам, заявляющим, что идолы могут быть безнаказанно разрушены; он возмущен тем, что это осмеливаются заявлять те самые пророки, у которых трижды подвергался разрушению и до сих пор не восстановлен их собственный храм! (фргм. 89 b). А вот он, Юлиан, «по истечении стольких лет задумал восстановить его во славу так называемого ими бога» (там же)... «Я воспользовался этим примером, — продолжает Юлиан, — желая показать, что ничто человеческое не может быть нетленным, а пишущие противоположное — пророки-болтуны» (там же).

Особенно недоволен он тем, что часть жителей Александрии позволила уничижить авторитет языческих законов, «вводя новые проповеди и учения» (111, Г. 50 — народу александрийскому). В данном случае Юлиан имеет в виду проповеди христианских апостолов. А евреев, перешедших в христианство, он противопоставляет «истинным евреям» и клеймит позором этих изменников, ибо они «добровольно предали древние законы и стали рабами людей, пренебрегших верой своих отцов» (там же).

Такую же ненависть вызывают у Юлиана и книги христиан; приказывая уже знакомому нам префекту Египта Эддикию разыскать все книги богатой библиотеки епископа Георгия, пропавшие после расправы с ним александрийцев, Юлиан пишет: «Ведь у него много было книг по философии, риторике, много учений нечестивых галилеян. Относительно последних — я хотел бы, чтоб все они погибли» (107, Г. 8)<sup>41</sup>. Таким образом, несмотря на то, что в данный момент эти книги «нечестивых галилеян» потребовались Юлиану для его собственных целей (видимо, для составления трактата «Против галилеян»), он не может удержаться от пожелания, чтоб все они погибли.

Не оставляет в покое Юлиан христианских правителей отдельных городов. Особенно много он говорит о правителях Александрии. Здесь автор дает полную волю своему красноречию, предаваясь воспоминаниям, связанным с историей этого города, начиная со дня его основания. О нем заботились Александр Великий и Птолеми, тогда как христианские правители не сумели «ни увеличить его — при помощи слов Иисуса, ни улучшить управление им — при помощи учений ненавистных галилеян» (111, Г. 50). «Все, что есть прекрасного в вашем городе, — восклицает Юлиан, — получено от Олимпийских богов <...> А вы осмеливаетесь не почитать ни одного из этих богов! Иисуса же, которого ни вы, ни ваши отцы даже не видели, вы считаете высшим божеством, Логосом!.. Если вы будете повиноваться нашим сторон-

<sup>41</sup> Далее текст испорчен.

никам, — вы обрадуете меня еще больше; если же хотите остаться верными суеверным учениям людей-злодеев, то оставайтесь, но тогда уж не жалейте Афанасия» (там же).

Но Юлиан не всегда последователен в критике христианства. Так, во фрагменте 89 а (Г. 62) он вдруг называет христиан религиозными, правда, лишь в одном отношении: «Тот, кого они почитают <...> поистине бог самый могущественный и добрый, который управляет чувственным миром и которого, я это хорошо знаю, почитаем и мы под другими именами; поэтому, мне кажется, они не преступают законов, но грешат лишь тем, что не почитают остальных богов, особенно нравящихся этому богу; они думают, что только нам, язычникам, можно почитать их» (фргм. 89 а, Г. 62).

Вряд ли справедливо полагать, что это позднейшая вставка какого-нибудь христианского переписчика, хотя довольно странно то, что Иисуса Христа, в которого Юлиан никогда не верил, он называет самым могущественным и добрым богом. Но вот в одном из последних своих крупных сочинений, трактате «Против галилеян», Юлиан развивает мысль о том, что Христос — не кто иной, как один из многих богов-покровителей, которого, оказывается, почитают и язычники, только под другими именами!<sup>42</sup>

Таким образом, в одних своих сочинениях—посланиях Юлиан со всей силой гнева обрушивается на христиан, называя их нечестивцами и безбожниками, а бога их — несуществующим и не приносящим им никаких благ; в других, несколько более поздних, — заметно стремление как бы найти что-то общее в христианской и языческой религиях, показать, что они различаются лишь названием главного божества и признанием или непризнанием второстепенных божеств. Чем же объяснить такую непоследовательность в мыслях самого Юлиана? Для ответа на этот вопрос необходимо выяснить, как представлял Юлиан философскую сторону языческой религии; чего он требовал от жрецов-язычников с точки зрения их важной миссии — быть посредниками между богами и людьми; в чем заключались его проекты реформы языческой религии и как он думал ее осуществить.

В рассмотренных письмах Юлиана еще не было ни тени сомнения в том, что его политика реставрации паганизма тверда и правильна. Подчас император говорит как верховный понтифик. Чего стоит, например, его требование уважения к себе, «когда все боги, и первым великий Сарапис, поставили законным властителем над всем миром»!<sup>43</sup> Так провозглашает Юлиан в послании 60 (Г. 9) народу александрийскому, написанном в конце 361 г. или, в крайнем случае, в январе 362 г., т. е. в самом начале его правления.

<sup>42</sup> Юлиан, *Против галилеян*, 115 D, 143 A.

<sup>43</sup> «Поздняя греческая проза», стр. 640.

В это время Юлиан настолько был уверен в окончательном торжестве языческой религии, что назначал жрецами даже некоторых лиц, бывших до того на стороне христиан. Это видно из письма 79 (Г. нет), адресат которого неизвестен; по-видимому, оно направлено другу Юлиана, занимавшему видный пост среди языческих понтификов Азии; последний, вероятно, порицал Юлиана за то, что тот назначил жрецом Пегасия, бывшего в правление Констанция христианским епископом в Илионе и обвинявшегося в разрушении и разграблении языческих святынь. В письме Юлиан объясняет свое решение тем, что Пегасий, как он убедился, был «гаалиейским епископом лишь по видимости, и уже тогда умел благоговеть перед богами и почитать их» (79, Г. нет), и даже молился тайно Солнцу. Может быть, в отношении Пегасия это действительно было так; но вот в конце этого письма Юлиан роняет весьма знаменательную фразу: «Если бы мы стали отталкивать тех, кто приходит к нам по собственной воле, то никто не стал бы легко повиноваться нашим призывам» (там же).

Таким образом, создается впечатление, что не очень-то много было людей, добровольно переходивших на сторону Юлиана, и новый император вынужден был дорожить даже такими людьми, как Пегасий и ему подобные. Та же мысль выражена в следующем письме (80) к дяде императора Юлиану; видимо, дядя Юлиана, находившийся в Антиохии, где с большим рвением восстанавливал культ языческих богов, пожаловался своему племяннику на некоего жреца Лаврикия, показавшегося ему дурным человеком в частной жизни. Юлиан отвечает своему дяде: «...хороших людей в общественной жизни, если даже в частной они и становятся для нас неуютными, надо любить. С другой стороны, если люди дурно поступают в общественных делах, хотя и пользуются нашим покровительством, то их следует не ненавидеть и не изгонять, но строго наблюдать за ними, чтоб они, свершив несправедливость, не могли незаметно уйти безнаказанными» (80, Г. нет).

Видимо, на стороне Юлиана было немало проходимцев, прикидывавшихся порядочными людьми, так как в этом же письме Юлиан, правда, очень и очень кратко, пишет о каком-то человеке, выдававшем себя за врача и сумевшем снискать доверие императора, хотя на его моральную испорченность не раз было указано Юлиану. Теперь он признается, что убедился в дурном поведении этого человека и отстранил его от себя.

Знаменательна также большая осторожность Юлиана при выборе наказания провинившимся язычникам: он считал, например, что жреца, оказавшегося недостойным жреческой должности, «следует щадить до тех пор, пока не доказана его испорченность» (88, Г. 61). Это назидание содержится в послании какому-то официальному лицу, имя которого, как и начальные строки письма, не сохранились.

Насколько можно судить по приведенным высказываниям Юлиана, пока еще он не особенно много пишет об истинном положении языческой религии в Римской империи IV в. Тем более поражает следующее, довольно откровенное признание языческого императора, сделанное им в письме 84 (Г. 48) Арсакию, жрецу Галлии: «По нашему мнению, эллинская вера еще не упрочилась до желанных пределов, и повинны в этом мы, ее приверженцы, ибо дары самих богов прекрасны и велики и далеко превосходят все наши желания и все наши надежды <...> Почему мы не обращаем внимания на то, что безбожное учение (т. е. христианская вера.— Т. П.) так сильно укрепилось именно благодаря их радушию к чужестранцам, заботе о погребении умерших и притворной святости жизни? Поистине я полагаю, что все это и нам проявлять следует» (84, Г. 48)<sup>44</sup>.

Итак, оказывается, Юлиан сам признает непрочность «эллинской», т. е. языческой, веры и обвиняет в этом ее же приверженцев. Рассмотрению моральной и философской стороны языческой религии было посвящено большое послание, от которого сохранился довольно пространственный фрагмент 89 а, б. Прежде всего Юлиан обращает внимание на то, что адепты языческой религии должны руководствоваться в своей деятельности гуманностью, ибо «всякий, кто несправедлив к людям, святотатствует перед богами» (фргм. 89 а, Г. 62). Кроме того, по его мнению, «божество, будучи по природе человеколюбивым, любит людей человеколюбивых (фргм. 89 б, Г. нет). Интересно следующее за этой тирадой рассуждение о сути гуманизма: «Человеколюбие — понятие широкое, и проявляется оно по-разному: то оно с надлежащей мерой наказывает людей, наставляя их на лучший путь, подобно преподавателям, наказывающим детей, то облегчает их нужды, подобно тому, как боги облегчают нужды наши» (фргм. 89 б).

Одно из проявлений человеколюбия, по мнению Юлиана, — помощь бедным, оказание приюта чужестранцам. Но именно в забвении этой обязанности и приходится Юлиану упрекать своих современников-язычников: «Мы называем Зевса Гостеприимцем, а сами оказываемся более негостеприимными, чем скифы. Как такой человек, желая принести жертву Зевсу-Гостеприимцу, приблизится к храму? С какой совестью, если он забыл, что

...Зевес к нам приводит

Нищих и странников; дар и убогий Зевесу угоден<sup>45</sup>?

Как же служитель, почитающий Зевса-Сотоварища, видя бедных, нуждающихся в деньгах, и не подающий им ни драхмы, думает, что он хорошо почитает Зевса? Когда я взираю на это, то прихожу в совершенное недоумение...» (фргм. 89 б).

<sup>44</sup> «Поздняя греческая проза», стр. 646—647.

<sup>45</sup> *Одиссея*, XIV, 57 сл. Перевод В. Жуковской.

Юлиан наивно полагает, что забвение именно этого обета наносит ущерб язычеству: многие люди, видя вокруг себя нищенствующих бедняков, начинают думать, что в этом виноваты боги. «Между тем, причина этого порождается нашей ненасытностью к приобретению и неверным мнением о богах, которое создается у людей, и навлекает на богов несправедливые упреки» (там же).

Разоблачая и клеймя позором своих современников за их жадность и страсть к наживе, Юлиан пользуется легендой, рассказанной Пиндаром<sup>46</sup>, о том, как на родосцев посыпалось золото. И Юлиан не без едкой иронии замечает, что если бы это произошло сейчас, многие, расставив повсюду сосуды, погубили бы всех остальных, лишь бы дары богов достались только им. Этот наглядный пример Юлиан заканчивает сентенцией: никто не обеднеет от того, что подаст ближнему. И тут же он ставит в пример самого себя, говоря, что даже будучи частным лицом, он «часто подавал нуждающимся, иное брал у них под заклад, хотя я и дурной ростовщик, но никогда не раскаивался в своей щедрости» (фрагм. 89 b).

Юлиан наставляет своих современников, призывая их делиться всем имуществом со всеми нуждающимися: наиболее щедро — с теми, кто этого заслуживает, с неимущими же и с бедняками — в зависимости от степени нужды. Даже с врагом поделиться одеждой и пищей он считает святым делом, хотя сам сознает, что это парадоксально. Заключенные в тюрьмы также должны, по его мнению, быть удостоены этой заботы. Вот почему Юлиан дает наказ Арсакию, жрецу Галлии, «в каждом городе учредить как можно больше странноприимных домов, чтобы чужестранцы пользовались нашими благодеяниями, и не только приверженцы нашей веры, но также и всякой другой, если они нуждаются в деньгах» (84, Г. 48)<sup>47</sup>.

Юлиан не скрывает, что с точки зрения такой благотворительности христиане сделали гораздо больше, нежели язычники. Их братские трапезы, гостеприимство, оказываемое чужестранцам, привлекают большое число бедняков и странников. Поэтому Юлиан восклицает: «Поистине позорно, что наши от нас самих не получают никакой помощи, в то время как ни один иудей не просит подаяния, а нечестивые галилеяне кормят не только своих, но и наших <...> Так не допустим же, чтобы другие, подражая лучшим из нас, похитили нашу славу, а сами мы из-за нашей нерадивости были посрамлены; и более того — чтобы мы перестали благоговейно чтить богов» (там же)<sup>48</sup>.

Языческий император довольно смело и открыто говорит о падении престижа языческих богов и не скрывает своей горечи по

<sup>46</sup> Пиндар, *Олимпийские оды*, VII, 49 сл.

<sup>47</sup> «Поздняя греческая проза», стр. 647.

<sup>48</sup> Там же.

этому поводу: «Видя большое наше нерадение по отношению к богам, видя, что безнравственность и гибельная роскошь совершенно изгнали робость перед сильными, я все время мучительно об этом размышляю. Адепты христианской религии<sup>49</sup> <...> так пламенно проповедуют свои взгляды, что готовы за них умереть, вытерпеть нужду и голод; а мы так равнодушно относимся к богам, что забыли обычаи отцов» (фргм. 89 а, Г. 62). Но ведь эти обычаи, пишет Юлиан, даны богами (такое мнение не было чем-то новым: теория происхождения законов от богов, воспринятая неоплатониками, имела место еще у Софокла<sup>50</sup>). Именно с ограждения древних законов отцов, с реставрации их, поскольку они извращены в последнее время людьми, «позволившими победить себя богатством и роскошью» (фргм. 89 а, Г. 62), следует, по мнению Юлиана, начать возрождение язычества.

Что же приходится наблюдать в действительности? «Семейными называются у нас боги, сам Зевс зовется Семейным (homogaios), мы же относимся друг к другу, словно чужие. Ведь человек человеку родственен, хочет он этого или нет: оттого ли, как говорят некоторые, что все мы рождены от одного мужчины и от одной женщины, или каким-либо другим образом, но все вместе мы происходим от богов» (фргм. 89 в, Г. нет). Далее Юлиан развивает эту теорию происхождения людей, переданную, по его словам, древними теургами; их учение заключается в том, что «когда Зевс создавал все вокруг, то от капель его священной крови, падавших с неба, и произошел род человеческий» (там же). А поскольку «боги приняли души людей <...> от демиурга», люди должны свято чтить законы, данные им теми же богами, быть добропорядочными, благочестивыми, всегда со священным почтением взирать на святилища и статуи богов, словно видя богов присутствующими рядом с собою. «Ведь наши отцы поставили статуи, алтари, охраняющий нас от всех бед огонь и вообще все подобные символы присутствия богов не для того, чтобы мы считали их богами, а чтобы посредством их мы почитали богов» (там же).

Далее Юлиан развивает излюбленную неоплатониками тему о том, что боги бывают трех родов: невидимые (бестелесные), видимые (их знаки видны на небе) и в виде статуй на земле, которые суть образы богов невидимых, тех, кому приносятся жертвы. Относительно жертвоприношений у Юлиана чувствуется скрытая полемика с теми, кто осмеивал этот бессмысленный и к тому времени совершенно изживший себя обычай. Хотя Юлиан нигде прямо не ссылается на этих «нечестивцев», но можно догадаться, что они приводили в пользу бесполезности жертвоприношений тот довод, что боги, согласно учению самих язычников, бестелесны и, следовательно, ни в чем не нуждаются. Но Юлиан отвечает, что

<sup>49</sup> Текст в этом месте испорчен, но смысл ясен, особенно из дальнейшего.

<sup>50</sup> Софокл, «Антигона», ст. 450 сл.



несмотря на это, богам необходимо воздавать гекатомбы, так как ими люди доказывают свое благочестие. Прибегая в таких случаях к излюбленному приему сравнения, Юлиан говорит: ведь и те, кто воздаст почести изображениям императоров, ни в чем не нуждающимся, снискивают милость правителей, так же и те, кто почитает статуи богов, тем самым убеждают богов заботиться о них. Случается, что кто-либо доходит в своей дерзости до уничтожения статуй богов, желая доказать, что эти святыни истребимы; мы этого и не отрицаем, говорит Юлиан, ибо они сделаны рукой человека. Но «пусть наша вера в бога не колеблется от того, что мы видим и слышим, как некоторые оскорбляют статуи и храмы или предают смерти хороших людей, как Сократа, Диона и великого Емпедотима» (там же)<sup>51</sup>.

Следует поклоняться не только статуям богов, но и храмам, и святилищам, и алтарям. Разумно также почитать жрецов как помощников и слуг богов, выполняющих свой долг перед богами ради нас и помогающих нам получить приятное от богов, — говорит Юлиан. Ведь жрецы прежде всех свершают жертвоприношения и молятся усерднее всех. Поэтому было бы справедливо жрецам воздавать почести не меньшие, а даже большие, чем гражданским должностным лицам. Если кто-либо думает, что почести тем и другим могут быть одинаковы, так как и должностные лица, в некотором роде, служат богам, охраняя данные ими законы, тот ошибается, ибо все-таки гораздо больше следует почитать первых. Для большей убедительности Юлиан ссылается на пример ахейцев, которые приказали царю Агамемнону благоговеть перед жрецом, хотя и враждебным<sup>52</sup>. Но вряд ли Юлиан достиг желаемой цели, приведя этот пример из легендарных времен греческой истории.

Что же представляли собой языческие жрецы, эти слуги богов, с моральной точки зрения или с точки зрения преданности своей религии? Некоторое представление об этом можно получить тоже на основании писем Юлиана. Вот, например, один из жрецов допустил избиевание другого жреца и тем самым, как признает сам Юлиан в письме 88 (Г. 61), отнял почет у богов и стал святотатцем. Мало того — этот самый жрец, допустивший избиевание своего собрата, оказывается, тайно общается с епископами и священниками галилейскими! Это мы узнаем все из того же письма Юлиана, который строго порицает этого жреца за такое поведение и призывает его «вымолить у богов прощение за свои провинности» (88, Г.61).

Больше у Юлиана нет упоминаний о нерадивых жрецах языческого культа; зато во фрагменте 89 в подробно разъясняется

<sup>51</sup> Дион Сиракузский, друг Платона, был убит в 354 г. до н. э. Об Емпедотиме ничего не известно.

<sup>52</sup> Т. е. перед Хрисом. «Илиада», I, 23.

каким должен быть настоящий жрец. Прежде всего, ему подобае́т отличаться самым истинным благочестием: он должен так исполнять свои обязанности перед богами, будто они, невидимые, присутствуют здесь и смотрят на жреца, и «их глаза, ярче самого яркого сияния, проникают в самые затаенные глубины наших помыслов» (фргм. 89 б). И поскольку, продолжает Юлиан, человеческая душа более родственна богам и ближе к ним, нежели камень или скала, то глаза богов гораздо легче и быстрее проникают в нее. А раз так, то «необходимо, чтобы жрецы не были опорочены не только нечистыми и распутными делами, но и подобными речами, как произносимыми, так и слышимыми. Поэтому следует изгонять от нас<sup>53</sup> всякую неподобающую шутку, всякое распутное знакомство (<...> ни один жрец не должен читать ни Архилоха, ни Гиппонакта, ни кого-либо другого из подобных писак. Надо отбросить из древней комедии то, что в том же духе, лучше даже всю ее. Подобае́т нам лишь одна философия и те, кто избрал богов своими наставниками, как Пифагор, Платон, Аристотель, школа Хрисиппа и Зенона. Обращаться следует не ко всем авторам и учениям, но только к этим и к тому, что в них есть благочестивого в поэзии и что касается прежде всего богов» (фргм. 89 б).

Из сказанного следует, что Юлиан, подражая Платону, готов запретить (правда, только жрецам) неподобающую им для чтения литературу, поскольку эти поэты, по мнению императора, очернили богов, изобразив их полными ненависти друг к другу. И в распространении таких слухов, говорит Юлиан, этим людям охотно содействуют иудейские и галилейские пророки. Поэтому надо пресечь подобные рассказы.

Относительно философских сочинений у Юлиана также свое мнение: он считает, что языческие жрецы не должны иметь доступа ни к сочинениям эпикурейцев, ни к сочинениям последователей Пиррона (там же)<sup>54</sup>, зато им необходимо выучить гимны в честь богов, как древние, так и написанные современниками. Некоторые из этих гимнов, по мысли Юлиана, — это дар самих богов за молитвы к ним, другие составлены людьми под влиянием божественного вдохновения или людьми, души которых недоступны злу.

Жрец должен совершать молитву богам и в уединении и в общественных местах, желательнее три раза в день. Кроме того, поскольку вне сферы своей жреческой деятельности он остается обыкновенным человеком, и его душа и тело не свободны от пороков, свойственных всем людям, то жрецу необходимо совершать очищения и ночью и днем, в соответствии с ритуальными положениями; а затем, войдя в храм, оставаться там в течение стольких дней,

<sup>53</sup> «нас» — т. е. жрецов; эти строки Юлиан писал в то время, когда он был Великим понтификом.

<sup>54</sup> Пиррон — основатель философской школы скептиков, жил в IV до н. э.; отрицал возможность познания истины и сущности вещей и явлений.

сколько повелевает закон: в Риме — в течение тридцати, в других городах — иначе. Все это время жрец должен, как говорит Юлиан, философствовать, что на языке неоплатоников означает проводить жизнь в самоотречении и благочестивых размышлениях. Все эти дни жрец не имеет права бывать у себя дома и в общественных местах, не может видеть должностных лиц, если только они не посещают храм, должен заботиться только о культе богов.

Находясь в храме и исполняя свои обязанности, жрец должен носить роскошную одежду, вне храма — пользоваться обычной и отнюдь не роскошной. Ведь неразумно одежду, посвященную богам, использовать для суетной спеси. Замечательно следующее признание Юлиана в связи с этим: «Ведь не мало мы вредим самим себе, забавляя народ жреческими одеждами и оскверняя их тем, что показываем народу как нечто удивительное; в таком случае к нам приближаются многие нечистые и тем самым оскверняются символы богов» (фргм. 89 b).

Возвратившись к обычной частной жизни, жрец может навестить дом друга и даже присутствовать на угощениях, но только в том случае, если его приглашает не любой человек, а самый хороший. В это время очень полезно пойти в какое-нибудь общественное место, поговорить с правителем или губернатором провинции и помочь по мере возможности нуждающимся в правильных советах.

Жрец должен отстранять народ от распутных зрелищ, он не имеет права посещать их, а также не должен вводить в свой дом актеров и завязывать с ними дружбу. Присутствие на звериных травлях, которые устраиваются в городских амфитеатрах, следует запретить не только жрецам, но и их детям. Единственно, что допустимо, — это посещение священных игр. Кроме того, жрец не должен бывать в харчевнях и заниматься каким-либо искусством или ремеслом, пользующимся дурной славой.

Юлиан не оставляет неразрешенным и вопроса о том, откуда, как следует набирать жрецов. Во-первых, из среды людей, наиболее почитающих богов, во-вторых, — человеколюбивых, будь они бедны или богаты, скромны, незаметны или обратили чем-либо на себя внимание. Как узнать, отличается ли этими двумя главными качествами человек? Юлиан и здесь терпеливо разъясняет: его любовь к богам должна быть видна в том, что он привил всем членам своей семьи благочестие, его человеколюбие — в том, что он легко делится с бедными тем немногим, что у него есть, т. е. ищет возможность сделать добро многим людям.

Следует остановиться еще на проведенном Юлианом в начале 363 г. законе о погребении умерших<sup>55</sup>. Не вполне ясно, имеет ли этот закон в виду христиан, но все же с большей долей вероятности можно сказать, что и они должны были соблюдать новые

<sup>55</sup> *Codex Theodos.*, 9, 17, 5 от 12 февраля 363 г.

правила захоронения; последние заключались в том, что «обряды, связанные с погребением усопших, отныне следует совершать только ночью, ибо смерть есть спокойствие, а ночь располагает к спокойствию» (136 в, Г. 77). Запрещалось также носить белую одежду при трауре. При этом Юлиан открыто заявлял, что он провозглашает эти правила во исполнение древнего обычая, согласно которому жизнь крайне противоположна смерти, а следовательно, и заботы о той и другой должны быть различными. Поэтому днем надо исполнять все, что подобает живому человеку, ночью — мертвому.

Чем же был вызван этот закон? По-видимому, тем, что христиане обычно хоронили мертвых днем и не разделяли с язычниками страха перед осквернением от прикосновения к трупу. Их публичные похороны вызвали большое стечение народа, как, например, при похоронах св. Вавилы в Антиохии<sup>56</sup>. Может быть, закон Юлиана и был вызван стремлением прекратить подобные демонстрации, хотя прямых намеков на это в письме нет.

Итак, письма Юлиана раскрывают нам важные стороны деятельности языческого императора — его религиозную политику, постепенное усиление враждебных мер против христиан. Однако при всей враждебности к приверженцам новой религии Юлиан, как мы видели, не только не отгораживается от нее, но даже открыто признает некоторые ее положительные стороны: стремление помочь бедным, радушное отношение к чужеземцам и др. Кроме того, в своем увлечении языческой религией Юлиан не становится слепым: он прекрасно видит изъяны язычества, нерадивое отношение многих язычников к их божествам, падение нравов даже в среде жрецов, забвение обета гостеприимства, помощи бедным и т. д.

К сожалению, начавшийся в 363 г. поход против персов лишил Юлиана возможности вести оживленную переписку с различными деятелями Римской империи, и об этом последнем периоде жизни последнего языческого императора мы имеем по его письмам довольно случайные и далеко не полные сведения.

### 3

По сохранившимся письмам Юлиана (их около сотни) мы в состоянии судить об его индивидуальной эпистолярной манере. Ее можно показать в соотношении с установившимися к середине IV в. правилами эпистолярной теории. Лучше всего это видно при сравнении с мастерством другого видного эпистолога той поры — Либания.

В систему обучения риторскому искусству, выработанную Либанием, входило немало различных упражнений по составлению ре-

<sup>56</sup> Об этом см.: Филосторий, VII, 8; Созомен, V, 19; Юлиан, *Ненавистник бороды*, 361 В.

чей и посланий, о чем мы узнаем из его собственных писем. Например, он предлагает своим ученикам в качестве образцов лучшие письма древних и современных ему эпистолографов (письмо 1034, § 2; письмо 1583). Он читает им также и наименее удачные, по его мнению, письма из тех, которые ему приходилось получать, — они служат отрицательным примером (письмо 128, § 3). А вот в письме 1283 Либаний хвалит Клематия, своего товарища по афинской школе, за хорошо составленное послание: мысли ясны, язык аттический, легко можно почувствовать благородный характер. «Именно в этом, — говорит Либаний, — и состоит подлинное искусство письма» (письмо 1283, § 3).

Сравним эту оценку с теоретическими положениями эпистолярной традиции: припомним, что и Деметрий, и Прокл основными достоинствами письма считали умеренно использованный аттический диалект и ясность (*sarphéneia*)<sup>57</sup>. Деметрий кроме того требовал от письма выражения нравственных качеств пишущего, т. е. его характера<sup>58</sup>. Приведенная выше оценка Либанием письма Клематия в точности совпадает с этими тремя положениями эпистолярной теории.

Письма Юлиана, за небольшим исключением, отличаются ясностью мысли<sup>59</sup> и все написаны на аттическом диалекте; что касается третьего тезиса, относительно наиболее полного отражения в письме характера автора послания, то и он ясно выражен в письме Юлиана к ученику Ямвлиха Сопатору: «Как радостно обратиться к друзьям через близкого человека! Ведь ты передаешь образ своей души не только тем, кому тебе случается писать!» (182, Г. 67)<sup>60</sup>.

Из предписаний Прокла мы знаем, что письмо, как возможность общения двух разъединенных лиц, следовало составлять таким образом, будто автор послания воображает адресата своим собеседником<sup>61</sup>. У Либания это положение мы находим в письме 35 цезарю Юлиану. Он так говорит о значении полученного от Юли-

<sup>57</sup> Деметрий, *Как следует писать письма*, § 226 (R. Hercher. Указ. изд., стр. 13); Прокл, *О форме писем* (R. Hercher. Указ. изд., стр. 7). Подробнее см. введение к нашему сборнику.

<sup>58</sup> Деметрий, *Как следует писать письма*, § 227 (R. Hercher. Указ. изд., с. 13).

<sup>59</sup> Исключение составляет письмо 180 (Г. 23) не известному нам Сарациону; написано оно на причудливую риторическую тему (первая часть этого письма трактует о пользе аттической смолы, вторая — о превосходстве числа «сто» над всеми остальными числами); в нем много рассуждений в духе неоплатонизма и неопифагореизма (особенно во второй части), изложенных очень туманно.

<sup>60</sup> Переводы отрывков из писем Либания, за исключением специально оговоренных, принадлежат автору статьи. Подлинность письма 182 оспаривают Ж. Биде, В. Шварц и Н. Гейкен; в указанном выше издании Ж. Биде это письмо отсутствует; в издании J. Bidez et F. Cumont. *Imp. Caesaris Flavii Claudii Juliani Epistulae, Leges, Poemata Fragmenta varia*. Paris, 1922. Это письмо помещено под рубрикой «неподлинных или сомнительных». Ср.: W. Schwarz. *De vita et scriptis Juliani imperatoris*. Bonn, 1888, S. 26; *Julianstudien* (Philologus, 1892, LI, S. 625 ff.); J. Geffcken. Указ. изд. стр. 145.

<sup>61</sup> Прокл, *О форме писем* (R. Hercher. Указ. изд., стр. 6).

ана письма с описанием его военных действий в Галлии: «Благодаря рассказу о твоих подвигах мне показалось, будто ты так близко, что я едва не заговорил с тобой вслух, как будто ты присутствуешь здесь» (§ 5). Или в письме 803 Либаний пишет: «Ты не вводишь никакого новшества, когда, будучи здесь, приветствуешь того, кому пишешь, отсутствуя» (§ 2).

Юлиан откликается и на это требование эпистолярной традиции. Так, письмо 183 (Г. 59) философу Ямвлиху начинается такими словами: «Ты пришел, и хорошо сделал: ведь благодаря тому, что ты пишешь, ты пришел в действительности, даже и отсутствуя» (183, Г. 59). Это положение варьируется у Юлиана несколько раз: «Ты пришел, Телемах, — говорится в стихе<sup>62</sup>, — но я уже видел тебя сквозь твои письма и по ним представил твою божественную душу, — так на небольшой печати бывают начертаны великие письмена» (188, Г. 7), — пишет Юлиан Георгию, прокуратору казны. Или философу Максиму: «Если ты хочешь, чтобы я читал твои письма и думал, что ты со мной, — пиши и никогда не переставай этого делать» (190, Г. 14)<sup>63</sup>.

С точки зрения композиционных приемов Либаний и Юлиан в основном придерживаются выработанных эпистолярной традицией правил: в начале письма обычно выражалась радость по поводу полученного послания или по поводу возможности обратиться со словами приветствия к человеку, с которым пишущий хотел бы быть в дружеских отношениях<sup>64</sup>. И все же необходимо было как можно более искусно и оригинально начать письмо.

Либаний пишет начальные строки то с большим, то с меньшим воодушевлением и искусством, в зависимости от того, как он относится к адресату. Так, начав с похвалы письмо 803 Констанцию, христианскому императору, за то, что тот «искусно составляет письма», Либаний после этих слов пишет совершенно противоположное: «Что до меня, то обилие твоих посланий немало бы меня обрадовало, если б вовсе не дошло до моих рук» (§ 1). Напротив, язычнику Юлиану он в следующих словах выражает свою радость по поводу одной только надежды на переписку: «Теперь я почти витаю в облаках — так воодушевила меня появившаяся надежда получить от тебя письмо <...> И мне уже кажутся малозначительными богатство Мидаса, красота Нирей, быстрота Крисона, сила Полидаманта, меч Пелея» (758, § 1)<sup>65</sup>.

Насколько искусно варьирует Либаний шаблонное начало письма, видно из его послания 38-ого другу Модесту; оно должно показывать, какую радость доставляли Модесту письма Либания:

<sup>62</sup> Гомер, *Одиссея*, XVI, 23.

<sup>63</sup> Та же мысль, выраженная почти теми же словами, в письме 192 (Г. 73) философу Евклиду.

<sup>64</sup> Прокл, *О форме писем* (R. Heughe. Указ. изд., стр. 6—7).

<sup>65</sup> Письмо 758, § 1. Нирей, сын Харопа и Алаа, — красивейший из ахейцев после Ахилла. Крисон — атлет из Гимеры, славный победитель в олимпийских играх (ок. 450 г. до н. э.). Полидамант — троянский воин и прорицатель, друг Гектора.

«Разве можно не заметить твоего рвения к речам, если для тебя чтение письма есть облегчение от трудов? Ведь я вижу, что иные восстанавливают свои силы во время продолжительного пути маслинами, купанием и напитком; для тебя же достаточно вместо всего этого посланий, столь немногих и, я добавил бы, — не слишком хороших» (§ 1).

Еще дальше отступает Либаний от выработанных эпистолярной традицией правил, начиная письмо с порицания за чрезмерно длинное послание, полученное им от Аристофана: он говорит, что Аристофан пишет так, как пишут старухи, — настолько его письмо растянуто (письмо 1264, § 1). Иногда Либаний начинает с упрека адресату за то, что тот давно ему не пишет. Это письма 2 — Элебику, 11 — Араксию, 15 — Зенобию, 20 — Аристенету, 28 — Полихронию и др. Таким образом, Либаний нередко сам изобретал зачины посланий, подсказанные ему или данной ситуацией, или отношением к адресату.

У Юлиана наблюдается почти то же самое стремление. Так, лишь в очень немногих письмах он отдает дань традиционному началу послания, — например, в письме 30 верховному жрецу Феодору: «Как и следовало ожидать, получив письмо твое, я возрадовался. Разве не радостно узнать, что ты — товарищ мне и самый желанный из моих друзей?» Или в письме 85 (Г. 5) Теодоре, жене префекта претория Талассия: «Все посланные тобой книги я получил и письмам твоим очень рад». Но гораздо чаще Юлиан делает свое предисловие к письму несколько необычным. Это может быть неожиданное начало, говорящее нам о том, при каких обстоятельствах автор взялся за перо («Уже начался третий час ночи, и, не имея писца, поскольку все очень заняты, я едва был в силах написать тебе следующее») (письмо 28, Г. 12 дяде Юлиану); в других случаях Юлиан или сразу же предупреждает о своем намерении говорить «согласно певцам-риторам» (письмо 33, Г. 22 Гермогену, экс-префекту Египта), или открывает письмо риторическим вопросом, поражая читателя искусными сравнениями, нанизанными одно на другое: «Как же мне не приветствовать Прозересия, прекрасного человека, красноречивого в своем многословии, сходном с полноводными реками, омывающими равнины? В речах он — истинный соперник Перикла, хотя и не способен смутить и «привести в смятение Элладу»<sup>66</sup> (31, Г. 1). Нельзя не отметить в этом вступлении едкий сарказм, да это и неудивительно: ведь письмо адресовано христианскому софисту Прозересию, пользовавшемуся, видимо, славой неплохого оратора, но ненавистного язычнику Юлиану. Заметим, что Прозересий вскоре после получения этого письма сложил с себя обязанности преподавателя в одной из риторских школ.

<sup>66</sup> Выражение заимствовано у Аристофана; «Ахарняне», ст. 530.

Но чаще всего, в противоположность Либанию<sup>67</sup>, Юлиан начинает письмо цитатой из какого-нибудь древнего автора, в большинстве случаев, — из Гомера. Это следующие письма: врачу Орибасию — 14 (Г. 16), философу Евстафию — 34 (Г. 76) и 35 (Г. 38), некоему Евстохию — 41 (Г. 19), дяде Юлиану — 80, Каллихину, жрецу Матери богов, — 81 (Г. 20) и др. Иногда письмо начинается пословицей: «Ты мне рассказываешь мой собственный сон», — пишет Юлиан своему дяде Юлиану (108, Г. 49).

Не следует думать, что эти цитаты производят впечатление однообразия; оно устраняется благодаря тому, что Юлиан часто предлагает свой собственный вариант того или иного изречения, дополняет его или переинтерпретирует по-своему; это также один из своеобразных софистических приемов, задерживающих внимание читателя на данной фразе. Например: «Одно лишь время показывает нам справедливого человека», — это известно от древних<sup>68</sup>. Я же сказал бы, что оно показывает также человека благочестивого и любящего богов» (81, Г. 20). Или: «Согласно мудрому Гесиоду, на праздник следует приглашать соседей, чтоб они разделяли с нами радость; а когда нас постигает неожиданное горе, то вместе с нами они будут страдать и бороться. Я же говорю, что следует приглашать не соседей, а друзей» (41, Г. 19)<sup>69</sup>. Или: «Одиссею, чтобы опровергнуть мнение сына о нем, достаточно было сказать:

Нет, я не бог; как дерзнул ты бессмертным меня уподобить?»<sup>70</sup>

Я же, пожалуй, скажу, что и жизнь мне не в жизнь, если я не вместе с Ямвлихом», — так начинает Юлиан одно из писем своему учителю-философу (187, Г. 33)<sup>71</sup>.

В письме 35 (Г. 38) философу Евстафию Юлиан, исходя из мудрого правила, данного Гомером, развивает свое собственное суждение: «Странника, оставшегося в нашем доме, надо лелеять, а желающего уйти — отпустить, дав провожатых, — такой закон установил мудрый Гомер<sup>72</sup>. У нас узы взаимной дружбы крепче уз гостеприимства, ибо они основываются на привычках воспитания, на благочестии в отношении к богам; поэтому было бы несправедливо считать меня нарушителем закона Гомера, если я желаю, чтоб ты остался у нас подольше» (35, Г. 38).

Иногда, показывая свою начитанность, Юлиан подтверждает пословицу цитатой из какого-либо автора: «Ты провозглашаешь

<sup>67</sup> Из трехсот просмотренных писем Либания удалось обнаружить только шесть писем, которые начинаются цитатой из древних авторов. Это № 100 Модесту, 127 Акакию, 149 Присциану, 218 Евсебию, 226 к заседателям Эльпидию, 253 Клеарху.

<sup>68</sup> Софокл, «Царь Эдип», ст. 614.

<sup>69</sup> Гесиод, «Труды и дни», ст. 343.

<sup>70</sup> Гомер, «Одиссея», XVI, 187. Перевод В. Жуковской.

<sup>71</sup> «Поздняя греческая проза», стр. 643.

<sup>72</sup> Гомер, «Одиссея», XV, 74.



не войну» — гласит пословица, я же прибавил бы из комедии: «Слова твои — чистое золото»<sup>73</sup>. Так приходи испытать это на деле и поспеши к нам: ведь ты придешь как друг к своему другу», — пишет Юлиан некоему Василию (32, Г. 11), какому именно — сказать трудно: Ж. Биде и Ф. Кюмон не считают возможным видеть в нем Василия Кесарийского; И. Геффен, напротив, полагает, что это именно он<sup>74</sup>.

Однажды Юлиан позволил себе начать послание с критики выражения, близкого к тому, которое есть в одном из фрагментов Еврипида<sup>75</sup>: «благородный человек — друг для меня, даже если он живет в далекой стране и я его никогда не видал» (34, Г. 76 философу Евстафию). Это выражение очень часто встречалось у эпистографов<sup>76</sup>, и Юлиан считает его слишком банальным<sup>77</sup>.

Обилие цитат было в духе риториков-софистов того времени, так же, как и стремление сочинять письма в стиле адресата. Этому приему обучали во всех риторских школах Греции, и Юлиан усвоил манеру своих учителей. Его письма по характеру изложения материала, по стилистической отделке отличаются одно от другого в зависимости от того, каков адресат: человек ученый или нет, ритор или философ, частное лицо или официальное, друг или недруг для Юлиана. Так, письмо человеку высокой образованности, верховному жрецу Феодору, отличается крайней изощренностью в выражении самых простых мыслей, тщательной отделкой старательно продуманных фраз: «Словно потеряв существовавшую связь, я не мог ни часто приходить к тебе, ни привлечь к себе словом <...> Полон тишины и радости, будто взирая на какое-либо изображение твоего благородного облика, я обрадовался твоему письму» (30, Г. нет).

Необходимо остановиться еще на одном тезисе эпистолярной теории и посмотреть, как он отражается в письмах Юлиана: вспомним, что бесхитростное многословие (*laleîn*) признавалось древними теоретиками эпистолярного стиля одним из средств выражения дружеских отношений<sup>78</sup>. Юлиан отдаст дань этому правилу<sup>79</sup>, но иногда сам признается в чрезмерной болтовне, сравнивая себя с аттической цикадой (письмо 82, Г. 58), и просит извинить его за это словесное излишество (письмо 40, Г. 68).

<sup>73</sup> Ни текст, ни название комедии не сохранились.

<sup>74</sup> J. Bide z. Указ. изд., т. I, ч. 2, стр. 37; J. Geffcken. Указ. изд., стр. 101, 161.

<sup>75</sup> Еврипид, фрм. 902 по изд. *Euripidis perditarum tragoediarum fragmenta*, rec. Aug. Nauck, Lipsiae, 1885, p. 254.

<sup>76</sup> Василий Великий, письмо 63; Прокопий из Газы, письмо 154 и др.

<sup>77</sup> Интересно отметить, что, вероятно, это выражение было очень распространено еще в IV в. до н. э., так как оно есть в комедии Менандра «Ворчун», ст. 615, 616.

<sup>78</sup> Деметрий, Как надо писать письма, § 232 (R. Heusinger. Указ. изд., стр. 14.)

<sup>79</sup> Примером такого многословия могут служить письма 30, 31 (Г. 1), 32 (Г. 11); 34 (Г. 76), 40 (Г. 69), 78 (Г. 3), 82 (Г. 58).

Кроме того, теоретики эпистолографии считали необходимым, чтобы стиль письма приближался к разговорной речи<sup>80</sup>. Юлиану нередко удается достичь более или менее полного впечатления разговорной речи за счет внезапно прерванной каким-либо замечанием фразы. Например, начало письма 96 (Г. 2) Либанию приобретает благодаря этому естественность и простоту: «Если ты забыл обещание (ведь сегодня уже третий день, а философ Приск сам не приходит ко мне и письмо отсылает без особой торопливости), то я напоминаю тебе о своей просьбе» (96, Г. 2)<sup>81</sup>.

Другой прием, достигающий того же эффекта — живости разговорной речи заключается в использовании Юлианом слов грубоватых, взятых, пожалуй, из простонародного языка, что также отвечало требованиям теоретиков эпистолографии<sup>82</sup>. Так, называя приближенных Констанция «зверьем, выпучившим на всех глаза» (*tá perí autón thēria pāsín ephthalmiōnta*) (33, Г. 22), или, именую самохвальство некоего Нила «ужасной словесной трескотней» (*babai, pēlikou ktūrou kai kómrou gēmátōn eisín*) (82, Г. 58), Юлиан добивается большой выразительности и живости рассказа.

#### 4

Из сказанного выше относительно того, что Юлиан в своих посланиях придерживался многих правил, предписанных теоретиками эпистолографии, а также из того, что в его манере письма есть многое от профессионального риторика-софиста, вовсе не следует, что он всякий раз строго руководствуется этими теориями и требованиями. Напротив, Юлиан очень часто отступал от манеры эпистолографа-профессионала. Можно сказать, что в значительной степени прелесть его писем как раз и заключается в этих отступлениях, раскрывающих перед нами искренность его чувств, живость и блеск его мысли, простоту и естественность его речи. Особенно естественной и простой бывает речь Юлиана, когда он пишет о собственных впечатлениях во время путешествий; в таких случаях он крайне редко прибегает к излюбленным риториками-софистами стилистическим фигурам, лишь изредка позволяя себе использовать сравнения. Например, в письме 98 (Г. 26) Либанию, описывая густую рощу молодых кипарисов в Батнах и сад вокруг царского дома, автор говорит, что этот сад беднее сада Алкиноя<sup>83</sup> и скорее похож на сад Лаэрта<sup>84</sup>. Примечательно, что, давая сравнение, Юлиан почти всегда опускает пространное описание

<sup>80</sup> Григорий Назианзин, письмо к Никобулу № 51 (259) (R. Hercher. Указ. изд., стр. 15).

<sup>81</sup> Юлиан, находясь в это время в Антиохии (зимой 362 г.), ожидает прибытия сюда философа Приска, который должен был передать ему письмо Либания.

<sup>82</sup> Григорий Назианзин, письмо к Никобулу, № 51 (259) (R. Hercher. Указ. изд., стр. 15).

<sup>83</sup> Гомер, «Одиссея», VII, 112.

<sup>84</sup> Там же, XXIV, 245.

той или иной местности. Так, сравнивая Батны с местами, прославленными красотой, — с Дафной в Сирии (до того, как там сгорел храм Аполлона 22 октября 362 г.), с греческими Оссой, Пелионом, вершинами Олимпа и с Темпейской долиной в Фессалии, он в заключение роняет такую фразу, что «смело предпочел бы Батны всем этим местам вместе с Дафной» (98, Г. 26). Пожалуй, такой несколько необычный прием — сначала сравнить, а потом заявить, что и такое сравнение недостаточно, — не менее красноречив, чем длинное подробное описание всех прелестей пейзажа.

Пейзаж в деловом письме! Не оговорились ли мы? Нет. Введение пейзажа в текст послания было совершенно новым для подлинной эпистолографии IV в. н. э., и в данном случае Юлиан оказался новатором.

Роль пейзажных описаний неодинакова в каждом его письме. Иногда они вносят поэтическую прелесть, как например, в письме 4 (Г. 45): насколько красочно дано описание природы, можно судить по следующему отрывку: «Если ты выйдешь из дома на какой-нибудь холм, то увидишь море — Пропонтиду, острова и город, названный именем благородного царя<sup>85</sup>; тебе не придется вступать ни в морскую траву, ни в мох, тебя не охватит неприятное чувство при виде песка и грязи, выбрасываемой на морское побережье; нет, ты окажешься среди колокольчиков, тимьяна и душистой травы» (письмо 4, Г. 45).

Иногда такие пейзажные зарисовки придают письму тонкий оттенок лиризма: так, картина наступающей весны прекрасно передает настроение солдат, ожидающих приказа к выступлению в поход: «...уже начинается весна, и на деревьях распускаются листья; ласточки пока еще не волнуют нас, сотоварищей по лагерю, но когда они появятся, то нас выгонят из домов<sup>86</sup> и скажут, что пора переходить границу» (40, Г. 68).

Введение бытовой сценки из городской жизни, нарисованной посредством простого перечисления занятий людей, очень оживляет содержание письма: «Каждый по своим делам идет по городу, и все заполнено людьми: одни отправляются в суды, другие идут на площадь или с площади, третьи заняты работой, четвертые посещают храмы, чтобы осуществились их благие надежды. А некоторые, возложив тело на катафалк, расталкивают занятых этими делами» (136 b, Г. 77).

Или вот еще один отрывок из упомянутого выше письма 98 (Г. 26) — бесхитростное описание дорожного пейзажа: «Дошел я до Литарб<sup>87</sup>; это — халкидская деревня<sup>88</sup>; по дороге видны были остатки зимнего антиохийского лагеря; дорога, я ска-

<sup>85</sup> Константинополь.

<sup>86</sup> В перерывах между походами римские воины жили в домах вместе со своими семьями.

<sup>87</sup> Литарбы — ныне Эль-Териб.

<sup>88</sup> Халкидика — область в центре Сирии.

зал бы, — то болото, то гора, неровная вся, и в болоте лежат камни, как будто нарочно набросаны, видимо, без всякого искусства» (98, Г. 26).

Здесь обращает на себя внимание полное отсутствие стилистических фигур и некоторая, вероятно, нарочитая небрежность в построении фраз: вводные предложения и слова субъективной оценки — «я сказал бы», «как будто нарочно», «видимо», и даже повторение на близком расстоянии одного и того же слова («болото», «в болоте», по-гречески — *to téлма. . . , tòi téлmati*). Все это, однако, делает более выразительной непримечательность скучного дорожного пейзажа, а сам ритм речи, основанный на чередовании коротких отрезков, еще более усиливает впечатление трудного пути через болота и горы под палящим солнцем Сирии. Безыскусственность и отступление от шаблонных правил эпистолографии чувствуются в этом письме больше, чем в каком-либо другом: даже композиция не отличается строгой последовательностью. То ли это объясняется тем, что Юлиан не имел времени хорошо обработать это послание, то ли он умышленно нагромождает одно впечатление на другое, иногда прерывает их своими рассуждениями, затем снова продолжает начатое описание. Такое хаотическое построение письма, пожалуй, не случайно и играет немалую выразительную роль: оно как нельзя лучше отражает обилие впечатлений Юлиана от поездки через Литарбы, Берою<sup>89</sup>, Батны и Гиераполь.

Произведенный анализ своеобразных приемов Юлиана-эпистолога показывает, что он умел отвечать требованиям эпистолярной традиции: использовать риторические и софистические приемы, писать в стиле адресата, чтобы найти отклик в его душе и сделать отсутствующего друга как бы присутствующим рядом с автором послания. Но в то же время, как мы видели, Юлиан обогатил эпистолографию своими, оригинальными приемами. Особенно ценно введение им в деловое письмо пейзажных зарисовок; притягательна и простота его синтаксических конструкций, доносящая до нас живую мысль автора, ее быстрое возникновение и смену каким-либо другим впечатлением, рождающим новый взгляд, новое, подчас оригинальное его наблюдение. Благодаря таким приемам Юлиану прекрасно удавалось выражать в письмах большую и сложную гамму человеческих чувств, — от оттенков лирического настроения, приходящего к людям с наступлением весны, до таких значительных по своему содержанию, как чувства, вызванные размышлением о смысле тех или иных религиозных воззрений и убеждений, о внутреннем облике человека, об его поведении в человеческом обществе и о смысле жизни.

---

<sup>89</sup> Бероя — теперь Алеппо.

## ПОЗДНЯЯ РИМСКАЯ ЭПИСТОЛОГРАФИЯ (IV—V вв. н. э.)



В истории римской литературы позднейшего времени (IV—V вв. н. э.) произведения эпистолографического жанра занимают значительное место в литературном наследии таких авторов, как Авсоний, Симмах, Сидоний Аполлинарий, и представляют большой интерес для характеристики той эпохи.

Это был век великих потрясений, когда привычный для римлян мир рушился под натиском наступающих варваров. Начавшийся еще во II—III в. н. э. кризис рабовладельческого строя, расшатывая социально-экономическую систему Римской империи, постепенно привел к ее полному крушению. Произошли сильные изменения в положении различных классов и социальных групп. Ожесточенная борьба среди класса собственников закончилась полной победой земельной аристократии над хозяевами мелких и средних поместий. К V в. как в Италии, так и в провинциях мы находим уже мощный класс крупных земельных собственников, жестоко эксплуатирующих колонов и разорившихся свободных крестьян. Колоны и крестьяне в то время представляли наиболее революционный элемент общества так же, как и рабы, чей труд становился все менее и менее рентабельным. Проникновение варваров в границы Римской империи и бесконечные войны, разоряя население, ослабляли мощь Римского государства и способствовали обострению всех внутренних противоречий.

Нашествия враждебных племен и междоусобные войны, а также развал хозяйства заставили императорскую власть прибегать к решительным мерам. Одной из таких мер был, например, Эдикт Каракаллы (212 г.) о предоставлении римского гражданства почти всем жителям Римской империи. Это постановление имело огромное значение для объединения империи; оно способствовало не только улучшению положения провинциалов, но и обогатило опустошенную императорскую казну за счет увеличения поступлений. Крупные города в римских провинциях становятся центром римской культуры: самые крупные писатели того времени

не были исконными римлянами. Галлами по происхождению были крупнейшие эпистолографы того времени Авсоний и Сидоний Аполлинарий, а также поэт Рутилий Намациан; известный историк Аммиан Марцеллин был греком из Антиохии, Клавдий Клавдиан — греком из Египта и т. д. Таким образом, стирались различия между африканцами, италийцами и галлами — наука и литература стали космополитичны. Существовавшая тогда система образования, охватывавшая культурные слои населения, являлась как раз тем орудием, которое, если и не совсем уничтожало, то во всяком случае сильно сглаживало не только сословные, но и национальные различия.

Общий кризис империи и глубокие потрясения в ее социальной и экономической жизни не могли не отразиться на всех сторонах ее культуры и на развитии литературы в частности.

Литература IV и V вв., хотя в ней и насчитывалось достаточно известных имен, по существу дала немного значительных художественных произведений. Эпической поэзии как таковой в то время не существовало, несмотря на попытки отдельных поэтов создать большой эпос, вроде поэмы «О царях», написанной Павлином из Нолы в подражание труду Светония. Лирика и драма также не были представлены сколько-нибудь значительными произведениями. Наибольшее развитие получила поэзия, подобная панегирикам или стихам дидактического характера, вроде поэмы Немесиана «О псовой охоте» или «Медицинской книги» Серена Самоника. Наличие такого рода литературы свидетельствовало о том, что развитие художественных жанров шло на убыль, а подлинное поэтическое вдохновение и талант заменялись главным образом искусной версификацией. В это время особой популярностью пользовались поэты, умевшие быстро и находчиво составить экспромт, легко импровизировать или написать пышный панегирик. Этот вид литературы имел наибольший успех, так как он был особенно удобен для того, чтобы не подвергая никакой серьезной критике государственных деятелей, в звучных выражениях восхвалять то или иное влиятельное лицо. При беспрестанной смене императоров необходимо было уметь официально проявлять верноподданнические чувства. В парадных церемониях произнесение пылких панегириков в честь нового правителя было неотъемлемой частью. Политическая и общественная жизнь того времени получала весьма слабое отражение в этих панегириках, риторических приемах.

Другой характерной литературной продукцией поздней империи являются письма, которые представляют для нас ценный исторический материал. Памятники литературы, подобные письмам, несмотря на всю ограниченность мировоззрения их авторов и на специфику их творчества, приобретают для нас особую важность. В них мы находим богатый материал для знакомства с историческими событиями того времени, а также для характеристики современного им высшего общества, как в самом Риме, так и в про-

винции Галлии. Жизнь богатых и знатных людей того времени протекала в атмосфере праздности и всевозможных развлечений и являла резкий контраст с окружающей сложной и даже трагической политической обстановкой. Привилегированные слои общества по существу интересовались лишь собственным благополучием и не проявляли большого интереса к общественно-политической жизни страны. Оторванные от низших классов и не желая опускаться до понимания их насущных потребностей, они замыкались в кругу своих личных интересов. Для многих жителей провинции литературная деятельность являлась своего рода средством, с помощью которого можно было сделать не только литературную, но и государственную карьеру, стать известным не только у себя на родине, но и добиться признания в столице. Свидетельства современников ясно говорят нам об этом. Так, Симмах в своем письме (I, 20) прямо указывал, что литература вела к почестям, и высоко оценивал роль образования и занятия наукой. Для того чтобы приблизиться ко двору, надо было зарекомендовать себя умелым стихотворцем и найти мощных покровителей в Риме. Вследствие этого поэзия в жизни высшего общества провинции занимала исключительное место: ею увлекались не только профессионалы, ей уделяли большое внимание и крупные сановники при дворах императоров. Так, известный галльский поэт Консенций занимал важную придворную должность при Авите, литератор Петр был государственным секретарем при Майориане, Леон Нарбоннский писал оды в духе Пиндара, поэтом был и Валериан — префект Галлии и многие другие. Сами императоры любили окружать себя литературными знаменитостями: блестящая карьера виднейших писателей Авсония и Фронтон служила для многих наглядным примером. Понимая всю важность распространения римской культуры в провинциях, подвластных Риму, императоры IV в. начали уделять большое внимание риторическим школам, находившимся до сего времени в большом запустении. Восстанавливались школьные здания, приглашались учителя грамматики и риторики. Профессора и преподаватели получали от правительства хорошее содержание. Их привилегированное положение обеспечивалось особыми эдиктами. Профессора и преподаватели освобождались от военной службы, а также от обязанностей занимать обременительные муниципальные должности. На общественную арену выдвигаются новые силы. Постепенно начинает выявляться новая аристократия — современная «интеллигенция». В письмах Сидония Аполлинария мы находим картину сложившегося интеллигентского общества, резко обособившегося от остальной, еще мало просвещенной, массы.

Огромную роль для создания этой новой общественной прослойки сыграли риторские школы. Грамматикам и риторам принадлежала огромная роль в воспитании юношества и немаловажное значение имело то обстоятельство, что этими школами охва-

тывались не только высшие слои общества, но и среднее сословие. Почти все писатели этой эпохи были или риторы или ученики риторов. Ораторский талант не мог получить своего развития ни на форуме, ни в суде, а проявлялся главным образом в словесных ухищрениях и версификаторских упражнениях.

В школах большое внимание обращалось на изучение древних авторов, хотя далеко не всех. Изучали Невия и Плавта для усвоения основ латинского языка, Варрона для знакомства с римской древностью, Цицерона как классика римского красноречия. Теоретические комментарии к ним с разъяснениями по мифологии, истории, эстетике, этимологии и стилистике были уделом младшей школы — грамматической. А риторическая школа должна была научить юношество практически овладеть приемами ораторского искусства, пользоваться ими в школьных declamations.

Под влиянием риторики, выродившейся с течением времени в искусство красноречиво говорить по любому поводу и на любые темы, литература стала приобретать черты претенциозности и манерности, утратив ту простоту и непосредственность, которая составляла одну из самых привлекательных сторон литературы раннего периода.

## АВСОНИЙ

В литературе IV в. мы находим имена двух крупных эпистографов: галльского ритора Магна Авсония, воспитателя императора Грациана, и римского оратора Симмаха. Из писем Авсония мы узнаем, что он родился в начале IV в. н. э. в городе Бордо в семье врача, желавшего, чтобы сын его занимался той же профессией. Но врожденные склонности Авсония влекли его с юных лет к занятиям литературой и, конечно, риторикой, что весьма одобрял и поддерживал его родной дядя со стороны матери, грамматик Эмилий Арборий. Он сумел привить племяннику еще большую любовь к риторике, и молодой Авсоний, получив соответствующее образование, занял в городе Бордо кафедру грамматика. В течение тридцати лет он занимался обучением юношества и снискал широкую известность не только в родной Галлии, но и далеко за ее пределами. Император Валентиниан обратил на него внимание и пригласил его наставником по грамматике и риторике для своего сына, будущего императора Грациана (364 г.). Для эпохи Авсония этот факт чрезвычайно характерен: если во времена Августа придворную культуру представляли такие имена, как Вергилий или Горацій, то во времена поздней империи при общем понижении культурного уровня, их заменяют ученые риторы. Сделав с помощью риторики столь блестящую карьеру, Авсоний в течение 20 лет занимал привилегированное положение при императорском дворе, уделяя большое внимание литературной деятельности. После убийства Грациана (383 г.) Авсоний



вернулся на родину, где и прожил еще около 10 лет. Год смерти его точно не установлен.

Жизнь высшего гальского и римского общества нашла свое отражение как в поэтических произведениях, так и в письмах Авсония. Эпистолярное наследие его нельзя рассматривать в отрыве от его прочих произведений, так как письма Авсония, написанные стихами, не только по форме, но и по содержанию весьма тесно соприкасаются с его поэзией. Семейные дела, дружеские взаимоотношения и светские интересы составляют основную тематику его писем, и это делает их несколько однообразными.

Дошедшая до нас переписка Авсония состоит из 27 писем, написанных различными стихотворными размерами. Прозой написано только одно письмо к Павлу (XI), одно к Пробу (XVI) и одно к Симмаху (XVII). В некоторых других письмах можно встретить отдельные прозаические куски, вставленные в поэтический текст. Письма были сочинены Авсонием в разное время: предполагается, что самое раннее из них было написано вскоре после 335 г., часть после 370 г., а остальные незадолго до его смерти (390—393 гг.). Письма вышли в свет после смерти Авсония и были изданы по черновикам, которые Авсоний тщательно хранил (как это было принято в то время) и дополнительно обрабатывал, готовя их для обнародования. Из адресатов Авсония можно отметить знаменитого оратора Симмаха (1 письмо), любимого ученика Авсония — Павлина, ставшего впоследствии епископом Нолы (7 писем), ритора Аксия Павла (7 писем), друга Авсония — Феона (4 письма), грамматика Урсула и ближайших родных Авсония (3 письма). Наибольший интерес представляют переписка с Павлином Нольским, на которой мы подробнее остановимся несколько позже, и письмо к Симмаху.

Авсоний принадлежал по своему воспитанию и образованию к той части галло-римской интеллигенции, которая, искренно любя свою родину, преклонялась перед Римом, чтя его славное прошлое и веря в его непоколебимое могущество. Тем больший интерес представляет то обстоятельство, что Авсоний выдвигал в своих стихах и письмах уже чисто местную галльскую тематику. Так, например, он воспевает реку Мозель со всеми ее красотами, реку, получившую широкую известность благодаря городу Триру, любимому местопребыванию покровительствующих Авсонию императоров Валентиниана и Грациана. Описывая различные города, Авсоний в первую очередь говорит о своей родной Галлии и сравнивает ее столицу Трир с Римом. Восхваляя бордоских профессоров — учителей грамматики и риторики, Авсоний, помимо его личных впечатлений о том или ином лице, дает общую картину культурной жизни Галлии того времени и ценный материал о жизни школы IV в. Подробности о личной жизни Авсония мы узнаем, как из писем к родным, так и из его «Parentalia» — небольших стихотворных произведений в честь умерших родственни-

ков. Везде и всюду, где только это представляется возможным, Авсоний с любовью рассказывал о своих многочисленных родственниках, из которых он многих почти и не знал. Из его писем мы узнаем, что он не мог похвалиться аристократическим происхождением со стороны отца и потому, главным образом, и упоминал о своей родне со стороны матери.

Интересные сведения мы получаем из тех писем Авсония, где он касался вопросов образования и воспитания молодежи. Школе, как упоминалось выше, уделялось большое внимание, и учащиеся в ней находились под тщательным и строгим контролем со стороны властей. Эдикт императоров Валентиниана, Валента и Грациана от 12 марта 370 г. представляет весьма любопытный исторический документ, доказывающий существование в то время строгих требований к учащимся, особенно в отношении дисциплины. Все, кто приезжал в Рим учиться, должны были представить начальнику цензуры рекомендательное письмо от провинциальных властей с подробным указанием, откуда они родом, какова их семья, что именно они думают изучать и т. п. Ведомство цензуры должно было строго следить за поведением учащихся, навещать их в квартирах, проверять, как они занимаются; не тратят ли много времени на развлечения, театральные зрелища и всякого рода беспорядочные празднества. В случае недостойного поведения виновного схватывали, публично наказывали бичеванием и затем, посадив на корабль, силой отправляли домой. Кто вел себя благонамеренно и пристойно, тем разрешалось оставаться в Риме до 20 лет, а затем их также возвращали на родину. Учет прибывших в Рим и срок их возвращения был поставлен очень строго.

В свете этого закона особый интерес приобретает IV идиллия, посвященная Авсонием своему сыну Гесперию и составленная в виде наставления для внука Авсония. Хотя она и не является письмом, но мало чем отличается от некоторых писем: замечания, связанные с воспитанием и обучением, высказывались и в письмах Авсония. Как опытный педагог он предлагал ряд методических указаний, чтобы заинтересовать учащихся великими произведениями Гомера и Менандра, а также насладиться Горацием, Вергилием, Саллюстием и комедиями Теренция.

Хотя в своих произведениях Авсоний не затрагивал больших тем, но все же из его писем можно извлечь полезный материал для знакомства с бытом римской провинции. Он благодарит друзей за присылаемые подарки, знакомится с их стихами (XXV), приглашает к себе поэтов, чтобы прочесть их произведения (IV, II, VI, 28—41). Авсоний рассказывает о своем доме и о своих друзьях с их вкусами и привычками.

Одним из наиболее интересных писем, рассказывающих о быте, является письмо Авсония к его другу Феону, с которым он был в живой переписке.

. . . Ну, а как поживаешь ты сам на своем побережье?  
 Верно, торгуешь опять, по малой дешевке скупая  
 Все, что сможешь потом продать за безумные деньги:  
 Белого сала круги, воска жирного тяжкие слитки,  
 Груз нарикийской смолы, нарезанный тонко папирус  
 И освещение хижины — факелы с чадною вонью?  
 Или дела у тебя поважней — и ты уже ловишь  
 В вашей округе воров, и воры, страшась наказания,  
 В долю тебя принимают, а ты, с твоим милосердьем,  
 Кровь людскую щадя, берешь с похитителей откуп  
 И называешь ошибкой вину, и плату взимаешь  
 С кражи, и так из судьи становишься сам скотокрадом?  
 Или же с братом своим ты вздумал в лесном бездорожье  
 Скрытых оленей хитро окружить оперенною сетью?  
 Или в засаде ты ждешь кабана, которого поднял,  
 Громким криком крича? Однако, будь осторожен  
 И не сходишь в рукопашном бою с клыком его быстрым!  
 Это изведал твой брат, который, вздернув одежду,  
 Глазу являет постыдный ущерб на невыгодном месте  
 И обнажает свой зад, пробитый клыком посредине. . .

(Перевод М. А. Гаспарова)

Из этого письма, где Авсоний с грубоватым юмором расспрашивает друга, чем он там занимается, мы узнаем, что положение в провинции было довольно беспокойным для обывателей из-за большого количества грабителей, по-видимому, из беглых рабов или безземельных крестьян, попавших в кабалу к крупным землевладельцам. Об этом пишет и современник Авсония Симмах в письме к Флавиану, префекту претория (II, 22), количество и дерзость этих воров в окрестностях Рима мешали ему отправиться в свой загородный дом для поправки здоровья. По-видимому, случаи нападения приняли такой широкий размах и имели столь важное значение для жизни империи, что император Грациан в 383 г. издал закон, что те, кто не доставляет воров правосудию, должны подвергаться денежному или иному наказанию по решению судьи.

Наиболее значительными считаются письма Авсония к ритору Симмаху и переписка его со своим учеником Павлином, епископом Нольским. Вопросы, затрагиваемые в письмах к этим двум адресатам, позволяют нам познакомиться не только с литературными вкусами и приемами Авсония, но и с его отношением к христианству, что являлось в его время одним из наиболее важных и сложных вопросов.

IV в. н. э., на который приходится творчество Авсония и Симмаха, был периодом непрекращающейся борьбы между язычниками и христианами. Христианство победоносно наступало на остатки языческого мировоззрения и безжалостно боролось с ним.

Ожесточенная борьба между язычниками и христианами за влияние при дворе находила свое отражение в литературе, и исход ее в основном определялся тем, каковы были религиозные воззрения тех или иных правителей, часто сменявшихся на императорском престоле.

Развертывается полемика между приверженцами старой и новой религии. Имена воинствующих христиан, подобных Амвросию Медиоланскому, Иерониму или Пруденцию, а с другой стороны — ревностных защитников язычества вроде писателя Намациана или риторика Симмаха — пользовались в этот период широкой известностью. Но наряду с ними имелось немало христиан, формально исповедовавших новую религию, но по существу далеких от ее идей. Авсоний является типичным представителем именно этой группы: формально он считался христианином, но языческие интеллигенты были ему ближе, чем христианские епископы. Авсоний занимал позицию нейтралитета в ожесточенном споре между язычниками и христианами и не только не выступал нигде против недругов христианства, но дружески переписывался с Симмахом, одним из убежденнейших апологетов язычества. Авсоний настолько мало отличался от своих современников язычников, что филологи долго не могли даже разрешить вопрос, был ли он христианином. Лишь по таким его произведениям, где он сам говорит о своем участии в праздновании Пасхи или об утренней молитве, можно было прийти к выводу, что он был христианином. Внешняя форма художественных произведений была одинаковой для обеих враждующих сторон, и основным оружием и тех и других была риторика. Обучение шло на старых античных образцах, и у большинства поэтов, формально принадлежавших к христианской церкви, мы находим применение одинаковых с язычниками поэтических образов, постоянные упоминания о мифологических персонажах, множество реминисценций и цитат из классических авторов. Знание литературы у христианина Авсония по существу такое же, как и у языческих риторов его времени: Плавт, Овидий, Теренций, Гораций, Персий, Стаций и другие языческие писатели для него гораздо ближе, чем Библия.

С этой точки зрения большой интерес представляет переписка Авсония с Павлином, ставшим впоследствии епископом Нолы. Павлин, принадлежавший к знатному роду, был одним из любимых учеников Авсония, помогшего ему стать незаурядным поэтом и оратором. Сделав блестящую светскую карьеру, Павлин после женитьбы на богатой и набожной христианке Теразии оставил родину и уехал в Испанию. Там он сделался ревностным христианином и, поселившись в Барселоне, был даже избран там священником. Вернувшись впоследствии в Италию, Павлин поселился в городе Ноле, где в сане епископа и жил в течение 15 лет до самой своей смерти (431 г.), удалившись от мирских дел и занимаясь делами милосердия. Авсоний, будучи сам христианином,

с большим огорчением и неудовольствием узнал, что его блестящий ученик, аристократ и любимец муз по неведомым для Авсония причинам вдруг решил заняться спасением своей души. Решение Павлина раздать имение, уйти от мира и жить в нищете и смирении вызывало недоумение не только со стороны Авсония, но и родных Павлина, считавших, что он сошел с ума.

Начиная с 390 по 393 г. Авсоний написал Павлину четыре письма (до нас дошло только три), на которые Павлин ответил лишь к концу четвертого года. В этой переписке ярко выявляются вкусы Авсония, его любовь к блестящей языческой литературе, жажда славы, почета и явная приверженность к земным благам. В письмах Павлина, по своему стилю весьма сходных с письмами Авсония, полных «общих мест», а также цитат из Вергилия, Горация и других языческих поэтов, можно ясно видеть его религиозные настроения. Сам Авсоний настолько был равнодушен к вопросам религии, что для него казалось совершенно непонятным поведение блестящего светского человека, каким был Павлин, и он полагал, что его соблазнили какие-то новые друзья, под влиянием которых, а также из-за козней Теразии он решил оставить прежний веселый мир (письмо XXVII, 117—118). Жизнь вне светского общества для Авсония представлялась чем-то ужасным, и разрыв его с Павлином на религиозной почве глубоко огорчил его, несмотря на всю поверхностность его натуры.

Все письма, написанные Авсонием Павлину, чрезвычайно интересны как для характеристики взглядов самого Авсония на религию, так и для понимания его стиля. Первые четыре письма (XIX—XXII), как сказано, написанные еще до ухода Павлина от прежней жизни, в стихотворной форме восхваляют Павлина как одного из самых многообещающих молодых поэтов, написавшего прелестнейшую поэму (*jucundissimum* *poema*), представляющую собой краткое изложение трех книг Светония «о царях». Нам трудно судить о достоинствах этой поэмы, так как она до нас не дошла, а Авсоний в своем письме приводит из нее всего девять строк, где в основном перечисляются имена варварских царей, обитателей Африки. Далее, переходя к прозаическому изложению, Авсоний восторгается Павлином, говоря, что среди молодых поэтов никто не сравнится с ним в поэтическом даровании (XIX). В письме XX Авсоний, восхищаясь талантом Павлина, его блестящей карьерой и успехами в жизни и литературе, во всем признает пальму первенства за своим учеником, говоря, что он сам превосходит Павлина лишь своим возрастом. Это письмо, написанное элегическим дистихом, может служить образцом изысканной вежливости в отношениях между братьями по перу, восхваляющими заслуги друг друга.

Шлет Павлину Авсоний привет. Размеру угодно,

Чтобы из наших имен первым стояло твое.

Так ведь оно стоит впереди и в консульских списках.

Так ведь и кресло твое в шествиях раньше несут,

Так и стихам награда твоим — перевитая пальма:

Слабым созданьям моим эта неведома честь.

Что же достойно во мне почтенья? Одни лишь седины!

Только что из того? Лебедю ворон не брат.

Пусть хоть тысячу лет живет индийская птица —

Ей не сравниться с твоим блеском, стоокий Павлин.

Больше лет за спиной, но меньше во мне дарованья.

Наша Камена твою музу приветствует, встав.

Будь же здоров и прощай, и пусть дадут тебе боги

Столько же счастья январей, сколько и нашим отцам.

*(Перевод М. А. Гаспарова)*

Дружески шуточный тон первых писем Авсония меняется и делается серьезным, когда он узнает об «измене» своего друга и ученика. Последние четыре письма Авсония, адресованные Павлину, говорят о полной внутренней растерянности нашего поэта. Авсоний не может даже представить себе, чтобы такой образованный человек, как Павлин, мог быть столь захвачен христианскими идеями, чтобы отказаться даже от литературы, и Авсоний ищет виновных, кто мог бы так дурно повлиять на его любимого «сына и друга». В XXIII письме Авсоний горько упрекает Павлина, что ему одному теперь не под силу нести то бремя поэзии, которое они несли когда-то вдвоем.

Авсоний не теряет надежды, что покинувший его друг к нему вернется; в риторических рассуждениях он перечисляет примеры дружбы между героями античности, сравнивая себя и Павлина с Пиладом и Орестом, Нисом и Евриалом и т. д. Авсоний выражает свою безмерную тоску по любимому ученику и другу и жалуется на огромные расстояния, их разделяющие:

... Вот и теперь, за грядой Пиренеев, за мраморным кряжем

Ты в Цезарее Августе живешь, вблизи Тарракона

Тускского, близ Барциноны, стоящей над устричным морем.

Я же сейчас живу на покое: меня отделяют

Три реки тройною волной от Бурдигалы людной.

Вижу кругом я холмы виноградные, тучные пашни,

Милые сердцу селян, дубраву с трепещущей тенью,

Светлый луг и шумный народ из ближней деревни.

Вот каковы у меня усадьбы в Новерском округе —

Обе рядом стоят и весь год по-разному маят.

Там безморозна зима, а тут и в знойное лето

Легким дыханьем несут аквилоны прохладную свежесть.

Но вдалеке от тебя и времен череда безотраднa:

Нет цветов по весне, жжет землю Сириус летом,

Скудным осенним садам чужды ароматы Помоны.

И омрачают январь проливные дожди Водолея.  
Милый Павлин, ты понял, как ты виноват предо мною?

(Перевод М. А. Гаспарова)

Далее Авсоний выражал надежду, что Павлин к нему вернется, и самое интересное в письме христианина Авсония, что если бог и сын бога внимают его мольбам, то они вернут Павлина к прежней жизни и дом Павлина не будет обречен на расхищение и гибель. Награждая Павлина самыми нежными названиями (о postum decus, o mea maxima cura!), Авсоний риторически рисует отрадную картину его возвращения.

Авсоний заканчивает письмо упреком по адресу жены Павлина, которую он даже называет «твоя Танаквилль» (т. е. сравнивает ее с женой Тарквиния Древнего, отличавшейся деспотическим характером), за то, что якобы она не позволяет мужу писать ему, Авсонию: «Не пренебрегай обращаться со словами к отцу, ведь я был твоим воспитателем, твоим первым наставником, первым, кто обеспечил тебе почетную должность, первым, кто привел тебя в общество муз».

В последнем из дошедших до нас писем Авсония к Павлину (XXV) он упрекает Павлина за его молчание. Это письмо, полное риторических рассуждений о том, что в природе нет ничего безмолвного, представляет собой яркий образец стиля Авсония, где отдельные мысли, вызванные искренним чувством, тонут в потоке учености:

Вот и в четвертом письме я несу к тебе те же упреки,  
Твой охладевший слух тревожа ласковой речью.  
Но ни единый доселе листок от друга Павлина  
Мне не порадовал глаз начертаньем приветного слова.  
Чем заслужили отверженье это несчастные строки,  
Долгим таким и надменным таким презреньем казными?  
Недруга недруг — и тот на своем привечает наречье  
Грубом, и слово привета звучит среди лязга оружий.  
Камни дают человеку ответ; от сводов пещеры  
Звук отлетает; леса оглашаются призрачным эхом;  
Стонет прибрежный утес; ручей лепечет журчащий;  
Колкий кустарник шумит жужжаньем гиблейского роя;  
В береговых камышах пробегает мусический трепет<sup>1</sup>,  
И с верховым ветерком сосновая шепчется хвоя.  
Стоит чуткой листвы коснуться летучему Эвру,  
Как Диндимейский напев огласит Гаргарийские рощи.

<sup>1</sup> Этот стих — *Est in arundineis modulatio musica ripis...* — был поставлен Ф. И. Тютчевым в эпиграфе к его замечательному стихотворению:

*Певчество есть в морских волнах,  
Гармония в стихийных спорах,  
И стройный мусийский шорох  
Струится в зыбких камышах...*

Нет в природе немот. Ни одна поднебесная птица,  
Зверь ни один не лишен языка: шипят, пресмыкаясь,  
Змеи; подобием голоса дышат подводные твари;  
Звоном удару ответит кимвал; проснется в подмостках  
Гул под пятой плясуна; взревет тугие тимпаны;  
Мареотийские сестры поднимут изидину бурю;  
И не умолкнет вовек в сени додонской дубравы  
Меди бряцающий звон, которым тяжкие чаши  
Мерно дают послушный ответ ударяющим прутьям.  
Ты же, словно рожден в безмолвном Эбаловом граде,  
Словно мемфисский тебе Гарпократ уста запечатал,  
Ты, Павлин, молчишь и молчишь. . .

*(Перевод М. А. Гаспарова)*

Письмо Авсония заканчивается обращением к музам Беотии услышать его мольбу и вернуть Павлина латинской поэзии.

Ответ Павлина на письма Авсония, которые он получил с запозданием и все сразу (по причинам нам не известным), представляет собой целую поэму в 331 стих, написанную различными стихотворными размерами (гекзаметром, элегическим дистихом и ямбом), где Павлин ясно и убедительно доказывает, что он не склонен менять своего нового образа мыслей и поведения. «Зачем, отец, ты предлагаешь мне вернуться к тем музам, от которых я отрекся? Сердца, посвятившие себя Христу, отвергают Камен, они не доступны Аполлону», — пишет Павлин Авсонию. Далее он говорит, что нельзя проводить жизнь в праздности и высказывает мысль о том, что христианский бог осуждает участие в пустых развлечениях, а также (что очень интересно) занятия суетной литературой. Хитрые приемы софистов, искусство риториков и выдумки поэтов внедряют в сердца ложные и пустые представления и оттачивают лишь язык, не открывая истины и не способствуя нашему спасению.

Хотя Павлин дает столь скептическую оценку искусству риториков, но и он не лишен поэтического тщеславия. Отвечая учителю в различных стихотворных размерах, он применяет эффектные поэтические и риторические приемы, чтобы доказать, что Авсоний должен не порицать его, а наоборот, гордиться своим учеником.

Так, в ответ на упрек Авсония, что Павлин сбросил ярмо поэтических занятий, которые они несли вдвоем, Павлин рассуждает совершенно во вкусе того же Авсония, что нельзя «впрягать в ярмо двух неравных по своим силам. Нельзя впрячь теленка и быка, лошадь и осла, соединить водяную птицу лысуху с лебедем, соловья с неизвестной зловещей птицей, сравнивать каштановое дерево с орешником, калину с кипарисом, меня ставить рядом с тобой. Ведь с тобой лишь Туллий и Марон едва могли бы нести одинаковое бремя». Павлин, искренне огорченный упреками Авсония, с большой теплотой обращается к нему, назы-



вая его «учителем», «покровителем» и «отцом». «Если в моих поступках или в моем образе мыслей бог видит что-либо заслуживающее его внимания, то первая благодарность за это и заслуженная слава тебе, так как твоим наставлениям я обязан тому, что меня возлюбил Христос».

Профессия риторика наложила свой яркий отпечаток на все творчество Авсония, в том числе и на его письма. Общие места риторического характера встречаются в изобилии и в его стихах и в его письмах, в частности — прием перечисления, который учителя риторики рекомендовали своим ученикам, чтобы те могли наиболее эффектно проявить свою ученость. Так, в своей поэме «Мозелла» Авсоний перечисляет сорта рыб, водящихся в реке, а в «Распятом Купидоне», рассказывая о том, как коварный бог попал в руки женщин, пострадавших от несчастной любви, он перебирает все имена героинь-страдалиц древних мифов. В своих письмах к Павлину он сравнивает себя и его с Орестом и Пиладом, Нисом и Эвриалом, Дамоном и Финтием, Пирифоем и Тезеем; эти примеры нерушимой дружбы должны подчеркнуть, что между такими близкими друзьями не может быть никакого охлаждения. Приемом перечисления Авсоний пользуется и для того, чтобы дать более практические указания. Он учит Павлина, как он смог бы вести переписку втайне от якобы недружелюбно настроенной к Авсонию жены Павлина и рассказывает, как этого достигали еще в древности, пользуясь либо симпатическими чернилами, либо даже заставляя говорить о своих чувствах неодушевленные предметы — яблоко Кидиппы или ткань Прокны. В письме XIV, адресованном Павлу, Авсоний в шутовском тоне перечисляет разнообразные виды экипажей, в которых можно приехать к нему в гости. Навыки риторика отражаются и в умении Авсония бесконечно повторять самого себя: одни и те же мысли он облачает в различную форму, и это относится не только к его чисто поэтическим произведениям, как, например, эпиграммам, но и к письмам.

Авсоний любит многословно и изысканно рассуждать по самым незначительным поводам. Словесные парадоксы, которыми он пользуется как искусный ритор, часто прикрывают своей вычурной формой бедность мысли. Так, например, в письме к Феону (VII), который прислал ему в подарок тридцать штук устриц, Авсоний подробнейшим образом рассуждает, что представляет собою это число. Он упоминает и о счете на пальцах, часто применяемом в комедиях Плавта, упоминает и об мифологическом исчислении времени осады Трои (трижды взятое, время осады Трои), приводит сведения из римского культа (тридцать лет посвящают весталки служению богине Весте), напоминает, что тридцать поросят принесла свинья на месте города Альбы и т. п. Начало письма дается в прозе, затем Авсоний переходит к различным стихотворным размерам. И все эти ухищрения приводятся лишь для того,

чтобы подтвердить, что Авсоний получил тридцать вкусных устриц. А затем — в письме к Павлу (IX), также написанном стихами, Авсоний в шутку подробно описывает, какие устрицы наиболее ценны и вкусны.

В большинстве своих писем, где Авсоний благодарит за присланные подарки или стихи, равно как и в других случаях, связанных с поздравлениями и пожеланиями счастья, Авсоний согласно правилам эпистолографии искусно выбирает тон для своих писем применительно к адресатам. В письмах к близким родным Авсоний применяет простой сердечный тон, в письмах к своему ученику Павлину поэт большое место уделяет патетическим обращениям и риторическим рассуждениям, в письме к другу Феону и грамматике Урсулу мы встречаем много шуток, а в письме к знаменитому ритору Симмаху мы находим торжественный тон наряду с излишним дружеских чувств.

Из других писем Авсония для характеристики его стиля наиболее показательными являются письма к ритору и поэту Павлу и к знаменитому современнику Авсония — языческому оратору Симмаху. В письме к Павлу (XI) Авсоний, отзываясь в лестных выражениях о поэзии Павла, отказывается послать ему свои стихи, о которых он просит в письме, и дает о самом себе такой отзыв: «Видишь, Павел, к сколь ничемному автору ты пристаешь с просьбой: в словах я неискусен, в стиле — сбивчив, в мыслях — противоречив, в стихах — негармоничен, в остроумии — по природе непривлекателен, по искусству — не цветист, соль моя пресна, а желчь бессильна, я не похож ни на босого танцора из мима, ни на актера из комедии...» В последних словах мы находим намек на то, что Авсоний не может так легко переходить от греческих стихов к латинским, как это, видимо, делал Павел. Тем не менее в следующем письме тому же Павлу (XII) Авсоний дает нам любопытный образец ранней макаронической поэзии, где эффект комизма достигается смешением слов и форм из различных языков. Здесь Авсоний наряду с латинскими стихами вставляет множество греческих фраз, написанных к тому же различными стихотворными размерами. Это соединение отдельных слов и целых предложений из живого латинского языка с греческими, применяемое Авсонием как определенный художественный прием, дает ему вместе с тем возможность показать свое искусство. Действительно подобное словоупотребление вместе с сочетанием греческих окончаний в латинских словах придает стихам Авсония большую вычурность.

В письмах Авсония мы не найдем сатирической остроты, но многие из них проникнуты легким юмором и содержат остроумную игру слов. Так, например, он ассоциирует имя Проба (одного из видных деятелей того времени) с значением слова *probus* (т. е. «честный»), а имя одного из своих друзей Феона образует от греческого слова «божественный» (*θεῖος*) или переводит как

причастие от греческого глагола бежать (ῥέω), намекая на жизнь Феона, полную приключений. Вот образец стиля Авсония с такой игрою слов — одно из писем к названному Феону, жившему в деревне и писавшему плохие стихи:

Консул Авсоний привет посылает поэту Феону.

Яблоки ты мне прислал — их спелость золотом блещет;

С ними прислал ты стих — тяжесть свинцовая в них.

Māla — названье плодам и mala — стихи назову я.

Долог ли, краток ли слог, — сам догадайся, Феон.

Прощай, Феон, богам подобный именем,

Но также и бегущему от гибели.

(Перевод М. А. Гаспарова)

Авсоний, дружески подтрунивая над Феоном и над его деревенскими вкусами, острит по поводу его поэзии и, сопоставляя «золотые яблоки и свинцовые стихи» (aurea mala u plumbea carmina), обыгрывает значение слов māla — яблоки с долгим «а» и māla — «дурное» (с кратким «а»).

Широко применяя в своих письмах различные поэтические размеры (дистихи, латинский и греческий гекзаметр, ямбы, гекдекасиллабы) и тщательно следя за своим стилем и языком, Авсоний с подчеркнутой скромностью отзывался о своем литературном творчестве. Называя свои собственные стихи «безделицами», он считал, что не может и сравнивать себя с таким мастером слова, как Павел, а тем более Симмах. Давать какие-либо указания Симмаху для него, Авсония, так же нелепо, как «побуждать муз петь, внушать морям разливаться, огню пылать» (XVII). Такое самоунижение являлось также своего рода художественным приемом, характерным для эпистолярного стиля того времени: подобного рода высказывания мы находим у Симмаха, у Павлина и у более отдаленного по времени эпистолога Сидония Аполлинария.

В своих литературных работах Авсоний являлся последователем классических традиций, придерживаясь ораторской школы Цицерона и Квинтилиана. Из поэтов он больше всего ценил Вергилия, у которого он заимствовал очень многое, и Овидия, внедрившего написанное элегическим дистихом поэтическое художественное письмо в римскую литературу. Из позднейших писателей наибольшим успехом у Авсония пользовался Стаций, вообще снижавший широкую популярность во времена поздней империи.

Литературная манера Авсония нравилась его современникам, и ему охотно подражали его многочисленные ученики из риторских школ. Об его письмах с похвалой отзывался и другой видный эпистограф этого времени — Симмах, и живший значительно позже его соотечественник Сидоний Аполлинарий. Язык Авсония чист и ясен, и его письма, несмотря на обилие риторических и версификаторских ухищрений, представляют собой интересный памятник литературы своего времени.

## СИММАХ

Второй крупный эпистолограф IV в. — современник Авсония, римлянин Квинт Аврелий Симмах (родился около 345 г., умер вскоре после 400 г. н. э.). Он не принадлежал к родовитой римской знати, но был видным лицом своего времени и занимал ряд высших государственных должностей. Он был квестором, претором, консулом, заведовал снабжением Рима (*praefectus annonae*), был префектом города и понтификом. Все эти должности он, по видимому, уже оставил к 396 г. (он был консулом в 391 г.) и, отойдя от государственной деятельности, стал вести жизнь частного лица, пользуясь заслуженной репутацией одного из виднейших риторов того времени: некоторые ставили его даже выше самого Цицерона. Слава оратора сопутствовала Симмаху с ранней юности, что сыграло роль в его служебной карьере. Симмах был одним из виднейших языческих риторов, пользовавшихся при дворе значительным вниманием. На торжественных празднествах, когда поэт Авсоний воспевал в пышных стихах подвиги императора, Симмах, будучи еще совсем молодым, прославлял правителя в звучной прозе.

Ораторская деятельность Симмаха не является предметом нашего изучения. Для нас он представляет интерес как писатель, оставивший большое литературное наследие в виде писем, высоко ценившихся его современниками.

От Симмаха дошло около 900 писем, изданных в 10 книгах уже после смерти оратора (между 405 и 408 г.) его сыном Кв. Фабием Меммием Симмахом. Письма распадаются на два раздела, значительно отличающихся друг от друга. Первые семь книг были составлены из писем к друзьям и близким и разложены при редактировании по адресатам без соблюдения хронологии. В следующих двух книгах переписки адресаты не указаны и в них соблюдается хронологическая последовательность и известный подбор по тематике. Так, например, IX книга, как гласит подзаголовок, составлена из рекомендательных записок, хотя по сути их не больше, чем в других книгах. Последняя, X, книга состоит из официальных донесений (*relationes*) различным должностным лицам и включает в себе лишь два частных письма императорам — одно к Феодосию, другое к Грациану. Письма-донесения Симмаха относятся ко времени, когда он был префектом Рима (384—385 гг.); они представляют собой 49 кратких записок, в большинстве случаев чисто делового содержания, исключение представляет замечательная речь о статуе Свободы и некоторые письма, интересные для знакомства с тогдашним бытом.

Свои письма Симмах обычно диктовал писцу и только иногда добавлял что-нибудь сам лично. Как правило, черновики сохранялись: они писались не на отдельных листках, а подряд из-за экономии бумаги. Написанные в одно и то же время, они состав-

ляли маленькую связку. Такие связки были обнаружены в ларцах Симмаха его сыном: для I—VII книги они были разобраны по адресатам, в VIII и IX книге остались неразобранными. Перед опубликованием письма Симмаха тщательно обрабатывались его сыном, о чем свидетельствует тот факт, что среди писем находятся два варианта одного и того же письма — приглашения на торжество по поводу получения сыном Симмаха префектуры. У друзей Симмаха также сохранялись среди драгоценностей письма знаменитого оратора, иногда соединенные в целые связки.

Круг адресатов Симмаха был чрезвычайно широк. Среди его корреспондентов было много влиятельных лиц различных взглядов и убеждений: он переписывался и с христианами и с язычниками, и мы находим наряду с епископом Амвросием и христианским поэтом Авсонием главу партии язычников, философа Претекстата. Другим частым корреспондентом Симмаха был Никомах Флавян, член коллегии понтификов, ненавистник христиан, большой знаток религиозных языческих обычаев. Любопытно отметить, что среди адресатов Симмаха были и варвары, усвоившие римскую цивилизацию и образованность, как Стилихон и Рицемир, видные государственные деятели и полководцы того времени.

Одной из характерных особенностей переписки Симмаха является мелочность интересующих его вопросов и очень незначительный отклик на общественную жизнь того времени.

Тематика его писем чрезвычайно бедна, основное содержание их составляют рекомендательные письма, благодарность за присланные ему подарки, пожелания счастья и удачи друзьям, соболезнования по поводу различных огорчений, упреки тем, кто медлит с ответом на его послания и т. п. Письма Симмаха нельзя сравнивать ни с письмами Плиния Младшего, служившего для него образцом, ни тем более с письмами Цицерона. Отсутствие общественных интересов и бездумная светская жизнь высших классов получили свое отражение в этой мало содержательной переписке, изяществом и остроумием прикрывающей пустоту ее содержания.

Среди донесений Симмаха самое важное значение имеет дошедшая до нас речь к императору Валентиниану о статуе Победы, где он страстно пытался доказать необходимость сохранять старые традиции и старые римские верования.

Симмах жил во время борьбы между язычеством и христианством, и литературная деятельность его естественно отражала отчасти те взаимоотношения, которые существовали между теми и другими.

В повседневной жизни христиане и язычники старались жить в согласии, но с обеих сторон были и люди, активно боровшиеся за свои убеждения. Симмах выражал взгляды тех, кто пытался противостоять бурному натиску христианства.

Хотя Симмах, естественно, уже не мог разделять наивной веры своих предков в олимпийские божества, а придерживался философского монотеизма, древнее язычество он тесно связывал со славным прошлым Рима. Красноречивый защитник старой веры, занимавший высокий пост при дворе, Симмах являлся представителем той активной части языческой партии, взгляды которой он так убедительно выразил в своей замечательной реляции о статуе Победы.

«Кто из людей — такой друг варваров, что не жалеет об алтаре Победы? Мы обычно соблюдаем предосторожность по отношению к будущему и стараемся избегать дурных предзнаменований: так отнесемся же, по крайней мере, к слову «победа» с тем уважением, в котором отказываем божеству. Ваше государство своей нерушимостью во многом обязано Победе и будет обязано ей еще больше. Пусть не признают ее могущества те, которые не испытали ее помощи. Вы же не отвергайте ее покровительства, спутника триумфа. . . Молю вас, сделайте так, чтобы мы, стариками, смогли передать своим потомкам то, что еще детьми получили от отцов» (письмо X, 3, 3).

Статуя Победы, поставленная в курии сената еще во времена Августа, в течение почти всего IV в. служила предлогом ожесточенной борьбы между язычниками и христианами. Рассматривая эту статую как символ языческой религии, приверженцы старины настаивали на том, чтобы она навсегда оставалась в курии, как напоминание о могуществе Рима, завоеванном Победой. В зависимости от церковной политики императоров эта статуя неоднократно то выносилась из сената, то вновь в него водворялась. Когда статуя Победы в правление императора Грациана была вынесена из курии, сенат, состоявший в то время преимущественно из язычников, дважды (в 382 и 383 гг.) отправлял посольство к императорам, сначала Грациану, а затем Феодосию с просьбой вернуть статую в сенат. Партия Симмаха потерпела поражение, получив суровый отпор со стороны христиан в лице епископа Амвросия Медиоланского и писателя Пруденция, выступившего несколько позже со своими двумя книгами «Против Симмаха».

Общественная и политическая жизнь Рима замирала, основные интересы высших классов сводились к сплетням и дворцовым интригам, как это мы видим из писем Симмаха.

«Стыдно сказать, как оскорбляли и какие бранные слова говорили друг другу лучшие люди в сенате», — с горечью рассказывает он о спорах и ссорах сенаторов при отправлении посольства к императору, прекрасно понимая, что звание сенатора, которым он так гордился, считая, что лучше этого нет ничего в жизни (*pars melior generis humani*, V, 52), по существу является пустой фикцией. От старых республиканских магистратур остались лишь одни названия, и Симмах, сознательно закрывая глаза на это положение, чрезвычайно ревностно относился к выполнению своих

должностных обязанностей. В письмах Симмаха очень скупом раскрывается его внутренний мир, но все же чувствуется, что он не мог не ощущать внутреннего беспокойства от предчувствия надвигающейся катастрофы, несмотря на желание убедить себя, что Рим навсегда останется могучим и великим. Положение простого народа в Риме было тяжелым: в качестве префекта, ведающего снабжением города, Симмах хорошо видел, что продовольствие поступало с перебоями и народ, к неудовольствию аристократов, роптал и волновался. Волнения в Риме часто вынуждали богатых покидать город, переселяться в загородные дома, которых у состоятельных людей было множество. Сам Симмах имел возле Рима 15 вилл и три дома в самом городе. Но уехать для отдыха не всегда представлялось возможным, так как, судя по письмам Симмаха, на дорогах было неспокойно (VI, 64) и трудно было спокойно наслаждаться прелестями сельской жизни. Поэтому Симмах считал, что нельзя удаляться надолго из Рима, и призывал своих детей, уехавших в деревню, возвращаться скорее в город.

«В письмах недостатка нет, но душа страшится вспоминать о тяжелом. Я вижу, что слухи о городских событиях не прекращаются и, как это любят делать, будут переданы с преувеличением. Чтобы этого не произошло, я спешу познакомить вас с делом в коротком добавлении для того, чтобы письма, которые принесут вам привет, не доставили бы горечи из-за волнений и чтобы доверие к письму предотвратило бы своевольные слухи. Но довольно об этом. Здоровье моей дочери мне важнее всего, и это теперь волнует мою душу. Итак, я жду, что с помощью богов вы сообщите мне все об ее здоровье. Если я узнаю о нем соразмерно с моими желаниями, то это облегчение смягчит вместе с тем и мои остальные заботы» (VI, 65).

Симмах упоминает о запущенном хозяйстве империи и о том, что ее финансы в печальном состоянии. В одном письме (IX, 136) Симмах жалуется, что земля, которая обычно была источником богатства, теперь только разоряет и не дает никаких доходов. Проскальзывают и бытовые подробности: например, Симмах рассказывает, что в Риме до сих пор сохранился своеобразный пережиток взаимоотношений между патроном и клиентами в виде обычая окружать знатных лиц многолюдной толпой друзей.

В письмах мы находим интересное для нас сообщение о вкусах и развлечениях простого народа: Симмах напоминает императорам в качестве префекта города, что народ ждет устройства игр в цирке и в театре (X, 6). Сам он усиленно хлопочет, чтобы выписать для общественных игр разных редких животных, как-то: львов, медведей и крокодилов, заботится о доставке породистых лошадей и об устройстве гладиаторских боев, достойных императорского Рима (V, 59, IV, 72). Императора Феодосия, приславшего беговых лошадей и слонов для этих игр, Симмах в своем донесении (X, 9) напыщенно благодарит от лица римлян. Встре-

чаются в письмах также и отклики на торжественные жертвоприношения, упоминается о гарусниках, гадающих по внутренностям жертв, и о весталках, поддерживающих священный огонь.

Симмах — поклонник и певец уходящего Рима, он консервативен и ограничен в своих запросах. Основные интересы его связаны с его собственными делами и с близкими ему людьми. Страдая, как он сам говорил, болезнью зодчества (*morbum fabricatoris*; II, 60), он очень много уделял внимания строительству и украшению своих домов (VIII, 62), приглашал для этой цели архитекторов и художников (IX, 50). Посещая свои многочисленные виллы, он довольно подробно описывал свои переезды из одной в другую. Симмах любил жизнь на лоне природы и говорил, что его пленяет деревенский покой и здоровый воздух, на котором он может наслаждаться хорошими книгами (V, 78; IV, 44). Одно из своих поместий в Байях он даже воспел в небольшом стихотворении, помещенном в письме к отцу (I, 8). Много внимания он уделял своим родным, но и здесь, как в большинстве своих писем, он придерживался сдержанного тона. Он писал дочери и зятю такие же полуофициальные письма, как и посторонним адресатам, очень редко проявляя в них свои искренние и нежные чувства. «Вчера, побуждаемый страхом, после того, как вы уведомили меня в грустном сообщении о состоянии здоровья моей дочери, я написал вам через моего человека и до сих пор мучусь в неизвестности, ожидая ответа. Прошу подробно рассказать мне, что надо с ней делать для укрепления ее здоровья. Ведь при настоящем положении дел я не решаюсь сообщать вам что-либо, чтобы в ваши уши не вошло то, чего вы избежали благодаря отъезду, достойному одобрения. Но так как гражданское чувство возобновляет вновь и вновь ваши заботы о делах города, я бегло коснусь кое-чего, объединив это в краткие записи, чтобы вы без подробного чтения узнали то, что произошло» (VI, 55).

К сожалению, по-видимому, до нас не дошли эти краткие записи, в которых Симмах излагал наиболее интересные для нас события общественной жизни.

Наиболее интересной для нас частью переписки Симмаха служат его письма к Авсонию, раскрывающие взаимоотношения двух выдающихся представителей римской литературы IV в. н. э. Несмотря на то, что один из них был ревностным язычником, а другой христианином (правда, весьма умеренным), мы видим полное сходство их литературных вкусов, а также стилей.

В качестве образца стиля Симмаха можно привести два его письма к Авсонию, с которым он был в оживленной переписке:

«Ты просишь от меня более длинных писем, что доказывает твою истинную ко мне любовь. Но я, сознавая бедность своего ума, предпочитаю подражать краткости лакедемонян, чем на многочисленных страницах обнаружить скудость своего таланта. Неудивительно, что источник моего красноречия иссяк; ведь уже



давно ты не помогаешь мне чтением какой-нибудь твоей поэмы или прозаического сочинения. Почему же ты просишь долгой внимательности от моей речи, когда ты не дал ей взамен никакой литературной пищи? Твоя «Мозелла» порхает по многим рукам и покоится в складках тог, благодаря тем божественным стихам, которыми ты ее обесмертил. Но мимо наших глаз она лишь мелькнула. Почему же ты, спрашиваю я, хочешь лишить меня этой книги? Или я кажусь тебе невеждой, который не может о ней судить, или завистником, который воздержится от ее похвал? Значит, ты не доверяешь или моему уму или характеру? Но я, вопреки твоему запрету, скоро проникну в тайны этого произведения. Я хотел бы умолчать о том, что я чувствую, я хотел бы отомстить тебе полным молчанием, но мое восхищение написанным тобою подавило чувство обиды. Раньше, когда я следовал за знаменами бессмертных императоров, я знал эту реку, похожую на многие другие и уступающую еще большим. А теперь благодаря блеску твоих стихов она стала величественней египетского Нила, прохладнее скифского Танаиса, прозрачнее нашего отечественного Фуцина. Я никогда не поверил бы тебе, рассказывающему об истоках и течении Мозеллы, если бы я твердо не знал, что ты никогда не обманываешь даже в поэзии. Где ты нашел эти стаи речных рыб, столь различных как по названиям, так и по окраске, разнообразных как по размерам, так и по вкусу, рыб, которых ты приукрасил сверх даров природы риторическими украшениями своей поэзии? Бывая часто за твоим столом, я восхищался множеством редких яств, которые были тогда в претории, но я никогда не замечал этого сорта рыб. Каким образом появились в твоей книге эти рыбы, которых не было на подносах?

Ты думаешь я шучу и занимаюсь пустяками? Пусть боги сделают меня угодным моим повелителям — я ставлю твою поэму наравне с книгами Вергилия. Но я должен забыть о своей обиде, усердно хвалю тебя, чтобы не прибавить к твоей славе еще и то, что я восторгаюсь тобою, будучи оскорбленным. Раздавай свои книги другим, всегда помимо меня, все равно я буду наслаждаться твоим трудом, но по доброте других. Будь здоров» (I, 14).

Другое письмо Симмаха Авсонию (I, 31) и ответ на него, написанный Авсонием, полны взаимных любезностей, столь характерных для стиля обоих писателей, весьма похожих в этом отношении друг на друга. «С огромной радостью читал я твое ученое письмо, которое я получил, остановившись в Капуе. Ведь в нем жизнерадостность сочетается с цидероновским медом и слышится похвала моей речи не столь справедливая, сколь лестная. В нерешительности я сомневаюсь, чему же мне больше удивляться, изяществу ли твоего стиля или качествам твоей души? Ведь твое красноречие столь превосходит все остальное, что я колеблюсь отвечать; но ты так хвалишь мое красноречие, что невозможно молчать. Однако, если я буду сильно тебя хвалить, может пока-

заться, что я в свою очередь ласкаю твой слух приятной беседой и что я скорее подражаю твоей речи, чем хвалю ее. Вместе с тем, так как ты ничего не делаешь напоказ, опасно хвалить твои врожденные качества — ведь они могут быть еще похвальнее как благоприобретенные. Знай только одну для нас непреложную истину: нет никого из смертных, кого бы я любил больше тебя, так приковываешь ты меня к себе своей почетной для меня дружбой. Но скромность твоя кажется мне чрезмерной, когда ты упрекаешь, что я выдал секрет твоей книги. Ведь легче держать во рту горящие угли, чем сохранить в тайне такое прекрасное произведение. Раз твои стихи ушли от тебя, ты потерял на них право. Сказанное слово хозяина не имеет. Или ты боишься яда завистливого читателя, или опасаясь жгучего укуса безжалостных зубов? Ты один в подобных обстоятельствах ничего не выиграешь от благосклонности и ничего не потеряешь из-за зависти. Все равно тебя будут хвалить и плохие и порядочные. Поэтому отбрось пустые страхи и дай волю своему перу, чтобы чаще дарить людям его плоды. Во всяком случае пришли мне какую-нибудь дидактическую или увещательную поэму. . . Я знаю, как непреодолимо желание выпустить в свет произведение, которое будет хвалить. Ведь до некоторой степени к похвалам бывает причастен и тот, кто первый передаст чужие блестящие слова. Поэтому хотя в комедиях высшая слава достается авторам, но известность не обходит ни Росция, ни Амбивия, ни других актеров. Итак, заплати за свой досуг таким трудом и утоли наш голод новыми творениями. Если же, избегая похвалы, ты боишься болтливому доносчику, то молчи и обо мне, чтобы в полной уверенности я мог сказать, что твои произведения принадлежат мне. Прощай».

Авсоний не остается в долгу и в ответ на столь любезное послание отвечает письмом, полным благожелательности и изысканной учтивости:

«Теперь я понимаю, сколь сладостна бывает речь и сколь чарующе и приятно красноречие. Ты убедил меня, что художественное построение моего письма, переданного тебе в Капую, не было грубым. Однако я это чувствую лишь до тех пор, пока я читаю твое письмо: меня, жадно слушающего, оно увлекает своей прелестью, словно упоенного соком нектара. Но как только я откладываю твою записку и обращаюсь к самому себе, то я начинаю чувствовать горечь и обнаруживаю, что края моей чаши обмазаны твоим медом. В самом деле, когда я возвращаюсь к твоему письму, а я это делаю очень часто, то я снова поддаюсь твоему очарованию. И опять это сладостнейшее, это благоухающее веяние твоей речи, исчезает, как только я прекращаю чтение, тяжесть доказательств мешает очарованию. Оно пленяет меня как отблеск в воздухе тонкого золотого листка или красивое облако, что услаждает лишь до тех пор, пока ты его видишь. Подобно хамелеону, при-

нимающему цвет окружающих предметов, одно я чувствую, читая твое письмо, другое — вопрошая свою совесть. И ты решаешься считать меня достойным похвалы, которая подобает лишь самому красноречивому из людей? Ты говоришь мне это, ты, который выше людских похвал. Разве кто-нибудь может блистать так, чтобы не померкнуть в сравнении с тобою? Кто близок так, как ты, к прелести Эзопа, к ритмическим софизмам Исократы, к умо-заключениям Демосфена, к разнообразию Цицерона или к своеобразию нашего Марона? Кто достиг в такой степени, как ты, хотя бы одного из этих качеств, которые ты соединяешь все в одном себе? Кто же ты, как не совершенство, в котором собрано все лучшее из прекрасных искусств? Я не боюсь, о мой учитель, о сын мой Симмах, что эти слова покажутся тебе скорее льстивыми, чем правдивыми. Ведь ты испытал искренность моих мыслей и слов, пока мы оба жили при дворе, хотя и были разного возраста, когда ты, еще новобранец, заслужил награды старого солдата, а я, уже ветеран, только начинал военную службу. При дворе я был правдив с тобою; не думаешь ли ты, что, находясь вне его, я рассказываю сказки? При дворе, повторяю, где люди открывают лица и скрывают мысли, там ты чувствовал, что я был тебе отцом и другом и даже еще более дорогим, если есть что-либо дороже этого.

А как же я могу пройти мимо того, с каким душевным расположением ты добавил, чтобы я прислал тебе какой-нибудь дидактический труд или увещательную речь. Мне ли учить тебя, когда я должен был бы до сих пор учиться сам, если бы я был в подходящем возрасте? Как я могу советовать тебе, полному сил и бодрости? Это так же, как побуждать муз петь, внушать морям разливаться, ветрам дуть, огню пылать. Или я буду действовать как ненужный подстрекатель того, что природа делает сама даже вопреки нашему желанию? Ведь достаточно уже той ошибки, что одно из моих сочинений, к сожалению моему, получило широкое распространение. Счастье, что оно еще попало в руки друзей. Ведь если бы это случилось наоборот, ты не смог бы меня убедить, что я могу иметь успех. Вот каков мой ответ на твое письмо. Впрочем, если ты так жаждешь узнать, я удовлетворю тебя более кратким путем: ведь мое письмо и так длинно. Я пошлю тебе Юлиана, одного из слуг в нашем доме, если ты думаешь что-нибудь обо мне расспросить. Вместе с тем прошу тебя, как только ты узнаешь причину его приезда, помоги ему своим участием, которое ты до некоторой степени уже оказал. Будь здоров».

Как видно из приведенных писем, ни Симмах, ни Авсоний не скупаются на комплименты, восторгаясь произведениями друг друга и преувеличенно скромно относясь к своему собственному творчеству. Это было не чем иным, как манерой, принятой в литературных кругах того времени. Блестящий оратор Симмах говорит о своем «скудном умишке» (*paupertinum ingenium*), твердит,

что он рассказывает о событиях с «грубой простотой» (III, 82, 2). В письме к Патрицию, начальнику императорских рескриптов, Симмах смиренно пишет: «Наше дело дуть в пастушескую дудку, твое — играть на священной флейте; нам — убивать свободное время, тебе — совершенствовать свою деятельность» (VII, 60, 2).

Тон писем Симмаха варьировался в зависимости от адресата, как это и требовалось по правилам эпистолографии; равным образом менялся стиль писем и в связи с их содержанием.

По стилю своих писем Симмах во многом подражал Плинию Младшему, что отмечал еще Макробий, писатель V в. в своих «Сатурналиях» (V, 1, 7). «Имеются четыре вида красноречия: многословный, главой которого является Цицерон, сжатый, где властвует Саллюстий, сухой — который приписывается Фронтому, пышный и расцвеченный, который некогда весьма процветал у Плиния Младшего и в котором теперь наш Симмах не уступает никому из древних».

Хотя оценка, данная Макробием, во многих случаях была справедливой, как мы это видим по приведенным письмам к Авсонию, но все же Симмах далеко не во всех своих письмах придерживался пышного и расцвеченного стиля. Он проводил в жизнь установки Плиния Младшего, которые можно формулировать в нескольких словах: «стиль должен быть чистым и сжатым». Таким образом, сухость и сжатость писем Симмаха вызывалась требованиями современного ему эпистолярного жанра, хотя Симмах и пытался объяснить это свойство отсутствием у него таланта и красноречия, называя себя «скудным на словах» (*pauper loquendi*; IV, 27).

Стремясь к наибольшей отшлифованности своих произведений, Симмах достигал большой искусственности, а желая быть предельно лаконичным и в то же время поразить читателя блестящей формой, он доходил до такой степени сжатости, что большинство его писем принимало вид коротеньких записочек незначительного и малопонятного содержания. Как пример такой записки можно привести письмо Симмаха Грегорию (III, 20):

«Ты избрал тему более легкую. Ведь человеческая речь больше приспособлена к жалобам, чем к благодарности. По этой причине я считаю понятным, что ты обвиняешь меня в молчаливости, тогда как я всегда спешу ответить приветом на привет. А что же делаешь ты? Я рад, что ты делаешь то же самое. Ведь тот, кто вменяет другому в вину пренебрежение к вежливости, на деле проявляет себя более готовым к услугам. Итак твое настоятельное требование похоже на торжественное обещание. Я не буду обдумывать новые слова, не буду придумывать сентенции: если ты молчанием навлек грех, то своими письмами ты его обнаружил. Будь здоров».

Излагая в письме своем часто только один сюжет, Симмах обращал основное внимание на детальную разработку мелочей.

Письма, составленные из коротких предложений, приобретают сходство с разговорной речью: каждая фраза в них отточена и отличается законченностью и округленностью (*rotunditas*), которая так привлекала его современников, а впоследствии вызывала восхищение Сидония Аполлинария. Язык Симмаха, чистый и лишенный варваризмов, представлял собой любопытное сочетание языка различных эпох: он стремился сохранить классическую форму слов, но выбирал главным образом устарелые выражения архаических писателей.

Письма Симмаха, тщательно обработанные стилистически, пользовались успехом и у современников и у потомков. Наблюдались даже случаи подделки писем Симмаха, что вызывало неудовольствие знаменитого оратора, видимо, боявшегося за свою литературную репутацию (II, 12).

Письма Симмаха и Авсония, живших в одну эпоху и принадлежавших по своему воспитанию и образованию к одному классу, дают нам наглядную картину, как развивалось в эпоху поздней империи художественное письмо в прозе и в поэзии. Поэтическое художественное письмо шло по линии все более и более тесного сближения с поэзией того времени, мало чем отличаясь от нее по своей форме, но сохраняя при этом все внешние особенности эпистолярного жанра. Основные правила сочинения писем, знакомые римлянам еще от времен Цицерона, сложились уже в определенную систему в письмах Плиния Младшего. Плиний, сам являясь мастером художественного письма, советовал желающим выступать на литературном поприще сначала пробовать свои силы именно в этом жанре, считая, что от писания писем слог делается более чистым и сжатым (*purus et pressus*) (Плиний, «Письма», V, 11). Так как главное внимание пишущего обращалось на шлифовку и отглаживание стиля, то, естественно, это отражалось на непосредственности высказываемых в письме чувств и мыслей. Письмо уменьшалось в объеме. Содержание его отодвигалось на второй план, и незначительность его сочеталась с тщательной до мелочности отделкой формы. Письма как определенный литературный жанр высоко ценились: их читали, переписывали, тщательно собирали и часто хранили вместе с драгоценностями. Любители литературы, чтобы скорее познакомиться с интересным письмом, даже прибегали к насильственным мерам, отбирая их у тех, кто доставлял их по назначению (Симмах, II, 48). Таким образом, письма Симмаха и Авсония не являются по существу письмами в нашем понимании этого слова, а тесно примыкают к литературно-художественным произведениям. Это был тщательно обработанный жанр, где автор мог, раскрывая взятую им одну тему, показать в полном блеске свою литературную и риторическую подготовку.

## СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	3
<i>Античные теории эпистолярного стиля</i> (Т. А. Миллер)	5
<i>Письма Платона и Исократа</i> (Т. А. Миллер)	26
<i>Письма Цицерона</i> (М. Е. Грабарь-Пассек)	59
« <i>Письма к Луцилию</i> » Сенеки-философа (Т. И. Кузнецова)	81
<i>Письма Плиния Младшего к друзьям</i> (Т. И. Кузнецова)	113
<i>Письма Фронтонa</i> (И. П. Стрельникова)	139
<i>Письма в римской комедии</i> (Ф. А. Петровский)	153
✓ <i>Фиктивное письмо в поздней греческой прозе</i> (Л. А. Фрейберг)	<u>162</u>
<i>Псевдоисторическая эпистолография</i> (Т. А. Миллер)	192
<i>Письма императора Юлиана</i> (Т. В. Попова)	226
<i>Поздняя римская эпистолография (IV—V вв. н. э.)</i> (Е. А. Беркова)	<u>260</u>

- 
1. См. стр. 162. I - Битва Хитон из Гераклеи,,
  2. - " - 171. II - Алкифрон,,
  3. - " - 184. III - Эмивоэстрат,,
  4. - " - 187. IV - Арметенит,,

- 
1. см. стр. 260. I - маска Авзоний,,
  2. - " - 275. II - Клинт Аврелий Силлах,,

